А·ДОДЕ

Annotation

Роман Альфонса Доде «Фромон младший и Рислер старший» посвящен вопросам семьи и брака в буржуазном обществе.

Альфонс Доде

Фромон младший и Рислер старший

Поэтам Жюлю и Леониде Аллар[1] *в знак симпатии и сыновьего почтения*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. СВАДЬБА У ВЕФУРА

— Госпожа Шеб!

— Что, милый?

— Я счастлив…

Чуть ли не в двадцатый раз повторял в этот день Рислер, что он счастлив, и все с тем же умильным, кротким видом, тем же медлительным, глухим, сдавленным от волнения голосом, не решаясь говорить слишком громко, чтобы не разразиться вдруг слезами.

Ни за что на свете не хотел бы Рислер расплакаться сейчас — вообразите себе новобрачного, расчувствовавшегося в разгар свадебного пира! А между тем он едва сдерживался. Счастье душило его, сжимало ему горло, мешало говорить. Он только и мог время от времени шептать чуть дрожащими губами: «Я счастлив… Я счастлив…»

Да и было от чего.

С самого утра бедняге казалось, что все это ему снится, что это один из тех волшебных снов, от которых боишься вдруг очнуться. Но его сну как будто не было конца. Он начался в пять часов утра, а в десять часов вечера — ровно в десять по часам у Вефура — все еще продолжался…

Сколько событий произошло за этот день и как запечатлелись в его памяти все их мельчайшие подробности!

Вот он на рассвете, полный радостного нетерпения, ходит взад и вперед по своей холостяцкой комнате, уже выбритый, во фраке, с двумя парами белых перчаток в кармане… Потом появляются парадные кареты, и там, в первой — с белыми лошадьми, белыми вожжами и обивкой из желтого штофа, — белеет, точно облачко, подвенечный убор невесты… Потом парами входят в церковь, и впереди плывет все то же белое облачко, легкое, ослепительное… Орган, привратник, проповедь священника, драгоценные камни, переливающиеся в пламени восковых свечей, весенние туалеты… В ризнице толчея… Белое облачко теряется, тонет, его окружают, целуют, а новобрачный тем временем обменивается рукопожатиями с именитыми представителями парижского торгового мира, оказавшими ему честь своим присутствием… Наконец заключительный аккорд органа, который кажется еще более торжественным благодаря тому, что широко открытые двери церкви как бы приобщают всю улицу к этому семейному празднику. Звуки, вырываясь на паперть со свадебной процессией, смешиваются с уличными криками, и Рислеру слышится

замечание какой-то женщины в люстриновом переднике:

— Молодой-то не очень красив, зато молодая просто милашка!..

Понятно, что такая похвала невесте преисполняет гордостью сердце жениха.

Потом завтрак на фабрике, в мастерской, украшенной драпировками и цветами, прогулка в Булонский лес — уступка, сделанная теще, г-же Шеб, типичной парижской мещанке, для которой свадьба была бы не свадьбой без прогулки вокруг озера и к водопаду… Затем возвращение к обеду. На бульварах уже зажглись огни, публика останавливалась, чтобы поглазеть на свадьбу, настоящую богатую свадьбу, подъезжавшую в наемных каретах к самым дверям ресторана Вефура.

На этом его сон еще не кончался.

Сейчас, разомлев от усталости и блаженства, Рислер, точно сквозь туман, видел огромный, накрытый на восемьдесят персон стол в форме подковы, видел знакомые улыбающиеся лица, и ему казалось, что во всех главах отражается его счастье. Обед подходил к концу. В воздухе стоял гул от разговоров. За столом мелькали повернутые друг к другу профили, рукава черных фраков за корзинами цветов, смеющееся детское личико, склонившееся над фруктовым мороженым, высокие — на уровне лиц — вазы с десертом, оживлявшие скатерть яркими сверкающими красками…

О да, Рислер был счастлив!

За исключением его брата Франца здесь были в сборе все, кого он любил. Прямо напротив него — Сидони, вчера еще крошка Сидони, сегодня — его жена. К обеду она сняла фату — вышла из своего облака. Белый шелк платья оттенял нежную матовую белизну ее хорошенького личика, а уложенные венком косы под искусно сплетенным венком ее свадебного убора таили в себе что — то вызывающее, словно намек на маленькие крылышки, готовые к полету. Но мужья не замечают подобных вещей.

После Сидони и Франца больше всего на свете Рислер любил жену своего компаньона Жоржа Фромона — *«мадам Шорш»*, как он ее называл, — дочь покойного Фромона, его бывшего хозяина и бога. Он усадил ее рядом с собой, и в его манере говорить с нею чувствовались одновременно и нежность и почтительность. Это была совсем молодая женщина, почти одних лет с Сидони, но красота ее отличалась большей строгостью и спокойствием. Она чувствовала себя чужой в этом смешанном обществе и говорила мало, стараясь, однако, быть любезной.

По другую сторону Рислера сидела г-жа Шеб, мать новобрачной. Она сияла, сверкала в своем атласном, блестящем, как панцирь, зеленом платье.

С самого утра все мысли почтенной женщины были необыкновенно радужны и вполне гармонировали с ее нарядом цвета надежды. Она не переставала повторять себе: «Моя дочь выходит замуж за Фромона младшего и Рислера старшего с улицы Вьей-Одриет…» В ее воображении дочь выходила замуж не только за Рислера-старшего, а за всю эту хорошо известную в парижском торговом мире фирму. И каждый раз, когда г-жа Шеб мысленно останавливалась на этом счастливом событии, она выпрямлялась еще больше, причем шелк ее панциря натягивался так, что трещал.

Какой контраст с настроением г-на Шеба, сидевшего через несколько стульев от нее! В супружестве часто одни и те же причины порождают совершенно различные следствия. У этого маленького человечка с большим лбом фантазера, гладким, выпуклым и пустым, как садовый шар, вид был настолько же свирепый, насколько сияющий вид был у его жены. Впрочем, это была не новость, ибо г-н Шеб злился круглый год. Но все же в этот вечер он расстался со своим кислым выражением лица, так же как и с широким развевающимся пальто, карманы которого постоянно оттопыривались от образчиков масла, вина, трюфелей или уксуса, в зависимости от того, какой из этих товаров он в данный момент предлагал. Его новый великолепный черный фрак был под стать зеленому платью жены, но, к сожалению, и мысли его тоже были под цвет фрака… Почему не посадили его рядом с новобрачной? Ведь это же его право!.. Почему отдали его место Фромону-младшему?.. А старый Гардинуа, дедушка Фромонов, он-то чего расселся около Сидони? Так вот как!.. Фромонам — все, а Шебам — ничего?.. И эти люди еще удивляются, что происходят революции!..

К счастью для этого взбешенного человечка, ему было кому излить свою желчь: возле него сидел его друг Делобель, старый актер без ангажемента, слушавший его с тем невозмутимо важным видом, который у него всегда имелся в запасе для торжественных случаев. Ведь Можно в течение пятнадцати лет не появляться на сцене из — за недоброжелательства антрепренеров и все же найти, когда это бывает нужно, приличествующую обстоятельствам театральную позу. В этот вечер у Делобеля был «свадебный» вид: полусерьезное, полуулыбающееся лицо с выражением снисходительности к «малым сим», непринужденные и вместе с тем величественные жесты.

Казалось, что он на глазах у целого зрительного зала, сидя перед бутафорскими блюдами, участвует в пиршестве первого акта. И впечатление, что неподражаемый Делобель исполняет роль, было тем

сильнее, что он в расчете на выступление стал мысленно, как только сели за стол, повторять лучшие отрывки из своего репертуара, и это придавало его лицу неопределенное, деланное и рассеянное выражение, тот обманчиво внимательный вид, какой бывает на сцене у актера, когда он как будто слушает партнера, а на самом деле думает только о своей реплике.

Как это ни странно, но у новобрачной было почти такое же выражение. На ее юном, хорошеньком личике, которое оживилось, но не расцвело от счастья, проглядывала озабоченность, и минутами, словно она говорила сама с собой, в уголках ее губ трепетала улыбка.

Этой улыбкой она отвечала и на несколько игривые шутки дедушки Гардинуа, сидевшего по правую руку от нее.

— Ах, уж эта Сидони!.. — смеялся старик. — Подумать только: каких-нибудь два месяца назад она говорила, что уйдет в монастырь… Знаем мы эти девичьи монастыри!.. Это как говорят у нас: «Монастырь святого Иосифа — четыре башмака под кроватью…»

Все за столом громко смеялись деревенским шуткам старого беррийского крестьянина, чье огромное состояние заменяло ему и сердце, и образование, и доброту, но только не ум, ибо ума у старого плута было больше, чем у всех этих буржуа, вместе взятых. Среди немногих людей, внушавших ему некоторую симпатию, маленькая Шеб, которую он знал совсем еще девочкой, особенно нравилась ему. Сидони — она разбогатела недавно, а потому не могла не относиться с уважением к богатству-отвечала своему соседу справа с заметным оттенком почтения и кокетства.

Зато со своим соседом слева — Жоржем Фромоном, компаньоном мужа, — она была очень сдержанна. Их разговор ограничивался принятыми за столом любезностями, и они даже как будто подчеркивали свое безразличие друг к другу.

Скоро за столом началось легкое движение, предвещавшее, что сейчас гости начнут вставать: слышалось шуршание шелка, стук отодвигаемых стульев, обрывки разговоров, смех… И в этой полутишине г-жа Шеб, став сразу общительной, громко обратилась к кузену-провинциалу, восхищавшемуся сдержанно-спокойными манерами новобрачной, стоявшей в эту минуту под руку с* Гардинуа:

— Видите ли, кузен, эта девочка… Никто никогда не мог узнать, о чем она думает…

Все встали и перешли в большой зал.

Гости, приглашенные на бал, прибывали целыми толпами и смешивались с приглашенными к обеду; в оркестре настраивали инструменты; танцоры с моноклями в глазу важно прохаживались перед

жаждавшими потанцевать девицами в белых туалетах. Тем временем новобрачный, чувствуя себя неловко в большом обществе, уединился со своим другом Планюсом — Сигизмундом Планюсом, состоявшим уже тридцать лет кассиром фирмы Фромон, — в маленькую галерею, украшенную цветами и оклеенную обоями с изображением зарослей вьющихся растений, создававших как бы фон из зелени для раззолоченных зал Вефура. Здесь друзья по крайней мере были одни и могли поговорить.

— Сигизмунд, старина!.. Я счастлив…

Сигизмунд тоже был счастлив, но Рислер не давал ему высказать это. Теперь, когда он уже не боялся расплакаться при всех, вся его радость вылилась наружу.

— Ты только подумай, друг… Разве не удивительно, что такая очаровательная девушка захотела выйти за меня) Ведь я же некрасив. Я знал это и без той нахалки, которая сказала мне это сегодня утром… И мне ведь уже сорок два года… А она такая прелесть!.. Она отлично могла бы выбрать и помоложе и побогаче меня. Не говоря уж о бедном Франце, который так любил ее! Так нет же, она выбрала старого Рислера..-. И как странно все это произошло… Давно уж я заметил, что она грустит, что она как-то переменилась. Я сразу догадался, что тут замешана любовь. Мы с матерью перебрали всех знакомых, ломали себе голову, кто бы это мог быть… И вот однажды утром госпожа Шеб входит ко мне в комнату и со слезами говорит: «Она любит вас, мой друг!» Так это был я!.. Я!.. Ну, кто бы мог предположить что-нибудь подобное? И подумать только, что в один и тот же год на мою долю выпали две такие удачи: компаньон фирмы. Фромон и муж Сидони!..

В эту минуту под тягучие, мерные звуки вальса в маленькую гостиную впорхнула, кружась, какая-то пара. Это были новобрачная и компаньон Рислера, Жорж Фромон. Молодые, изящные, они разговаривали вполголоса, замыкая свои слова в узкие круги вальса.

— Вы лжете, — говорила Сидони, бледная, но с неизменной улыбкой.

Он, еще бледней, чем она, отвечал:

— Нет, я не лгу. На этом браке настоял мой дядя. Он был при смерти… вы уехали… Я не посмел отказать ему.

Рислер издали любовался ими.

Как она хороша! Как прекрасно они танцуют!

Заметив его, танцующие разошлись, н Сидони поспешила подойти к мужу.

— Это вы?.. Что вы здесь делаете?.. Вас ищут всюду. Почему вы не там?

Говоря это, она очаровательным движением нетерпеливой женщины поправляла узел его галстука. Рислер таял от восторга и украдкой улыбался Сигизмунду: он был счастлив от прикосновения этой маленькой, затянутой в перчатку ручки и потому не заметил, как дрожали ее тонкие пальчики.

— Возьмите меня под руку, — сказала Сидони, и они вошли в зал.

Белое платье с длинным шлейфом подчеркивало неуклюжесть плохо сидевшего, сшитого не по фигуре черного фрака. Но фрака не поправишь, как узел галстука, — с этим ничего уже нельзя было поделать. Они кланялись на ходу заискивающе улыбавшимся им людям, и Сидони на минуту испытала чувство гордости, удовлетворенного тщеславия. К сожалению, это длилось недолго. В одном из уголков гостиной сидела молодая красивая женщина; ее никто не приглашал, и она смотрела на танцы спокойным взглядом, светившимся радостью первого материнства. Заметив ее, Рислер направился прямо к ней и заставил Сидони сесть рядом. Излишне говорить, что это была «мадам Шорш». С какой другой женщиной стал бы он говорить так почтительно и нежно? В чью другую руку вложил бы он руку своей Сидони, сказав: «Вы будете любить ее, да? Вы такая добрая!.. Она так нуждается в ваших советах, в вашем знании света!..»

— Но ведь мы с Сидони старые подруги. Конечно, мы по-прежнему будем любить друг друга…

И ее спокойный, открытый взгляд искал — но тщетно — взгляда старой подруги.

Рислер, не знавший женщин и привыкший обращаться с Сидони, как с ребенком, продолжал тем же тоном:

— Бери с нее пример, малютка… На свете нет другой такой женщины, как мадам Шорш… Она вся в отца… Настоящая Фромон!..

Сидони, опустив глаза, молча кивала головой, и только едва уловимая дрожь пробегала от носка ее атласного башмачка до последнего стебелька флердоранжа. Но Рислер ничего не видел. Волнение, бал, музыка, цветы, свет… Он опьянел, потерял голову. Он думал, что и все остальные упиваются окружающей его атмосферой безграничного счастья. Он не замечал ни мелкой зависти, ни мелкой ненависти, реявших над головами всех этих разодетых людей.

Не видел он Делобеля, который, заложив одну руку за жилет, а другую, со шляпой, держа у бедра, стоял, прислонившись к камину, изнемогая от бесконечного позирования: время шло, а никто и не думал воспользоваться его дарованием. Не видел он и мрачного Шеба, который томился, переходя из комнаты в комнату, больше чем когда-либо обозленный на Фромонов…

Ох, уж эти Фромоны! Какое место занимали они на свадьбе!.. Они были здесь все с женами, детьми, друзьями и друзьями друзей… Как будто это свадьба кого-нибудь из членов их семьи!.. Кто интересовался Рислерами или Шебами?.. Его, отца, даже не представили!.. Но больше всего бесило маленького человечка поведение г-жи Шеб, которая, сверкая своим атласным переливчатым платьем, расточала направо и налево материнские гордые улыбки.

Впрочем, как это бывает почти на всех свадьбах, здесь оказалось два различных потока; они соприкасались, но не сливались. Один из них скоро уступил место другому. «Эти Фромоны», так раздражавшие Шеба и составлявшие аристократию бала, а также председатель торговой палаты, старшина стряпчих, известный шоколадный фабрикант (депутат Законодательного корпуса) и миллионер Гардинуа — все они удалились вскоре после полуночи. Вслед за ними уехали в своей карете и Жорж Фромон с женой. Остались только гости Рислеров и Шебов, и праздник сразу изменил характер, стал более шумным.

Знаменитый Делобель, устав ждать приглашения, решил попросить себя сам и, пока все толпились у буфета перед чашками шоколада и стаканами пунша, начал громовым голосом монолог Рюи Блаза: «Приятного аппетита, господа!».[2] Дамы в скромных дешевых туалетах расположились на скамьях, довольные, что пришел наконец их черед показать себя, а молодые лавочники, горя желанием щегольнуть, отважились развлечься кадрилью. Новобрачной давно уже хотелось уехать. Наконец она исчезла с Рислером и г-жой Шеб. Зато г-на Шеба, который вновь обрел всю свою важность, невозможно было увести. Ведь надо же было кому-нибудь принимать гостей, черт возьми! И смею вас уверить, он добросовестно взялся за дело. Красный, возбужденный, он суетился, он был неугомонен; в его поведении чувствовалось что-то бунтарское. Снизу было слышно, как он разговаривал о политике с метрдотелем Вефура и все такие смелые речи!..

…Свадебная карета тяжело катилась по безлюдным улицам по направлению к Маре. Осовевший кучер едва натягивал белые вожжи.

Г-жа Шеб болтала без умолку. Она перечисляла все поразившие ее подробности этого достопамятного дня и особенно восторгалась обедом, заурядное меню которого казалось ей верхом роскоши. Сидони, забившись в угол кареты, вся ушла в свои мысли, а Рислер, сидевший напротив нее, хоть и не повторял больше: «Я счастлив», — ощущал это всем своим существом. Он попробовал было завладеть маленькой белой ручкой, опиравшейся на приподнятое стекло, но ее быстро отдернули, и он замер в

немом обожании.

Проехали Центральный рынок, улицу Рамбюто, запруженную телегами огородников, потом, в конце улицы Фран-Буржуа, обогнули Архив и въехали на улицу Брак. Там они сделали первую остановку. Г-жа Шеб вышла из экипажа у своей двери, слишком узкой для ее великолепного шелкового платья, и оно исчезло в коридоре с протестующим шелестом, ропща всеми своими оборками… Несколько минут спустя на улице Вьей-Одриет широко раскрылись и пропустили парадную карету огромные, массивные ворота старинного особняка, на щите которых под полустертым гербом виднелась синяя вывеска: «Обои».

Новобрачная, до сих пор неподвижная и как бы погруженная в дремоту, вдруг словно очнулась, и, если б в огромных зданиях мастерских и складов не были потушены все огни, Рислер мог бы заметить, как торжествующая улыбка осветила это красивое, загадочное лицо. Карета мягко покатила по мелкому песку садовой аллеи и скоро остановилась у крыльца небольшого двухэтажного особняка. Здесь, в первом этаже, жили молодые супруги Фромон, а Рислер-старший с женой должны были поселиться над ними. Дом был роскошно обставлен. Этим показным великолепием богатое купечество как бы вознаграждало себя за мрачную улицу и глухой квартал. Лестница до самых дверей была устлана ковром; в передней стояли цветы; всюду белел мрамор, сверкали зеркала и начищенная медь.

Пока Рислер, довольный и счастливый, обходил новую квартиру, Сидони оставалась одна в своей комнате, озаренной мягким светом голубого фонаря. Прежде всего она посмотрела в зеркало, отразившее ее всю, с головы до ног, оглядела всю эту новую, непривычную для нее роскошь; затем вместо того, чтобы лечь, открыла окно и, облокотившись на подоконник, застыла в неподвижной позе.

Ночь была теплая, светлая. Сидони отчетливо видела всю фабрику: множество окон без ставен, большие блестящие стекла, длинную трубу, уходившую высоко в небо, и совсем рядом, у стены старого особняка, маленький пышный садик. А вокруг — жалкие, убогие крыши и темные-темные улицы… Сидони вздрогнула. Там, в самой мрачной, в самой отвратительной из этих мансард, которые жались и подпирали одна другую, словно боялись рухнуть под бременем нищеты, она увидела на пятом этаже широко открытое темное окно. Она сразу узнала его. Это было окно, выходившее на площадку лестницы, где жили ее родители.

Окно на площадке!..

Сколько воспоминаний связано с ним!.. Сколько часов, сколько дней

провела она там, склонившись над сырым карнизом, не сводя глаз с фабрики! Ей и сейчас казалось, что она видит там, наверху, хорошенькое личико малютки Шеб, и в рамке этого окна бедняков перед ее глазами проходило все ее детство, вся печальная юность парижской девушки.

II. ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ШЕБ. ТРИ СЕМЬИ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

В Париже для бедных семей, ютящихся в крохотных квартирках, общая площадка на лестнице является как бы лишней комнатой, добавлением к их жилью. Летом через эту площадку проникает немного свежего воздуха со двора, здесь собираются и ведут беседы женщины, здесь играют дети.

Когда крошка Сидони поднимала дома возню, мать говорила ей: «Ты мне надоела… Поди поиграй на площадке». И девочка убегала туда.

Эта площадка на верхнем этаже старого дома — а в старых домах не экономили место — представляла собой нечто вроде длинного высокого коридора, защищенного со стороны лестницы перилами из кованого железа и освещенного широким окном, откуда видны были крыши, дворы и окна других домов, а немного поодаль — сад фабрики Фромонов, зеленым уголком вырисовывавшийся между гигантскими старыми стенами.

Все это было не так уж весело, но ребенку нравилось здесь гораздо больше, чем дома. У них всегда было так уныло, особенно когда шел дождь и Фердинанд никуда не уходил!

Фердинанд Шеб, постоянно обуреваемый новыми замыслами, которые, к сожалению, никогда не осуществлялись, принадлежал к тому типу ленивых, но вечно что — то проектирующих людей, каких так много в Париже. Жена, ослепленная им вначале, скоро убедилась в его никчемности и стала одинаково терпеливо и равнодушно относиться как к его постоянным мечтам о богатстве, так и к наступавшим вслед за тем разочарованиям.

От восьмидесяти тысяч франков, принесенных ею в приданое и растраченных им на разные нелепые предприятия, у них осталась небольшая рента; она еще придавала им какой-то вес в глазах соседей, так же как и уцелевшие от всех крушений кашемировая шаль г-жи Шеб, кружевной подвенечный убор и две крошечные, скромненькие бриллиантовые запонки, лежавшие на дне ящика комода в старинном футляре, на белом бархате которого виднелась полуистершаяся фамилия ювелира, оттиснутая золотыми буквами лет тридцать тому назад. Сидони часто приставала к матери, чтобы та показала ей эти запонки — единственный предмет роскоши в бедном жилище мелких рантье.

Долго, очень долго искал Шеб занятие, которое дало бы ему

возможность увеличить их маленькую ренту. Но он искал это занятие только в «коммерции на ногах», как он выражался, ибо состояние здоровья не позволяло ему вести сидячий образ жизни.

Дело в том, что вскоре после женитьбы, когда он служил в одном крупном предприятии и имел в своем распоряжении лошадь и тильбюри для разъездов по делам фирмы, он как-то раз очень неудачно упал из коляски. Этот эпизод, о котором он вспоминал при каждом удобном случае, служил как бы извинением его лени.

Достаточно было провести с Шебом несколько минут, чтобы услышать его неизменное:

— Вы знаете случай с герцогом Орлеанским? — Похлопывая себя по лысине, он конфиденциально прибавлял: — То же самое случилось в молодости и со мной.

После этого пресловутого падения от всякой конторской работы у него кружилась голова и он считал себя обреченным на «коммерцию на ногах». Он занялся комиссионерством и был попеременно агентом по продаже книг, вин, трюфелей, часов и многих других вещей. К несчастью, все ему быстро надоедало, все казалось недостойным положения бывшего коммерсанта, имевшего когда-то свой выезд, и мало-помалу, привыкнув считать всякое занятие ниже своего достоинства, он так и состарился, стал ни на что не способным, превратился в настоящего бездельника, любителя бесцельного шатания.

Часто осуждают артистов за их странности, причуды, за их отвращение к общепринятому, заставляющее их избегать проторенных путей. Но кто перечислит все нелепые фантазии, все глупые эксцентричности, на которые способен праздный буржуа в стремлении заполнить пустоту своей жизни? Так, Шеб вменил себе в обязанность выходы из дому, прогулки. И все время, пока прокладывали Севастопольский бульвар, он регулярно два раза в день ходил смотреть, как «подвигается дело».

Никто лучше его не знал, где находятся известны специализированные магазины. Часто, когда г-же Шеб, усиленно занятой починкой белья, надоедало смотреть на праздно торчащего у окна мужа, она, чтобы избавиться от него, посылала его куда-нибудь:

— Сходи, на улицу… ну, как ее? Ты знаешь… Там всегда такие вкусные бриоши. Это будет хороший десерт к обеду.

И муж уходил. Он гулял по бульвару, толкался у магазинов, ждал омнибуса и, прошатавшись полдня из-за двух бриошей по три су, торжественно приносил их домой, вытирая со лба пот.

Шеб обожал лето, воскресные дни, длинные прогулки пешком по пыльным дорогам Кламара или Роменвиля, праздничный шум, толпу. Он был из тех, кто за целую неделю до Пятнадцатого августа ходит любоваться на недожженные плошки, подставки для иллюминации, подмостки. Жена его не выражала по втому поводу ни малейшего неудовольствия: таким образом она избавлялась от несносного нытика, топтавшегося целыми днями вокруг ее стула со своими проектами грандиозных предприятий, со всякими заранее обреченными на неудачу комбинациями, воспоминаниями о прошлом, избавлялась от человека, вечно злившегося на то, что он ничего не может заработать.

Бедная женщина тоже ничего не зарабатывала, но она была такая хорошая хозяйка, ее изумительная бережливость так чудесно возмещала все нехватки, что нужде — соседке безденежья — еще ни разу не удалось проникнуть в эти три всегда такие чистые комнатки, привести в негодность тщательно починенную одежду и старую, скрытую под чехлами мебель.

Против двери Шебов с медной солидно поблескивающей ручкой на площадке были еще две двери поменьше.

На первой, как это принято у художников, занятых в промышленности, висела прикрепленная четырьмя гвоздиками визитная карточка с надписью:

Рислер, фабричный рисовальщик На второй золотыми буквами было выведено по коже:

Г-жа Делобель с дочерью Птички и мушки для отделки

Дверь Делобелей часто оставалась открытой, так что можно было видеть большую комнату с плиточным полом, где две женщины, мать и дочь, совсем еще ребенок, бледные и усталые, занимались одним на тех многочисленных фантастических ремесел, которые производят так называемые «парижские безделушки».

В те годы было модно украшать шляпы и бальные платья прелестными птичками и мушками Южной Америки, бросающимися в глаза своей яркой, сверкающей, как драгоценные камни, окраской. Изготовлением этих украшений и занимались дамы Делобель.

Одна оптовая фирма, получавшая товар прямо с Антильских островов, пересылала им, даже не распаковывая, длинные легкие ящики, из которых, когда снимали крышку, шел запах затхлости и поднималась мышьяковая пыль; внутри блестела груда уже насаженных на булавки мушек, и, тесно прижатые одна к другой, лежали птички с перевязанными тонкой полоской бумаги крылышками. Надо было все это разобрать, расправить крылышки колибри, навести на них глянец, зашить шелковинкой переломанную коралловую лапку, вставить вместо потухших глаз две блестящие

жемчужинки, добиться того, чтобы все эти птички и мушки затрепетали на тонкой медной проволоке, обрели присущие им грацию и жизнь.

Мать работала под руководством дочери, так как Дезире, несмотря на свой юный возраст, обладала изысканным вкусом, была изобретательна, как волшебница, и никто лучше ее не умел вставить жемчужные глазки в маленькие головки птичек, расправить их окоченелые крылышки.

Дезире Делобель с детства хромала. Жертва несчастного случая, от которого, впрочем, нисколько не пострадало ее прелестное тонкое личико, она мало двигалась, и ее вынужденно затворнический образ жизни придал аристократическую бледность ее лицу, особую белизну ее рукам. Всегда кокетливо причесанная, она проводила целые дни в большом кресле перед столом, заваленным модными картинками и разноцветными птичками, находя в изысканной светской элегантности своего ремесла забвение своего несчастья и своеобразную награду за свою обездоленность.

В своих мечтах она видела, как все эти птички, вспорхнув с ее неподвижного стола, отправятся путешествовать по парижским валам, как при ярком свете люстр они будут сверкать на балах, и уже по одному тому, как она насаживала на проволоку мушек и птичек, можно было угадать направление ее мыслей. В дни тоски и уныния тонкие клювы вытягивались, крылья расправлялись в неудержимом порыве умчаться далеко-далеко, как можно дальше от этих жалких квартир на пятом этаже, от чугунных печей, от лишений и нищеты… В дни, когда она радовалась, у ее птичек и мушек — этого прелестного каприза моды — был жизнерадостный вид, задорный и игривый…

Но счастлива или несчастна была Дезире, трудилась она всегда одинаково усердно. От утренней зари до поздней ночи ее стол был завален работой. Когда начинало смеркаться и в соседних дворах раздавался звон фабричных колоколов, г-жа Делобель зажигала лампу, и после более чем скудного обеда мать и дочь снова принимались за работу.

У этих неутомимых женщин была цель, ставшая их навязчивой идеей и не дававшая им чувствовать тяжесть вынужденных бессонных ночей, — этой целью была артистическая карьера знаменитого Делобеля.

С тех пор как Делобель оставил провинциальные театры, и приехал в Париж с намерением выступать на парижской сцене, он все ждал, что какой-нибудь дальновидный антрепренер, один из тех ниспосланных провидением антрепренеров, что открывают гениев, разыщет его и предложит ему достойную его роль. Возможно, что он и мог бы, особенно вначале, получить скромное амплуа в третьеразрядном театре, но Делобель был горд и не мог унизиться до этого.

Он предпочитал ждать, бороться, как он говорил. И вот как он понимал эту борьбу.

Утром у себя в комнате, часто даже не вставая с постели, он повторял роли своего прежнего репертуара, и дамы Делобель с трепетом слушали, как за перегородкой хриплый голос, тонувший в многообразном шуме огромного парижского улья, декламировал тирады из «Антони» и «Детского доктора».[3] Затем после завтрака актер отправлялся «проветриться», другими словами до позднего вечера разгуливал по бульварам между Шато д'О и Мадлен, с зубочисткой в углу рта, в надвинутой на ухо шляпе, всегда в перчатках, выхоленный, блестящий.

Внешности Делобель придавал большое значение. Он считал ее одним из главных шансов успеха, приманкой для антрепренера — пресловутого мудрого антрепренера, которому, конечно, и в голову не пришло бы пригласить потрепанного, дурно одетого человека. Вот почему жена и дочь тщательно следили за тем, чтобы он ни в чем не нуждался. Нетрудно себе представить, сколько нужно было заготовить птичек и мушек, чтобы снарядить такого молодца. Впрочем, актер находил это вполне естественным.

Он считал, что все труды и лишения его жены и дочери относятся не к нему лично, а к тому неведомому, таинственному гению, хранителем которого он себя мнил.

В положении семейства Шеб и семейства Делобель существовала некоторая аналогия. Только у Делобелей было, пожалуй, не так уныло. Шебы жили замкнутой жизнью мелких рантье, однообразной, без всяких перспектив, тогда как семья актера не переставала обольщать себя иллюзиями и питать блестящие надежды на будущее.

Если Шебов можно было сравнить с людьми, живущими в тупике, то Делобели походили на людей, живущих в маленькой, грязной улочке без воздуха и света, но вблизи которой скоро должен будет пройти большой бульвар. Кроме того, г-жа Шеб утратила веру в своего мужа, тогда как ее соседка, находясь под обаянием магического слова «искусство», никогда и не подумала бы усомниться в своем супруге.

А между тем в продолжение многих и многих лет Делобель без всякой пользы для дела пил вермут с театральными агентами, абсент — с главарями клаки, водку — с водевилистами, драматургами и каким-то субъектом — мастером на все руки… Однако ангажемента он так и не получил. Ни разу не выступив на сцене, бедняга постепенно скатился с амплуа «первых любовников» к характерным ролям, затем — к ролям благородных отцов и, наконец, — простаков.

Но он не сдавался!

Несколько раз ему предоставляли возможность устроиться и зарабатывать на жизнь, поступить управляющим в клуб или кафе, заведующим в такие большие магазины, как «Бастильские маяки» или «Колосс Родосский». Для этого достаточно было иметь хорошие манеры, а этим, слава богу, Делобель мог похвастаться… Но великий человек героически отвергал все эти предложения.

— Я не имею права отказываться от театра!.. — говорил он.

Смешно было слышать эти слова из уст бедняги, много лет не ступавшего ногой на подмостки. Но всякое желание смеяться пропадало при взгляде на его жену и дочь, которые день и ночь глотали мышьяковую пыль и, ломая иголки о проволоку, упорно повторяли:

— Нет, нет! Делобель не имеет права отказываться от театра.

Счастливый человек! Его всегда снисходительно улыбающиеся выпуклые глаза и привычка играть драматические роли создали ему на всю жизнь исключительное положение избалованного принца, которым все восхищаются. Когда он, выйдя из дому, проходил по Улице Фран-Буржуа, лавочники с той особой симпатией, которую парижане питают ко всему, что имеет отношение к театру, почтительно кланялись ему. Он был всегда так хорошо одет, к тому же так добр, обходителен!.. И подумать только, что он — Рюи Блаз, Антонин, Рафаэль из «Мраморных девиц»,[4] Андре из «Пиратов Саваны»[5]- каждую субботу вечером с картонкой под мышкой относил работу своих дам в цветочный магазин на Улице Сен — Дени!..

И что же! Даже выполняя подобное поручение, этот удивительный человек был так преисполнен благородства и чувства собственного достоинства, что особа, производившая расчет, чувствовала себя как-то неловко, выдавая такому безукоризненному джентльмену мизерную сумму, заработанную за неделю двумя трудолюбивыми женщинами.

В такие вечера актер уж, конечно, не приходил домой обедать. Его дамы знали это заранее. Он всегда встречал на бульваре старого товарища, такого же неудачника, как и он сам, — мало ли их среди принадлежащих к этой проклятой профессии! — и вел в ресторан или в кафе… Затем добросовестно — дамы были ему и за это признательны — приносил домой оставшиеся деньги, а иногда еще и букет жене или маленький подарок дочери — какой-нибудь пустяк, безделушку. Ничего не поделаешь! Таковы актерские привычки — ведь в мелодрамах с такой легкостью бросаешь за окно пригоршню луидоров: «Эй ты, плут! Лови кошелек и скажи своей госпоже, что я ее жду».

Потому-то, несмотря на все усердие матери и дочери и на довольно доходное ремесло, семья часто испытывала денежные затруднения, особенно во время мертвого сезона.

К счастью, под рукой был добрый Рислер, всегда готовый помочь своим друзьям.

Гийом Рислер, третий квартирант на площадке, жил со своим братом Францем, который был лет на пятнадцать моложе его. Эти светловолосые швейцарцы, рослые и румяные, вносили в затхлую атмосферу мрачного дома, населенного рабочим людом, аромат деревни и здоровья. Старший служил рисовальщиком на фабрике Фромона; младший учился на средства брата сначала в ремесленном училище, позднее в Училище гражданских инженеров.

Приехав в Париж, Гийом столкнулся с затруднениями по устройству своего маленького хозяйства, и ему приходилось иногда прибегать к помощи своих соседок — г-жи Шеб и г-жи Делобель. Этот наивный, застенчивый, неповоротливый малый, стеснявшийся своего акцента и внешности иностранца, охотно пользовался советами и наставлениями обеих женщин. Соседство и взаимные услуги привели к тому, что через некоторое время братья Рислер стали членами обоих семейств.

По праздникам молодых людей всегда приглашали то к тем, то к другим; ласка и семейный уют, который они находили у этих бедных и скромных людей, доставляли много радости двум чужестранцам. Искусный рисовальщик, Рислер получал хорошее жалованье, и это позволяло ему оказывать помощь Делобелям, когда наступал срок уплаты за квартиру, а также являться к Шебам в роли богатого дядюшки, так нагруженного сюрпризами и подарками, что маленькая Сидони, едва завидев его, бросалась к его карманам и тут же взбиралась к нему на колени.

По воскресеньям он водил всех в театр, а в будни почти каждый вечер ходил с Шебом и Делобелем в пивную на улице Блондель, где угощал их пивом и солеными крендельками. Пиво и соленые крендельки были его слабостью.

Для него не было большего удовольствия, как сидеть за кружкой пива в обществе двух своих друзей, слушать их беседу и только громким смехом и покачиванием головы принимать участие в их разговоре, сводившемся большею частью к бесконечным жалобам на современное общество.

Детская робость и неправильные обороты речи, от которых вечно занятый Рислер так и не мог избавиться, сильно мешали ему выражать свои мысли. К тому же он очень терялся в обществе своих друзей. Они подавляли его тем превосходством, какое имеют праздные люди перед

тружеником, а Шеб, менее великодушный, чем Делобель, без стеснения давал ему это почувствовать. Он смотрел на Рислера свысока. По его мнению, человек, работающий, как Рислер, по десять часов в сутки, неспособен по окончании трудового дня высказать ни одной здравой мысли. И надо было видеть его возмущение, если случалось, что рисовальщик, вернувшись совершенно измученным с фабрики, собирался провести ночь за спешной работой!

— Ну нет, меня бы не заставили заниматься таким ремеслом, — говорил он, важно задирая голову, и тут же прибавлял, уставившись на Рислера тем укоризненным взглядом, каким иной раз смотрит врач на больного, как бы желая ему сказать: «Дождетесь, что вас хватит удар…»

Делобель был не так жесток, но смотрел на Рислера еще надменнее:

Ведь кедр у ног своих не может видеть розы.[6]

Так и Делобель не замечал Рислера.

А если великий человек и удостаивал иногда заметить присутствие рисовальщика, то, слушая его, он как-то особенно к нему наклонялся, улыбаясь его словам, словно лепету ребенка. А не то, желая пустить пыль в глаза, начинал рассказывать всякие истории об актрисах, учил, как нужно держать себя, к каким поставщикам следует обращаться; он положительно не понимал, как это человек, зарабатывающий столько денег, позволяет себе одеваться, точно какой-нибудь классный надзиратель. Добряк Рислер, убежденный в своем ничтожестве, старался заслужить прощение предупредительностью и тысячью мелких услуг, считая себя обязанным быть возможно деликатнее, — как же иначе, раз он, Рислер, был постоянным их благодетелем?

Связующим звеном между этими тремя семьями, жившими на одной площадке, служила крошка Сидони, постоянно перебегавшая из одной квартиры в другую.

По нескольку раз в день пробиралась она в мастерскую Делобелей и с любопытством рассматривала красивых мушек и птичек. Если случалось, что в дороге какая — нибудь мушка теряла крылышко или колибри — свое пуховое ожерелье, девочка больше из кокетства, чем из желания поиграть, мастерила себе из этих остатков яркие украшения, которые так шли к ее вьющимся каштановым волосам! Дезире с матерью смеялись, глядя, как она, кривляясь и жеманничая, тянется на цыпочках к старому, потускневшему зеркалу. Когда девочке надоедало любоваться собой, она, напрягая всю силу своих маленьких ручек, открывала тяжелую дверь и важной поступью, стараясь не шевелить головой, чтобы не испортить прически, выходила и стучалась к Рислерам.

Днем дома бывал только школьник Франц. Склонившись над учебниками, он старательно готовил уроки. Но стоило появиться Сидони — прощай, занятия! Приходилось все бросать и принимать эту прекрасную даму с колибри в волосах, изображавшую принцессу, которая якобы явилась к директору училища просить себе в мужья Франца Рислера.

Странно было видеть, как этот большой, не по годам рослый мальчик, играя с восьмилетней девчуркой, исполнял ее капризы, уступал ей во всем и окружал ее таким обожанием, что впоследствии, когда он по-настоящему полюбил ее, трудно было сказать, когда именно это началось.

Но как ее ни баловали в обеих семьях, Сидони все — таки улучала минутку, чтобы сбегать наверх, к окну на площадке, где она находила самое большое свое развлечение: прямо перед нею открывался широкий горизонт, а там, где-то внизу, словно видение будущего, в которое она заглядывала с любопытством и без страха, — ведь дети не испытывают головокружения — она различала высокую фабричную стену, верхушки платанов в саду, застекленные мастерские между покатыми шиферными крышами — все то, что было для нее обетованной землей, страной ее грез.

Фабрика Фромона была для Сидони верхом великолепия. Место, которое она занимала в этом-уголке Маре, окутанном в определенные часы дня дымом ее труб и наполненном шумом ее мастерских, энтузиазм Рислера, его рассказы о необыкновенном богатстве, доброте и достоинствах своего хозяина — все это возбуждало любопытство ребенка, а жилые постройки, изящные ставни из резного дерева, и круглое крыльцо, перед которым стояла садовая мебель, большая вольера из медной проволоки, вся пронизанная золотыми лучами солнца, голубая запряженная карета во дворе были предметом постоянного восхищения девочки.

Она знала весь фабричный обиход: час, когда звонили в колокол и уходили рабочие; субботнюю выдачу заработной платы, когда лампочка кассира горела до позднего вечера; долгие воскресные дни с закрытыми мастерскими, потухшими печами и глубокой тишиной, позволявшей ей слышать голосок мадемуазель Клер, которая играла и бегала по саду со своим кузеном Жоржем. Интересующие ее подробности она узнавала от Рислера.

— Покажи мне окна гостиной, — просила она его. — А где комнаты Клер?..

Рислер, в восторге от такой необыкновенной симпатии к милой его сердцу фабрике, объяснял девочке расположение построек, указывал ей сверху мастерские, где печатают, золотят и красят, рисовальный зал, где работал он сам, помещение для паровых машин, откуда подымалась

огромная труба, покрывавшая копотью все окрестные стены и не подозревавшая, конечно, что чья-то маленькая жизнь, приютившаяся под соседней крышей, переплетала свои самые сокровенные думы с ее могучим дыханием неутомимой труженицы.

Но настал день, когда Сидони проникла наконец в этот рай.

Г-жа Фромон, которой Рислер часто говорил о миловидности и уме своей маленькой соседки, попросила его привести девочку на детский бал, устраиваемый ею по случаю рождества. Сначала г-н Шеб ответил сухим отказом. Уже тогда эти Фромон ы, чье имя не сходило с уст Рислера, раздражали, унижали его своим богатством. К тому же дело шло о костюмированном бале, а г-н Шеб — он-то ведь не торговал обоями! — не располагал такими средствами, чтобы нарядить свою дочь какой — нибудь там попрыгуньей. Но Рислер настоял, заявив, что берет все расходы на себя, и, не откладывая в долгий ящик, занялся эскизом костюма.

То был памятный вечер.

В комнате г-жи Шеб, заваленной материей, булавками и всякими мелкими принадлежностями туалета, под руководством Дезире Делобель наряжали на бал Сидони.

В короткой юбочке из красной в черную полоску фланели девочка казалась выше ростом; прямо и неподвижно стояла она перед зеркалом во всем блеске своего наряда. Она была прелестна. Корсаж с бархатными переплетами, зашнурованный на белой шемизетке, соломенная шляпка, из-под которой спускались великолепные длинные каштановые косы, все эти чуть-чуть банальные детали костюма швейцарки эффектно выступали в сочетании с задорным личиком и жеманной грацией девочки, так гармонировавшими с ее красочным театральным нарядом.

Сбежавшиеся соседи ахали от восторга. Пока ходили за Делобелем, маленькая хромоножка, не выпуская из рук иголки, поправляла складки на юбке, банты на туфлях, окидывала последним взглядом свою работу — бедняжка тоже была отравлена волнующим дурманом этого праздника, на котором ей не суждено было присутствовать. Наконец великий человек явился. Он заставил Сидони повторить два-три реверанса, которым обучил ее, продемонстрировать, как она будет ходить, держать себя, как будет улыбаться, почти не разжимая губ. Забавно было видеть, с какой точностью девочка следовала всем его указаниям.

— У нее, несомненно, артистическая жилка! — в восторге говорил старый актер. А долговязому Францу, присутствовавшему при этой сцене, хотелось плакать, но он и сам не знал, почему…

Даже год спустя после этого незабвенного вечера Сидо и и могла бы

рассказать, какими цветами была украшена прихожая, какого цвета была мебель, какой танец играли в момент ее появления на балу, — так глубоко было впечатление от этого праздника. Она ничего не забыла: ни костюмов, мелькавших вокруг нее, ни детского смеха, ни всех этих маленьких ножек, торопливо семенивших по скользкому паркету. Когда она, сидя на краешке обитого красным шелком дивана, брала с протянутого ей подноса шербет — первый в ее жизни, — она вдруг вспомнила черную лестницу, маленькую тесную квартирку своих родителей, и все это показалось ей чем-то бесконечно далеким, покинутым навсегда.

Все нашли, что она очаровательна, все восхищались ею, ласкали ее. Клер Фромон, вся в кружевах — настоящая миниатюра девушки ив Ко,[7]-представила ее своему кузену Жоржу, блестящему гусару, который на каждом шагу оборачивался, чтобы посмотреть, какое впечатление производит его ташка.

— Это моя подруга, Жорж… Она будет приходить играть с нами по воскресеньям… Мама позволила.

И с наивной восторженностью счастливого ребенка она от всего сердца поцеловала Сидони.

Однако пора было уходить… Но долго еще на мрачной улице, где лежал мокрый снег, на темной лестнице и в объятой сном комнате, где ждала ее мать, яркий свет гостиных сиял перед ее ослепленным взором.

— Ну что, хорошо было) Ты веселилась? — шепотом спрашивала г-жа Шеб, растегивая один за другим крючки ее великолепного костюма.

Сидони не отвечала матери; изнемогая от усталости, она засыпала стоя, и ей уже грезился тот прекрасный сон, который должен был длиться всю ее молодость и который стоил ей так много слез.

Клер Фромон сдержала слово. Сидони часто приходила играть в красивый, усыпанный песком сад и могла вблизи любоваться резными ставнями и вольерой с золоченой проволочной решеткой. Она узнала все углы и закоулки огромной фабрики, играла в прятки за печатными станками в тихие воскресные дни. В праздники для нее ставили прибор на детском столе.

Все любили ее, хотя сама она ни к кому не выказывала большой привязанности. Пока она находилась среди этой роскоши, она чувствовала себя кроткой, счастливой, как бы похорошевшей, но когда, вернувшись домой, с площадки лестницы сквозь тусклые стекла окна она смотрела на фабрику, в ней просыпалось чувство горечи и гнев.

Между тем Клер относилась к ней как к подруге.

Иногда в великолепной голубой карете Сидони отправлялась с

Фромонами в Булонский лес или в Тюильри. А не то они увозили ее на целую неделю в деревню, в замок дедушки Гардинуа, расположенный в Савиньи-на-Орже. Благодаря подаркам Рислера, гордившегося успехами малютки, она была всегда очень мило и нарядно одета, тем более что для г-жи Шеб это являлось вопросом чести, и она, со своей стороны, делала все, что могла; к тому же и хорошенькая хромоножка всегда охотно предоставляла в распоряжение маленькой подруги сокровища своего нерастраченного кокетства.

Шеб, по-прежнему враждебно настроенный против Фромонов, неодобрительно смотрел на все возраставшую близость детей. Настоящей причиной было, конечно, то, что его не приглашали к Фромонам, но он выставлял другие мотивы и говорил жене:

— Разве ты не видишь, что девочка приходит оттуда расстроенная и потом целыми часами мечтает у окна?

Но несчастное замужество сделало г-жу Шеб недальновидной. Она твердила, что надо пользоваться настоящим — кто знает, что сулит будущее? — и ловить каждый миг счастья, ибо нередко единственным утешением и поддержкой в жизни служат воспоминания счастливого детства.

Но на этот раз прав оказался г-н Шеб.

III. ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ШЕБ. ПОДДЕЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ

После нескольких лет близости и совместных игр, когда Сидони уже привыкла к роскоши и усвоила хорошие манеры богатых детей, дружба внезапно оборвалась.

Кузен Жорж, опекуном которого был Фромон, уже давно поступил в лицей. Клер отвезли в монастырский пансион, снарядив ее, как маленькую королеву. В это же время и у Шебов возник вопрос о том, чтобы отдать Сидонн в ученье. Дети расстались, обменявшись обещанием вечно любить друг друга и видеться два раза в месяц, по воскресеньям, в дни отпуска домой.

И действительно, Сидони приходила иногда поиграть со своими друзьями, но, по мере того как становилась старше, она все лучше понимала разделявшее их расстояние и находила уже свои платья слишком простенькими для гостиной г-жи Фромон.

Когда они бывали только втроем, детская дружба, вносившая равенство в их отношения, устраняла всякую натянутость, но иногда по воскресеньям к юным Фромонам приходили подруги Клер по пансиону и среди них высокая, всегда нарядно одетая девочка, являвшаяся в сопровождении горничной.

Достаточно было Сидони увидеть, как эта разряженная надменная гостья поднимается на крыльцо, и у нее появлялось желание немедленно уйти. Девочка постоянно смущала ее щекотливыми вопросами… Где она живет? Чем занимаются ее — родители? Есть ли у них свой выезд?..

Слушая их разговоры о монастырском пансионе, о подругах, Сидони чувствовала, что все они живут в особом мире, за тысячу миль от нее, и ее охватывала смертельная тоска, особенно когда по возвращении домой Мать заводила разговор о том, что ей следовало бы поступить ученицей к некой мадемуазель Ле Мир, знакомой Делобелей, владелице магазина искусственного жемчуга на улице Руа-Дорэ.

Рислер тоже был за то, чтобы отдать девочку в ученье. «Пусть она выучится какому-нибудь ремеслу, — говорил добряк, — а потом уж я приобрету для нее магазин…»

Как раз эта самая девица Ле Мир собиралась через несколько лет прекратить свое дело. Случай был подходящий.

И вот в одно печальное ноябрьское утро отец отвел девочку на улицу

Руа-Дорэ, на четвертый этаж старого дома, еще более старого, еще более мрачного, чем их дом.

Внизу, при входе, висело множество дощечек с надписью золотыми буквами; «Фабрика несессеров», «Цепочки из накладного серебра», «Детские игрушки», «Точные измерительные приборы из стекла», «Букеты для невест и подружек», «Производство полевых цветов», а повыше, над ними, в маленькой запыленной витрине, окруженное ожерельями из пожелтевшего жемчуга, стеклянным виноградом и такими же вишнями, красовалось претенциозное имя Анжелины Ле Мир.

Ужасный дом!

Здесь не было даже просторной площадки, как у Шебов, мрачной от старости, но оживляемой окном и чудесным видом на фабрику. Узкая лестница, узкая дверь, ряд маленьких холодных комнат с плиточным полом, и в самой последней из них — старая дева с буклями, в черных нитяных митенках, погруженная в чтение засаленного номера «Журнала для всех» и, по-видимому, очень недовольная тем, что ей помешали.

Мадемуазель Ле Мир приняла отца и дочь сидя. Она долго говорила о своем утраченном положении в обществе, о своем отце, старом дворянине из Руэрга, — просто неслыханно, сколько старинных дворян произвел этот Руэрг! — о вероломном управляющем, похитившем все их состояние. Она сразу завоевала симпатию Шеба, питавшего непреодолимое влечение к людям, оторвавшимся от своей среды. Он ушел очарованный, пообещав дочери зайти за нею в семь часов вечера, как это было условлено.

Ученицу сразу же отвели в мастерскую. Там еще никого не было. Мадемуазель Ле Мир, усадив девочку перед большим ящиком, наполненным жемчужинами, иголками и крючочками вперемешку с дешевыми романами, сказала, что она должна будет сортировать жемчуг и нанизывать его на одинаковой длины нитки; эти нитки потом связывают вместе и продают мелким торговцам. Более подробные сведения она получит от мастериц: они скоро придут и точно укажут, что ей надо будет делать. Что касается мадемуазель Ле Мир, то она ни во что не вмешивалась и следила за своим предприятием издали, из глубины темной комнаты, где проводила все свое время за чтением романов.

В девять часов пришли мастерицы, пять взрослых девушек, бледных, увядших, плохо одетых, но хорошо причесанных, с претензией, присущей бедным работницам, разгуливающим по улицам Парижа с непокрытой головой.

Некоторые из этих девушек зевали, терли глаза, говорили, что им до смерти хочется спать. Кто знает, как провели они ночь?..

Наконец все они уселись за длинный стол, где у каждой был свой ящик и свои инструменты, и принялись за работу. Мастерская получила заказ на траурные украшения, и надо было торопиться. Сидони, которой *старшая* тоном невыразимого превосходства разъяснила ее обязанности, начала меланхолически перебирать груды черного бисера, бус в виде черной смородины и колосьев из крепа.

Остальные не обращали внимания на девочку и работали, не переставая болтать. Говорили о том, что в Сен — Жерве сегодня пышная свадьба.

— А не пойти ли нам посмотреть? — предложила толстая рыжая девушка, которую звали Мальвиной. — Свадьба будет в полдень… Мы успеем сбегать и вовремя вернуться.

И как только наступил перерыв, вся компания вихрем умчалась из мастерской.

Сидони принесла с собой завтрак в маленькой корзиночке, как школьница; с тяжелым сердцем пристроилась она на уголке стола и первый раз в жизни поела одна… Боже! Какой жалкой и печальной показалась ей жизнь, и как страшно отомстит она впоследствии за все свои горести!..

В час дня мастерицы вернулись, шумные, возбужденные.

— Вы обратили внимание? Платье из белого грогрена!.. А фата из английских кружев!.. Вот счастливица!

И девушки снова начали высказывать замечания, которыми шепотом обменивались в церкви во время церемонии. Разговор о богатой свадьбе и красивых нарядах продолжался весь день, но это нисколько не мешало работе, скорее напротив.

Мелкие парижские предприятия, занятые производством всевозможных деталей туалета, заставляют работниц следить за модой, постоянно думать о роскоши и изяществе. Для бедных девушек, работавших на четвертом этаже у г-жи Ле Мир, не существовало ни черных стен, ни узкой улицы. Они мечтали о чем-то ином и постоянно спрашивали одна другую:

— Послушай, Мальвина, что бы ты сделала, если б была богата?.. Я бы непременно поселилась на Елисейских Полях…

И перед ними на миг восхитительным освежающим видением возникала круглая площадь с высокими деревьями и нарядными, медленно объезжавшими ее экипажами.

Сидя в сторонке, юная Шеб молча слушала эти разговоры, тщательно нанизывая черные гроздья винограда с ловкостью и вкусом, приобретенными ею в общении с Дезире. И когда вечером г-н Шеб пришел

за дочерью, о ней отозвались с большой похвалой.

Отныне все ее дни походили один на другой. Разве иногда вместо черных она нанизывала белые жемчужины или красные зерна поддельного коралла, — у мадемуазель Ле Мир работали только над поддельными камнями, над мишурой. И вот здесь-то Сидони должна была получить подготовку к жизни.

Первое время новая ученица, более юная и лучше воспитанная, чем остальные, чувствовала себя одинокой среди товарок. Позже, когда она подросла, она была допущена в их тесный кружок, посвящена в их секреты, но она никогда не принимала участия в их развлечениях. Она была слишком горда, чтобы бегать в полуденный перерыв смотреть на свадьбы, и всегда с презрением слушала рассказы о ночных балах в «Вокзале» и в «Делис дю Маре», так же как и разговоры об изысканных ужинах у Бонвале или в «Катр Сержан де ла Рошель».

Мы метили повыше, не так ли, малютка Шеб?

К тому же каждый вечер за ней приходил отец.

Впрочем, перед Новым годом, когда надо было выполнить срочный заказ, ей приходилось оставаться на ночь вместе с другими мастерицами. Жалость брала смотреть на этих бледных парижанок, нанизывавших при свете газа белые жемчужины, такой же болезненно матовой белизны, как и они сами. Их отличал тот же искусственный блеск, та же хрупкость поддельных украшений. Девушки только и говорили, что о маскарадах и театрах.

— Ты видела Адель Паж в «Трех мушкетерах»?.. А Меленга? А Мари Лоран?.. Ах, Мари Лоран!..

В матовом отблеске нанизываемых ожерелий им мерещились камзолы актеров, вышитые платья королев из мелодрам.

Летом, в мертвый сезон, работы было меньше. В жару, когда из-за закрытых ставен доносились выкрики уличных продавцов мирабели и ренклодов, мастерицы, положив голову на стол, засыпали тяжелым сном. А иногда Мальвина шла в заднюю комнату к мадемуазель Ле Мир и, взяв у нее комплект «Журнала для всех», читала его вслух остальным.

Но маленькая Шеб не любила романов. У нее в голове был свой роман, гораздо интереснее.

Ничто не могло заставить ее забыть фабрику. Выходя утром из дому под руку с отцом, она неизменно бросала взгляд в ее сторону. В этот час фабрика просыпалась. Труба выбрасывала первый столб черного дыма. Проходя мимо, Сидони слышала громкие возгласы рабочих, тянувших проволоку, глухой стук печатных станков, мощное, ритмичное дыхание

машин, и этот гул труда, сливаясь в ее памяти с воспоминаниями о праздниках и голубых каретах, неотступно преследовал ее.

Он заглушал для нее грохот омнибусов, уличные крики, шум фонтанов. И в мастерской, когда она сортировала искусственный жемчуг, и вечером у себя дома, когда, пообедав, она шла к окну на площадке, чтобы подышать свежим воздухом и посмотреть на опустевшую, погруженную во мрак фабрику, этот гул неустанно звучал в ее ушах, словно назойливый аккомпанемент ее мыслям.

— Девочка скучает, госпожа Шеб… Надо ее развлечь. В будущее воскресенье я повезу вас всех за город.

Но воскресные прогулки, которые Рислер устраивал, чтобы рассеять Сидони, нагоняли на нее еще большую тоску.

Беднякам дорого достаются удовольствия. В такие дни приходилось вставать в четыре часа утра, ибо в последнюю минуту всегда оказывалось, что надо или что-нибудь прогладить, или пришить какую-нибудь отделку, чтобы освежить неизменное лиловое платье в белую полоску, которое г-жа Шеб добросовестно удлиняла из года в год.

Отправлялись все вместе: Шебы, Рислеры, знаменитый Делобель. Только Дезире с матерью не принимали участия в этих прогулках. Бедная калека, стыдившаяся своего увечья, не хотела расстаться со своим креслом, мать тоже оставалась дома, чтобы составить компанию дочери. К тому же ни у той, ни у другой не было достаточно приличного туалета, чтобы показаться на улице рядом с их великим человеком, — это значило бы испортить весь эффект, производимый его внешностью.

В час отъезда Сидони немного оживлялась. Париж в розовой дымке июльского утра, вокзалы, пестреющие светлыми туалетами, поля, мелькающие мимо окон вагона, движение, чистый воздух, влажный от близости Сены и напоенный ароматом леса, цветущих лугов и созревающих хлебов, — все это на минуту захватывало ее. Но тривиальность такого воскресного отдыха быстро вызывала у нее отвращение.

Ведь каждый раз одно и то же!

Останавливались у кабачка, поблизости от сельского праздника, там, где было шумно и людно, потому что Делобелю нужна была публика. В сером костюме, в серых гетрах, в маленькой надвинутой на ухо шляпе, набросив на руку светлое пальто, он расхаживал, убаюкиваемый своей грезой: ему казалось, что он находится на сцене, изображающей деревню в окрестностях Парижа, и что он играет роль парижанина на даче.

Что касается Шеба, то, хотя он и хвастался, что любит природу, как

покойный Жан-Жак,[8] он признавал ее не иначе, как со стрельбою в цель, каруселями, бегом в мешках, пылью и дудками. Все это, впрочем, являлось идеалом сельской жизни и для г-жи Шеб.

Но у Сидони был другой идеал, эти воскресные дни, такие шумные на деревенских улицах, наводили на нее невыносимую тоску. Единственным ее удовольствием в этой сутолоке было сознание, что на нее смотрят. Наивное, громко выраженное восхищение любого мужлана заставляло ее весь день улыбаться, ибо она была из числа тех женщин, которые не пренебрегают никакими ком* плиментами.

Иногда, оставив Шебов и Делобеля на гулянье, Рислер с братом и «малюткой» уходил в поле собирать цветы, которые могли бы послужить моделью для его обоев. Долговязый Франц нагибал своими длинными руками высокие ветви боярышника или же взбирался на ограду и срывал видневшуюся за ней нежную зелень. Но самую богатую жатву собирали они на берегу реки.

Там попадались гибкие растения на длинных согнутых стеблях — они так эффектны на обоях! — высокий прямой тростник и вьюнки, цветы которых, неожиданно раскрываясь в причудливом рисунке, кажутся живыми лицами, выглядывающими из очаровательного сплетения зелени… Составляя букеты, Рислер артистически располагал цветы, вдохновляясь своеобразием каждого растения, стараясь понять его сущность, которую уже нельзя будет уловить на другой день, когда оно увянет.

Составив букет и перевязав его, точно лентой, широкой травинкой, его взваливали Францу на спину — ив путь! Увлеченный своим искусством, Рислер и дорогой не переставал искать сюжеты и различные сочетания.

— Посмотри, малютка: если эту веточку ландыша с его белыми колокольчиками переплести с шиповником… А? Как ты думаешь?.. На водянисто-зеленом или светло-сером фоне это получится очень мило.

Но Сидони не любила ни ландышей, ни шиповника. — Для нее полевые цветы были цветами бедняков, чем-то вроде ее лилового платья.

Она вспоминала другие цветы, те, что видела у Гардинуа, в замке Савиньи, в оранжереях, на балюстрадах, вокруг всего двора, усыпанного песком и уставленного, большими вазами.

Вот какие любила она цветы, вот как она понимала деревню!

Воспоминания о Савиньи всплывали у нее на каждом шагу. Проходя мимо решетки парка, она останавливалась и смотрела на прямую, ровную аллею, которая вела, вероятно, к крыльцу… Лужайки, на которые ложилась тень от высоких деревьев, спокойные террасы у воды напоминали ей другие террасы, другие лужайки. Эти видения роскоши, переплетаясь с

воспоминаниями, еще более омрачали ее воскресные дни. Но мучительнее всего было для нее возвращение.

В воскресные вечера на маленьких пригородных парижских вокзалах невообразимо тесно и душно. Сколько тут деланного веселья, глупого смеха, песен, распеваемых усталыми голосами, способными только завывать!.. Зато Шеб чувствовал себя здесь в своей стихии.

Он толкался у окошка кассы, возмущался опозданием поезда, разносил начальника станции, железнодорожную компанию, правительство и громко, так, чтобы все слышали, говорил Делобелю:

— А?.. Каково!.. Если б что-нибудь подобное случилось в Америке!

Выразительная мимика знаменитого актера и многозначительный вид, с каким он отвечал: «Воображаю!» — заставляли окружающих предполагать, что эти господа и в самом деле знают, что произошло бы в подобном случае в Америке. Ни тот, ни другой, конечно, понятия об этом не имели, но такие замечания придавали им вес в глазах толпы.

Сидя рядом с Францем и держа половину его букета у себя на коленях, Сидони в томительном ожидании вечернего поезда как бы растворялась в окружавшей ее сутолоке. Из окна вокзала, освещенного единственной Лампочкой, она видела погруженную во мрак зелень, сквозь которую кое-где еще мелькали последние огни праздничной иллюминации, видела темную деревенскую улицу, прибывающих людей и висячий фонарь на пустынной платформе…

Время от времени за стеклянными дверями проносился, не останавливаясь, поезд, выбрасывая сноп искр и клубы пара. В вокзале поднималась целая буря — визг, топот, но все это покрывалось пронзительным, как крик морской чайки, фальцетом Шеба, вопившего: «Вышибайте двери! Вышибайте двери!..» Сам он, впрочем, ни за что бы этого не сделал, так как смертельно боялся жандармов. Буря скоро утихала. Женщины, измученные, растрепанные, засыпали, прикорнув на скамьях. Помятые платья, разорванные косынки, белые открытые туалеты — все было в пыли…

Здесь и дышали-то главным образом пылью.

Она сыпалась с одежды, подымалась из-под ног, затемняла свет лампы, засоряла глаза, окутывала, словно облаком, измученные лица. Вагоны, куда люди попадали наконец после долгих часов ожидания, были тоже насыщены пылью… Сидони открывала окно и долго смотрела на темные поля, пока наконец у крепостных валов не показывались, словно бесчисленные звезды, первые фонари Внешних бульваров.

На этом кончался ужасный день отдыха всех этих бедняков. Вид

Парижа возвращал каждого к мысли о завтрашней работе. И, как ни уныло проходило ее воскресенье, Сидони начинала жалеть, что оно уже позади. Она думала о богатых, чья жизнь — сплошной праздник, и смутно, как во сне, вставали перед нею виденные днем парки, где по длинным, усыпанным мелким песком аллеям разгуливали счастливые мира сего, в то время как там, за решеткой, в дорожной пыли быстро шагало воскресенье бедняков, которым некогда было даже остановиться, чтобы посмотреть на этих счастливцев и позавидовать им.

Так протекала жизнь Сидони Шеб с тринадцати до семнадцати лет.

Годы проходили один за другим, не принося с собой никаких перемен. Немного больше износилась кашемировая шаль г-жи Шеб, еще несколько раз было переделано лиловое платьице — вот и все. Но только, по мере того как подрастала Сидони, Франц, теперь уже взрослый юноша, все чаще бросал на нее нежные безмолвные взгляды и окружал ее вниманием и любовью, явными для всех, кроме самой девушки.

Впрочем, маленькую Шеб ничто не интересовало.

В мастерской она молча, аккуратно выполняла свою работу, не думая ни о будущем, ни о материальном благополучии. Все, что она делала, имело для нее характер чего-то временного.

Франц, напротив, с некоторых пор работал с необычайным жаром, с рвением человека, упорно стремящегося к определенной цели, и в двадцать четыре года он окончил вторым Училище гражданских инженеров.

В тот знаменательный день Рислер повел Шебов в театр Жимназ, и весь вечер они с г-жой Шеб обменивались знаками, подмигивали друг другу за спиной молодых людей. А при выходе из театра г-жа Шеб торжественно просунула руку Сидони под руку Франца, как бы говоря влюбленному: «Теперь выпутывайтесь сами… Это уж ваше дело».

И бедный влюбленный попробовал выпутаться.

От театра Жимназ до Маре путь длинен. Уже через несколько шагов великолепие бульвара пропадает, тротуары становятся все темнее и темнее, прохожие попадаются все реже и реже. Франц начал с того, что заговорил о спектакле… Он так любит чувствительные пьесы!..

— А вы, Сидони?

— Я? Вы же знаете, Франц, что для меня самоё главное — наряды.

И действительно, в театре она интересовалась только ими. Она не принадлежала к сентиментальным женщинам типа госпожи Бовари, которые возвращаются со спектакля с готовыми любовными фразами, очарованные героем пьесы. Нет! Театр возбуждал в ней лишь безумную жажду роскоши и стремление к изяществу; она выносила из него только

модели причесок и фасоны платьев… Модные, кричащие наряды актрис, их походка, их фальшиво-светский тон, казавшийся ей верхом аристократизма, банальный блеск позолоты, яркий свет, сверкающие рекламы у входа, кареты у подъезда, шумиха вокруг модной пьесы — вот что она любила, вот что захватывало ее.

Влюбленный продолжал:

— Как хорошо провели они любовную сцену!

С этими словами он осторожно наклонился к хорошенькой головке в белом шерстяном капоре, из-под которого выбивались вьющиеся волосы.

Сидони вздохнула:

— Ах, да! Любовная сцена… На актрисе были чудесные бриллианты!

Наступило молчание. Бедному Францу было очень трудно начать объяснение. Он не находил нужных слов, сильно робел. Чтобы заставить себя высказаться, он назначал себе сроки:

«Когда пройдем ворота Сен-Дени… Когда минуем бульвар…»

Но Сидони начинала вдруг говорить о таких безразличных вещах, что объяснение замирало у него на устах, или же им преграждал путь экипаж, и родные за это время успевали нагнать их.

Наконец, дойдя до Маре, он вдруг решился:

— Послушайте, Сидони… Я люблю вас…

В ту ночь у Делобелеи долго не ложились.

У этих неутомимых женщин вошло в привычку растягивать свои рабочий день насколько это было возможно, и обычно их лампа гасла одной из последних на тихой улице Брак. Мать и дочь всегда поджидали возвращения великого человека и оставляли для него в горячей золе очага легкий, но питательный ужин.

В те времена, когда он играл на сцене, это еще имело какой-то смысл: актеры, вынужденные обедать рано и не слишком плотно, уходят из театра голодные и, когда возвращаются домой, должны непременно поесть. Делобель уже давно не выступал, но, не имея права, как он говорил, отказаться от театра, поддерживал свою манию с помощью множества актерских привычек. К их числу принадлежал и поздний ужин, а также ежедневное возвращение домой не раньше, чем погаснет свет последней театральной рампы. Лечь спать без ужина, в одно время со всеми значило бы сдаться, отказаться от борьбы. А он не откажется, черт возьми, ни за что на свете.

В ту ночь, о которой идет речь, актер долго не возвращался, и обе женщины, несмотря на поздний час, ждали его за работой, оживленно беседуя. Весь вечер у них только и разговору было, что о Франце, об его

успехах, о его будущем.

— Теперь, — говорила г-жа Делобель, — ему остается только найти себе хорошую жену.

Того же мнения была и Дезире. Для полного счастья Францу недоставало только хорошей жены, деятельной, стойкой, трудолюбивой, способной всем пожертвовать для него. И если Дезире говорила об этом с такой уверенностью, то потому лишь, что близко знала девушку, подходившую Францу Рислеру… Эта девушка была всего на год моложе его, ровно настолько, сколько требуется, чтобы быть моложе своего мужа и в то же время заменять ему мать.

…Красива?..

Не то чтобы красива, но все же скорее миловидна, чем дурна, несмотря на свое увечье, — бедняжка хромала! А зато какая чуткая, нежная, любящая! Никто, кроме Дезире, не знал, как эта девушка — любит Франца и что вот уже много лет она дни и ночи думает о нем. Сам он тоже ничего не замечал и, казалось, видел одну только Сидони, совсем еще девочку. Но не все ли равно! Молчаливая любовь так красноречива, такая сила кроется в невысказанных чувствах!.. Как знать? Быть может, когда-нибудь…

И маленькая хромоножка, склонившись над работой, отправилась в одно из тех дальних путешествий в страну химер, которые она уже столько раз совершала, сидя неподвижно в своем кресле калеки и поставив ноги на скамеечку; в одно из тех восхитительных путешествий, из которых она неизменно возвращалась счастливая, улыбающаяся, опираясь на руку Франца с доверчивостью любимой жены. Ее пальцы как бы следовали за ее мечтой, и маленькая птичка, которую она в эту минуту держала в руках, расправляя ее помятые крылышки, казалось, тоже готова была вспорхнуть и улететь далеко-далеко; радостная, легкая, как и она сама.

Вдруг дверь отворилась.

— Я вам не помешаю? — раздался ликующий голос.

Мамаша Делобель, уже начавшая было дремать, быстро подняла голову.

— А, это господин Франц!.. Входите же, входите, господин Франц! Вы видите, мы ждем отца… Эти разбойники-артисты возвращаются всегда так поздно!.. Садитесь… Поужинаете с ним.

— Нет, благодарю вас, — ответил Франц; его губы были еще бледны От только что пережитого волнения. — Благодарю вас, я на минутку. Я увидел в щелочку двери свет и зашел только, чтобы оказать вам… чтобы поделиться с вами важной новостью. Она обрадует вас, потому что, я знаю, вы меня любите…

— Боже мой, да что же такое случилось?

— Франц Рислер и мадемуазель Сидони помолвлены!

— Ну, разве я не говорила, что ему недостает только хорошей жены! — воскликнула г-жа Делобель, бросаясь ему на шею.

Дезире не в силах была произнести ни слова. Она еще ниже склонилась над работой, и так как Франц не видел перед собой ничего, кроме своего счастья, а г-жа Делобель смотрела только на часы в ожидании великого человека, никто не заметил волнения и внезапной бледности бедной хромоножки, никто не увидел, как вздрогнула и застыла в ее руках маленькая птичка, запрокинув головку, будто раненная насмерть.

IV. ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ШЕБ. СВЕТЛЯКИ САВИНЬИ

Сааиньи-сюр-Орж

«Дорогая Сидони!

Мы сидели вчера за столом в знакомой тебе большой столовой; в открытую настежь дверь была видна уставленная цветами веранда. Мне что-то взгрустнулось. Дедушка все утро был в дурном настроении, и бедная мама боялась вымолвить слово — такой страх внушают ей всегда его нахмуренные брови. Я невольно думала о том, как обидно в самый разгар лета быть Одной в таком прелестном уголке и как хорошо было бы теперь, когда я вышла из монастыря и должна проводить все лето в деревне, иметь подле себя, как прежде, кого-нибудь, с кем можно было бы бегать по лесу и по аллеям парка.

Правда, иногда к нам приезжает Жорж, но он является всегда очень поздно, уже к обеду, а наутро уезжает с папой, когда я еще сплю. К тому же г-н Жорж стал человеком серьезным. Он работает на фабрике, и деловые заботы часто заставляют хмуриться и его.

Я думала обо всем этом, как вдруг дедушка, повернувшись ко мне, спросил:.

— А как поживает твоя Сидони? Хорошо, если б она приехала погостить.

Вообрази, как я обрадовалась! Как хорошо будет снова встретиться, возобновить дружбу, прерванную скорее по вине обстоятельств, чем по нашей собственной вине! Как много надо нам рассказать друг другу! Ты одна обладала даром приводить в хорошее настроение свирепого дедушку, я уверена, что ты внесешь к нам веселье, а его нам, право, очень недостает.

Если б ты знала, как пустынно в нашем прелестном Савиньи! Иногда с утра на меня находит желание пококетничать. Я одеваюсь, прихорашиваюсь; завитая, в нарядном платье разгуливаю по аллеям и вдруг замечаю, что я старалась для лебедей, уток, для моей собаки Кисс и для коров, а они даже не оборачиваются, когда я прохожу по лугу. Тогда с досады я спешу домой, надеваю простое полотняное платье и принимаюсь хозяйничать на ферме, в буфетной, везде понемножку. И, знаешь, я начинаю думать, что скука мне на пользу и что из меня в конце концов выйдет прекрасная хозяйка…

К счастью, скоро наступит охотничий сезон, и я рассчитываю, что

можно будет немного развлечься. Во — первых, Жорж и папа — оба страстные охотники — будут чаще приезжать сюда. А затем — здесь будешь ты… Ведь ты мне сразу же напишешь, что приедешь к нам, правда? Г-н Рислер говорил недавно, что ты не совсем здорова. Свежий воздух будет тебе очень полезен.

Здесь все тебя ждут, а я… я просто умираю от нетерпения.

Клер».

Запечатав конверт. Клер Фромон надела большую соломенную шляпу — стояли солнечные жаркие дни начала августа — и пошла сама опустить письмо в ящичек, откуда почтальон каждое утро, проходя мимо, вынимал почту.

Ящик находился в конце парка, на повороте дороги. Клер остановилась на минуту, чтобы полюбоваться на окаймлявшие дорогу деревья и на окрестные поля, дремавшие под горячими лучами солнца. Там, в стороне, жнецы убирали последние снопы; немного дальше пахали. Но вся эта меланхолия безмолвного труда не затронула молодую девушку, опьяненную радостью от предстоящей встречи с подругой.

Кругом стояла тишина. Ни малейшего дуновения ветерка не долетало с высоких холмов на горизонте, ничей голос не прозвучал с верхушек деревьев, чтобы заронить в душу девушки предчувствие, помешать ей отправить роковое письмо. И, вернувшись домой, она тотчас же велела приготовить для Сидони хорошенькую комнатку рядом со своей.

Письмо честно проделало свой путь. От маленькой зеленой калитки замка, увитой глициниями и жимолостью, оно направилось в Париж и в тот же вечер, со штемпелем Савиньи, пропитанное ароматом полей, прибыло на улицу Брак, в квартиру на пятом этаже.

Каким это было там событием! Письмо перечитали три раза, и всю неделю, до самого отъезда Сидони, оно лежало на камине рядом с реликвиями г-жи Шеб — часами под стеклянным колпаком и кубками в стиле ампир. Для Сидони это письмо было чем-то вроде чудесного романа, полного очарования, полного обещаний, и она читала его, даже не раскрывая, а только глядя на белый конверт с узорчатым вензелем Клер Фромон.

Теперь уж было не до замужества. Самое главное — решить, как ей одеться для поездки в замок… Пришлось заняться этим: кроить, комбинировать, приме-, рять платья, шляпки… Бедный Франц! Как тяжело было у него на сердце от этих приготовлений! Поездка в Савнньи, против которой он тщетно пытался возражать, еще более отдаляла их свадьбу, которую Сидони по непонятным для него причинам и бев того откладывала

со дня на день.

Ему нельзя будет поехать повидаться с нею, а раз она попадет туда, в атмосферу празднеств и удовольствий, — кто знает, сколько времени она пробудет там?

Несчастный влюбленный то и дело заходил к дамам Делобель поделиться своими переживаниями и ни разу не заметил, как порывисто вставала Дезире при его по-, явлении, освобождая ему рядом с собой место за рабочим столом, как она потом садилась, раскрасневшаяся, с горящими глазами.

Уже несколько дней мать и дочь не работали над *птичками и мушками для отделки*. Они подрубали розовые воланы для платья Сидони, и никогда еще бедная калека не шила с таким увлечением.

Недаром эта маленькая Дезире была дочерью Делобел я!

Она унаследовала от отца его способность тешить себя Иллюзиями и не терять надежду, несмотря ни на что.

Пока Франц рассказывал ей о своих любовных огорчениях, Дезире мечтала о том, что после отъезда Сидони он будет приходить к ним каждый день, хотя бы для того, чтобы поговорить об уехавшей, что он будет здесь, около нее, что они будут вместе бодрствовать, поджидая «отца», и что как-нибудь вечером, взглянув на нее, он, быть может, заметит разницу между женщиной, которая любит, и той, которая только позволяет любить себя.

И мысль, что каждый новый стежок на платье ускоряет столь нетерпеливо ожидаемый отъезд, сообщала ее иголке необыкновенную быстроту, а бедный влюбленный с ужасом смотрел, как росли у него на глазах груды оборок и рюшей, вздымаясь, словно легкие волны.

Когда розовое платье было готово, мадемуазель Шеб уехала в Савиньи.

Замок Гардинуа был расположен в долине Орж, на берегу речки, в которой была своя, особенная прелесть, так же как во всех этих мельницах, островках, шлюзах и широких лужайках парка, сбегавших к ее крутым берегам.

Старинный дом в стиле Людовика XV, с низким корпусом и высокой крышей, имел торжественно-меланхолический вид и сохранял облик, присущий аристократическим зданиям былых времен: тут были и широкие террасы, и ржавые железные балконы, и старые, источенные дождем и побуревшие от времени каменные вазы, на фоне которых ярко выделялись свежие цветы… Теряясь вдали, тянулись полуразрушенные, покосившиеся стены, отлого спускаясь к реке. Над ними высился замок с высокой шиферной крышей, а чуть подальше виднелось крытое красной черепицей здание фермы и великолепный парк, где липы, ясени, тополя и каштаны

сливались в сплошной темный массив, прорезанный кое — где просветами аллей.

Но главной прелестью старого имения была вода; своим прихотливым журчанием она оживляла его безмолвие, вносила что-то величественное в этот пейзаж. Помимо реки, в Савииьи были еще всевозможные ключи, фонтаны и пруды, в которых во всем своем блеске отражалось заходящее солнце. Это обилие воды необыкновенно украшало старинный дом, поросший мохом, позеленевший и слегка источенный, точно камень на берегу ручейка.

К сожалению, в Савиньи, как и в большинстве чудесных дворцов под Парижем, ставших добычей выскочек — коммерсантов и спекулянтов, обитатели замка не гармонировали с самим замком.

Купив это имение, старик Гардинуа только и делал, что разрушал то прекрасное, что предоставил ему случай: вырубал деревья «для вида», окружал парк уродливыми заборами в защиту от воров и по-настоящему заботился только о великолепном огороде, который приносил много фруктов и овощей; вот это для него была настоящая земля, земля крестьянина.

Что касается больших зал, где разрисованные панно тускнели от осенних туманов, прудов, заросших кувшинками, мостов и гротов, облицованных раковинами, — все это потому только имело для него цену, что вызывало восторг посетителей и составляло то, что так льстило его тщеславию бывшего торговца скотом, — замок!

Состарившись, Гардинуа не мог больше ни охотиться, ни удить рыбу и все свое время проводил в наблюдении за всякими мелочами, связанными с жизнью огромного имения. Зерно для корма кур, цена, по которой продали последний раз отаву, количество снопов соломы, сложенных в великолепном круглом сарае, — все это давало ему на целый день пищу для воркотни. И, глядя издали на прекрасное Савиньи, на этот замок на пригорке с бегущей мимо него зеркальной речкой, на высокие, увитые плющом террасы, на ряд каменных уступов, поддерживающих парк на величавом склоне горы, никто не подумал бы, что так мелочен и умственно ограничен может быть его владелец.

Обреченный своим богатством на праздность, Гардинуа скучал в Париже и потому жил круглый год в Савиньи, куда летом к нему приезжали Фромоны.

Г-жа Фромон была тихая, недалекая женщина. Грубый деспотизм отца рано приучил ее к неизменному слепому повиновению, и даже доброта и снисходительность г-на Фромона, ее мужа, не могли впоследствии

изменить натуру этой приниженной, молчаливой, ко всему безучастной, безответной женщины. Она никогда не вмешивалась в дела и, разбогатев без всяких усилий со своей стороны, не проявляла ни малейшего желания пользоваться своим богатством. Ее роскошная парижская квартира, так же как и пышный замок отца, стесняли ее. Она старалась быть как можно незаметнее и заполняла свою жизнь единственной страстью — страстью к порядку, чудовищному, фантастическому порядку: она сметала, вытирала, выколачивала пыль, без устали наводила блеск на зеркала, на позолоту, на фронтон дверей.

Когда ей больше нечего было чистить, эта странная женщина принималась за свои кольца, цепочку от часов, броши; она мыла камеи, жемчуг и так старательно протирала в обручальном кольце свое имя и имя мужа, что в конце концов стерла все буквы. Эта мания не покидала ее и в Савиньи. Она подбирала сухие ветки в аллеях, соскабливала кончиком зонта мох со скамеек, готова была стирать пыль с листьев и выскабливать стволы старых деревьев. Часто, проезжая по железной дороге, она *с* завистью смотрела на маленькие, тянувшиеся вдоль полотна виллы, такие беленькие и чистенькие, с блестящими медными украшениями, шарами из британского металла и с длинными узкими садиками, напоминавшими ящики комода. Это был ее идеал загородного дома.

Г-н Фромон, приезжавший только на короткое время, всегда занятый, тоже не мог наслаждаться прелестями Савиньи. Одна только Клер чувствовала себя как дома в втом прекрасном парке. Она знала там каждую тропинку. Вынужденная, как и все одинокие дети, довольствоваться своим собственным обществом, она придумывала, чтобы развлечь себя, разные прогулки, наблюдала за распускающимися цветами, у нее была своя любимая аллея, свое любимое дерево, своя любимая скамейка для чтения. Обеденный колокол всегда заставал девочку в ее владениях. Она являлась к столу запыхавшаяся, счастливая, словно омытая свежим воздухом. Тень буков, скользя по ее юному личику, как бы наложила на него печать меланхолической нежности, а пронизанная солнечными лучами зеленая глубь вод словно отражалась в ее больших глазах.

Прекрасное имение положительно спасало ее от вульгарности и низменности окружающей среды. Гардинуа мог часами жаловаться при ней на недобросовестность поставщиков и слуг, подсчитывать, сколько добра украли у него за месяц, за неделю, за день, за минуту; г-жа Фромон могла сколько угодно сетовать на мышей, моль, пыль и сырость, атакующих ее шкафы и яростно истребляющих ее вещи, — ни одно слово из этих бессмысленных разговоров не задерживалось в мозгу Клер. Прогулка по

лужайке, чтение на берегу пруда сразу же возвращали покой этой благородной, жизнерадостной натуре.

Дедушка считал ее существом странным, чуждым их семье. Еще ребенком она уже смущала его взглядом своих больших светлых глаз, своим здравым умом, раздражала тем, что нисколько не походила на его пассивную, покорную дочь.

— Это будет такая же гордячка и оригиналка, как ее отец, — говорил он, когда бывал не в духе.

Зато как нравилась ему маленькая Шеб, приезжавшая иногда погостить в Савнньи! В ней он чувствовал простую, родственную себе натуру, с задатками честолюбия и зависти, которые уже тогда проглядывали в ее притаившейся в углах рта улыбочке. К тому же его богатство вызывало у девочки наивное удивление и восхищение, а это льстило его самолюбию выскочки. Порой, когда он поддразнивал ее, она находила в ответ забавные словечки парижской девчонки, чисто простонародные выражения, звучавшие особенно пикантно из — за их несоответствия с ее бледным тонким личиком, которое, несмотря на некоторую заурядность, носило все же отпечаток какой-то изысканности. И старик всегда помнил о Сидони.".

На этот раз она появилась в Савиньи после долгого отсутствия. Ее пышные волосы, стройная фигурка, живое, веселое личико в сочетании с несколько вычурным изяществом продавщицы из магазина — все это создало ей в замке большой успех. Старый Гардинуа, ожидавший встретить девочку, был очень удивлен, увидев перед собой взрослую девушку; он нашел, что она красивее, а главное — одета гораздо лучше, чем Клер.

И, правду сказать, сидя в коляске, высланной за ней к поезду из замка, мадемуазель Шеб выглядела очень недурно, хотя ей и не хватало того, что составляло красоту и очарование ее подруги, — непринужденности осанки, простоты манер, а главное, уверенности в себе. В ее привлекательности было что-то общее с ее нарядами, сделанными из дешевенькой материи, чуть ли не из тряпок, но сшитыми со вкусом, и которым мода, эта капризная прелестная фея, придала свой отпечаток, красоту и оригинальность. В Париже немало женщин, как бы созданных для такого рода туалетов: их потому — то и легко причесать и принарядить, что у них нет своего типа; к числу таких женщин принадлежала и хорошенькая мадемуазель Шеб.

В какой она пришла восторг, когда коляска покатилась по длинной бархатисто-зеленой аллее, окаймленной столетними вязами! В конце аллеи, широко раскрыв ворота, ее ждало Савиньи. С этого дня для нее началась та волшебная жизнь, о которой она уже давно мечтала. Роскошь

представилась ей здесь во всем своем многообразии: великолепные залы, высокие потолки, богатство оранжерей и конюшен… Все мелочи повседневного быта были пропитаны этой роскошью, как дорогими крепкими духами, одной капли которых достаточно, чтобы надушить всю комнату; она видна была в корзинах цветов, украшающих скатерть, сквозила в холодном тоне слуг, в скучающем, тягучем «Велите запрягать!» г-жи Фромон….

И как хорошо чувствовала себя Сидони в этой изысканной обстановке богачей! Как подходила ей эта жизнь! Ей казалось, что она никогда и не жила иначе.

И вдруг, в разгар ее упоения, пришло письмо от Франца, возвращавшее ее к действительности, к жалкому положению будущей жены чиновника, и насильно переносившее ее в маленькую, бедную квартирку, которую они займут со временем в верхнем этаже какого-нибудь мрачного дома. Ей казалось, что она уже дышит тяжелым, спертым воздухом нищеты.

Расстроить свадьбу?

Конечно, она могла бы это сделать, ведь она была «вязана только словом. Но, отказав Францу, не пожалеет ли она потом?

В этой отравленной тщеславием головке бродили самые невероятные мысли. Порою, когда дедушка Гардинуа, расставшийся ради нее со старомодными охотничьими куртками и шерстяными жилетами, подшучивал над нею или забавлялся тем, что противоречил ей, желая вызвать фривольное возражение с ее стороны, она, не отвечая, пристально и холодно смотрела ему прямо в глава. Ах, если б он был хоть лет на десять помоложе!.. Но мысль стать г-жой Гардинуа занимала ее недолго. Новое лицо, а вместе с ним и новая надежда вошли в ее жизнь.

С тех пор как приехала Сидони, Жорж Фромон, приезжавший в Савиньи только по воскресеньям, стал почти ежедневно являться туда к обеду.

Это был высокий хрупкий юноша с бледным лицом и изящной фигурой. Круглый сирота, он был воспитан в доме своего дяди Фромона, и ему предстояло унаследовать его предприятие и, по всей вероятности, стать мужем Клер. Эта заранее уготованная будущность оставляла Жоржа довольно равнодушным. Коммерция совершенно не интересовала его. А кузина?.. Между ними существовала известная близость, порожденная совместным воспитанием, доверие, основанное на привычке, — и ничего больше, по крайней мере с его стороны.

Зато в обществе Сидони он сразу почувствовал себя иначе: он

смущался, робел, но вместе с тем ему хотелось произвести на нее впечатление. Ее не совсем естественная, несколько вульгарная грация не могла не нравиться его фатоватой натуре, и Сидони скоро заметила, что он увлечен ею.

Когда подруги гуляли по парку, Сидони обычно первая вспоминала о часе прибытия парижского поезда., Девушки вместе подходили к решетке ограды и поджидали приезжающих. Первый взгляд Жоржа всегда был устремлен на мадемуазель Шеб, стоявшую, правда, позади Клер, но в такой позе и с таким видом, что на нее нельзя было не обратить внимание. Эта игра началась довольно давно. Они еще не говорили о любви, но все их слова, улыбки, которыми они обменивались, были полны признаний и недомолвок.

Однажды в облачный душный вечер, когда подруги, выйдя после обеда в парк, прогуливались по буковой аллее, к ним присоединился Жорж. Медленно ступая по хрустевшим под ногами камешкам, они мирно беседовали, как вдруг со стороны замка послышался голос г-жи Фромон: она звала Клер. Жорж и Сидони остались вдвоем. Они продолжали идти по смутно белевшему песку аллеи молча, не приближаясь друг к другу.

Теплый ветерок шевелил листья буков. Легкие волны на пруду тихо бились об устои мостика; облетевшие цветы лип и акаций вихрем кружились в душном воздухе и наполняли его благоуханием… Молодые люди дышали предгрозовой атмосферой, напряженной и волнующей. В глубине их смущенных глаз вспыхивали жаркие, горячие молнии, подобные тем, что сверкали на горизонте…

— Ах, какие прелестные светляки!.. — воскликнула Сидони, как бы желая прервать тяготившее ее молчание, нарушаемое только таинственными шорохами природы.

На краю лужайки мерцали в траве зеленые огоньки. Сидони наклонилась, чтобы поймать светлячка. Жорж опустился на колени рядом с нею; нагнувшись к траве так, что щеки касались одна другой, они с минуту смотрели друг на друга. Какой необыкновенной, какой прелестной показалась она ему при этом зеленом свете, поднимавшемся к ее склоненному лицу и дрожавшем в тонкой сетке ее вьющихся волос!.. Он обвил рукой ее талию, и вдруг, почувствовав, что она не сопротивляется, сжал ее *а* долгом, страстном объятии.

— Что вы там ищете? — раздался за ними в темноте голос Клер.

У Жоржа от волнения сдавило горло; он так дрожал, что не мог ответить ни слова. Сидони, напротив, совершенно спокойно поднялась и сказала, оправляя юбку:

— Светляков… Посмотри, сколько их сегодня! И как они блестят!

Ее глаза тоже блестели каким-то особенным блеском.

— Как будто собирается гроза… — пробормотал Жорж, все еще не придя в себя.

И в самом деле, гроза приближалась. Ветер гнал по аллее облака пыли и листьев. Молодые люди походили еще немного, затем вернулись в гостиную. Девушки принялись за рукоделие, /Корж делал вид, что читает газету; г-жа Фромон, по обыкновению, начищала свои кольца, а г-н Гардинуа с зятем в соседней комнате играли на биллиарде.

Каким бесконечно долгим показался Сидони этот вечер! Ей так хотелось поскорее уединиться, побыть одной со своими МЫСЛЯМИ!

И, когда, оставшись одна в тиши своей маленькой комнатки, она погасила наконец свет, который, освещая слишком ярко действительность, гонит прочь мечты, как радовалась она, какие строила планы! Ее любит Жорж! Жорж Фромон, наследник фабрики… Они поженятся, она будет богата…

В ее мелкой, расчетливой душе первый поцелуй любви пробудил лишь тщеславие и мысли о роскоши.

Чтобы увериться в искренности своего возлюбленного, она старалась восстановить в памяти малейшие подробности сцены под буками, вспоминала выражение его глаз, пыл его объятий, клятвы, произнесенные устами почти вплотную к устам, и призрачное мерцание светляков, навсегда запечатлевшееся в ее сердце в ту торжественную минуту.

Ах, эти светляки!

Всю ночь, точно звезды, мерцали они перед ее закрытыми глазами. Весь парк, до самых темных аллей, был полон ими. — Их бесчисленные огоньки горели вдоль лужаек, на деревьях, в кустах… На мелком песке дорожек, на ряби прудов сверкали зеленые искры, и все эти микроскопические блестки создавали как бы праздничную иллюминацию, которую Савиньи устроило в ее честь, чтобы ознаменовать обручение Жоржа и Сидони…

Когда она встала на следующее утро, план у нее был готов. Жорж любит ее, в этом нет сомнения. Думает ли он жениться на ней?.. Конечно, нет! Тонкая штучка, она отлично понимала, что он и не помышляет об этом. Но это не пугало ее. Она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы овладеть его детской душой, слабой и, вместе с тем страстной. Надо было только оказывать ему сопротивление.

В течение нескольких дней она была невнимательна к Жоржу, холодна, умышленно ничего не замечала и не помнила. Ему хотелось поговорить с

ней, вновь пережить счастливые минуты, но она избегала его, не оставалась с ним наедине. Тогда он стал писать ей.

Он сам относил свои письма в углубление скалы, находившейся в конце парка; рядом, под соломенным навесом, прятался прозрачный источник, носивший название «Призрак».

Сидони находила, что это очаровательно. Вечером надо было лгать, придумывать предлог, чтобы идти одной к «Призраку». Тени деревьев на дорожках аллей, пугающий мрак ночи, быстрая ходьба и волнение заставляли сладостно биться ее сердце. Она брала письмо, пропитанное росой и ледяным холодом источника; оно так ярко белело при свете луны, что она спешила спрятать его, боясь, как бы кто-нибудь не увидел.

А потом, когда она оставалась одна, с каким трепетом распечатывала она его и разбирала эти волшебные письмена, эти любовные фразы!.. Ей казалось, что слова сверкали, окруженные голубым и желтым сиянием, таким ослепительным, будто она читала письмо при ярком солнце.

«Я вас люблю… Любите меня…» — повторял Жорж на все лады.

Сперва она не отвечала, но, когда почувствовала, что он попался, что он в ее власти и доведен до отчаяния ее холодностью, она прямо заявила:

— Я буду любить только мужа.

О, эта маленькая Шеб была уже настоящей женщиной!.. -

V. ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ ШЕБ

Между тем наступил сентябрь.

Охотничий сезон привлек в замок многочисленную компанию, шумную, вульгарную. Начались бесконечные трапезы; гости — богатые буржуа — подолгу засиживались за столом и ели по-крестьянски медленно, с промежутками, с отдыхом.

Навстречу охотникам выезжали в экипаже. В эти осенние сумерки на дорогах было уже холодно. От сжатых полей поднимался туман; вспугнутая дичь с тревожными криками летала низко над бороздами, и казалось, что ночь выползала из всех лесов, темные громады которых росли по мере приближения к ним.

На обратном пути зажигали фонари у коляски и, укутав ноги полностью, быстро возвращались домой, подставляя лицо свежему ветру. Ярко освещенный вал наполнялся шумом, смехом.

Клер Фромон было не по себе в этом обществе грубых людей, и она больше молчала. Зато Сидони блистала во всем своем великолепии. Езда оживляла ее бледное лицо, ее глаза парижанки… Она умела смеяться, понимала, быть может, немного больше, чем следует, и в глазах всех этих мужчин являлась здесь единственной женщиной, заслуживающей внимания. Ее успех окончательно опьянил Жоржа, но чем больше он увлекался ею, тем сдержаннее становилась она. Тогда он решил, что она будет его женой. Он поклялся себе в этом с преувеличенной решимостью слабохарактерных натур, как бы заранее вступающих в борьбу с препятствиями, перед которыми, как они сами знают, им придется в конце концов отступить…

Для маленькой Шеб это была самая счастливая пора жизни. Не говоря уже о всяких честолюбивых планах, ее кокетливая, лживая натура находила особую прелесть в самой любовной интриге, таинственно разыгрывавшейся в обстановке пиров и развлечений.

Вокруг них никто ничего не подозревал. Клер переживала тот здоровый, очаровательный период молодости, когда еще не вполне развившийся ум относится к явлениям и людям, с которыми он приходит в соприкосновение, со слепым доверием, не допуская возможности лжи и предательства. Г-н Фромон был всецело поглощен делами. Его жена по-прежнему неистово начищала свои драгоценности. И только старый

Гардинуа с его маленькими, острыми, как буравчики, глазками мог быть им опасен, но Сидони забавляла его, и если б да» же он что-нибудь и заметил, то не такой он был человек, чтобы портить ей будущность.

Сидони уже торжествовала, как вдруг нежданная, непредвиденная катастрофа разбила все ее надежды.

В одно воскресное утро охотники, вернувшись с облавы, принесли смертельно раненного Фромона. Пуля, предназначавшаяся для дикой козы, попала ему в голову, у самого виска. Весь замок пришел в смятение.

Охотники, в том числе и нечаянный убийца, поспешили уехать в Париж. Клер, обезумевшая от горя, не выходила из комнаты, где умирал ее отец; Рислер, извещенный о катастрофе, немедленно приехал за Сидони.

Накануне отъезда у нее с Жоржем было последнее свидание у «Призрака», прощальное, короткое и тягостное свидание, которому близость смерти придала особую торжественность. Они поклялись вечно любить друг друга, условились относительно адреса для писем. Затем расстались.

Печальное путешествие!

Сидони возвращалась к своей обыденной жизни в сопровождении убитого горем Рислера, для которого смерть дорогого патрона была невозместимой утратой. Дома она должна была с мельчайшими подробностями рассказывать о своем пребывании в замке, о его обитателях, гостях, празднествах, обедах и о случившемся несчастье. Для нее это было настоящей пыткой: всецело поглощенная своими мыслями, она жаждал тишины и уединения!.. Но это было еще не самое ужасное.

С первого же дня ее приезда Франц занял у Шебов прежнее место, и его взгляды, постоянно искавшие ее, его слова, обращенные к ней одной, казались ей теперь нестерпимо требовательными.

Несмотря на всю его робость и неуверенность, бедный малый на правах жениха проявлял нетерпение, и Сидони вынуждена была прерывать свои мечты, чтобы отвечать назойливому кредитору и по возможности отдалять срок платежа.

Но пришел день, когда неопределенность стала уже невозможной.

Сидони обещала Францу, что выйдет за него замуж, когда он займет приличное положение, и вот ему предлагают место инженера на чугунолитейном заводе в Гран-Комбе, на юге. Для скромной жизни его заработка будет вполне достаточно.

Оттягивать дольше нельзя.

Надо или покориться, или найти предлог для разрыва. Но какой?

В надвинувшейся на нее опасности она вспомнила о Дезире. Хотя

бедная калека никогда не поверяла ей своей тайны, Сидони знала о ее любви к Францу. Давно уже подметила она это своими глазами кокетки — ясными, изменчивыми зеркалами, которые, отражая чужие мысли, не выдают своих. Быть может, вначале мысль, что другая женщина любит ее жениха, делала любовь Франца менее тягостной для нее, и подобно тому как памятники на кладбище смягчают грустное впечатление от могил, так и хорошенькое бледное личико Дезире, являвшееся на пороге столь непривлекательного в ее глазах будущего, делало для нее это будущее менее мрачным.

А теперь любовь хромоножки служила ей достойным и удобным предлогом, чтобы отделаться от своего обещания.

— Нет, мама, — заявила она однажды г-же Шеб, — никогда я не соглашусь сделать несчастной такую подругу, как Дезире. Меня замучат угрызения совести…Бедная Дезире! Неужели ты не заметила, как она осунулась с тех пор, как я приехала, каким умоляющим взглядом смотрит она на меня? Нет, я не причиню ей такого горя, не отниму у нее Франца.

Восхищаясь великодушием дочери, г-жа Шеб считала все же эту жертву чрезмерной.

— Подумай хорошенько, дитя мое… — возражала она. — Мы не богаты. Такого мужа, как Франц, не каждый день встретишь.

— Ну что ж! Я не выйду замуж, только и всего… — твердо заявила Сидони и, сообразив, что ее предлог удачен, крепко ухватилась за него. Ничто не могло заставить ее изменить принятое решение: ни слезы Франца, приведенного в отчаяние этим отказом, причины которого ему не хотели даже объяснить, ни мольбы Рислера, которому г-жа Шеб под большим секретом сообщила мотивы своей дочери.

— Не вини ее! Это ангел!.. — говорил он брату, стараясь успокоить его и втайне восхищаясь жертвой малютки.

— О да, это ангел! — подтверждала г-жа Шеб и при этом так вздыхала, что бедный обманутый влюбленный считал себя не вправе жаловаться. Полный отчаяния, он решил покинуть Париж и бежать, но уже не в Гран — Комбе, а куда-нибудь подальше. Он начал хлопотать и получил в Исмаилии[9] место смотрителя по работам на Суэцком перешейке. Он уехал, так ничего и не узнав, или не желая знать о любви Дезире; а между тем, когда он пришел проститься с нею, бедная калека подняла на него свои красивые робкие глаза, где было ясно написано: «Она вас не любит, но я-то… я-то ведь люблю вас!»

Но Франц Рислер не умел читать в этих глазах.

К счастью, люди, на чью долю выпало много страданий, бесконечно

терпеливы. После отъезда своего друга маленькая хромоножка со свойственной ей очаровательной способностью предаваться иллюзиям — способно* стью, унаследованной от отца и облагороженной ее женской натурой, — снова бодро принялась за работу, сказав себе: «Я буду ждать его».

И с тех пор она широко расправляла крылышки своим птичкам, как будто все они, одна за другой, улетали в Исмаилию, в Египет… А ведь это было так далеко!

Из Марселя, прежде чем сесть на корабль, Франц написал Сидони прощальное письмо, трогательное и вместе с тем комическое письмо, где, перемежая чисто технические подробности с горестными прощальными словами, несчастный инженер сообщал, что уезжает с разбитым сердцем на «Саибе», «пароходе-микст в 1 500 лошадиных сил», как будто надеялся, что столь внушительное количество лошадиных сил тронет неблагодарную и заставит ее вечно раскаиваться. Но голова у Сидони была занята совсем другим.

Ее начинало беспокоить молчание Жоржа. После отъезда из Савиньи она получила от него только одно письмо. Все ее письма оставались без ответа. Правда, она знала от Рислера, что Жорж очень занят и что перешедшее к нему после смерти дяди управление фабрикой возложило на негр огромную ответственность. Но все — таки… не написать ни слова!..

Она добилась от родителей позволения не возвращаться больше к мадемуазель Ле Мир, и из окна на площадке» где снова предавалась своим молчаливым наблюдениям, подстерегала своего возлюбленного, следила за тем, как он ходит по двору и по мастерским, а вечером, в час отхода поезда в Савиньи, смотрела, как он садится в экипаж, чтобы ехать к тетке и кузине, проводившим первые месяцы траура в деревне у деда.

Эти наблюдения волновали, тревожили ее, а близость фабрики заставляла еще сильнее чувствовать отдаление Жоржа. Подумать только: стоило ей немного громче позвать, и он обернулся бы! Ведь только одна стена разделяла их! А между тем они были в то время так далеки друг от друга!..

-Помните, малютка Шеб, тот печальный зимний вечер, когда добряк Рислер вошел к вашим родителям с каким-то необычным выражением лица и сказал: «Важные новости!»?

Да, в самом деле, новости важные.

Жорж Фромон только что сообщил ему, что, согласно последней воле дяди, он женится на своей кузине Клер, и так как ему будет трудно одному управлять фабрикой; он решил сделать его, Рислера, своим компаньоном и

назвать фирму «Фромон младший и Рислер старший».

Как удалось вам, малютка Шеб, сохранить хладнокровие при известии, что фабрика ускользнула от вас, что другая женщина заняла ваше место? Какой ужасный вечер!.. Г-жа Шеб что-то чинила у стола, г-н Шеб сушил перед огнем одежду, промокшую от долгого хождения под дождем. Жалкая обстановка, печальная, унылая… Тускло горела лампа. От скудного, наскоро приготовленного обеда в комнате стоял запах стряпни бедняков. А тут еще этот Рислер, опьяневший от радости, что-то оживленно говорил, строил планы…

Все это больно сжимало вам сердце, измена казалась еще более ужасной при сравнении богатства, ускользавшего из ваших протянутых рук, и отвратительной бедности, в которой вы обречены были жить…

От всех этих переживаний Сидони серьезно и надолго заболела.

Когда она, лежа в постели, слышала, как дрожат за занавесками оконные стекла, несчастной все казалось, что по улице едет свадебный кортеж Жоржа, и у нее делались нервные припадки, безмолвные и необъяснимые — какая-то лихорадка гнева, которая пожирала ее.

Наконец время, молодость, заботы матери, а главное, заботы Дезире, знавшей теперь, какую жертву принесла ей подруга, помогли Сидони справиться с болезнью. Но долго еще не покидали ее слабость, смертельная тоска и постоянное желание плакать.

То она говорила, что отправится путешествовать, покинет Париж, то вдруг порывалась уйти в монастырь. Все вокруг огорчались, искали причину этого странного состояния, внушавшего еще больше опасений, чем сама болезнь, но в конце концов она открыла матери свою грустную тайну.

Она любит Рислера-старшего… Она никогда не смела в этом признаться, но любила она всегда именно его, а вовсе не Франца.

| Эта новость поразила всех, особенно самого Рислера. Но малютка Шеб была так хороша, она смотрела на него такими нежными глазами, что бедный малый сразу же влюбился в нее, как дурак. А может быть даже, эта любовь, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, уже давно жила в его сердце…

Вот как случилось, что в вечер своей свадьбы молодая г-жа Рислер, вся белая в своем подвенечном наряде, с торжествующей улыбкой смотрела на окно площадки, с которым так тесно были связаны десять лет ее жизни. Эта гордая улыбка, в которой проскальзывала также глубокая жалость и легкое презрение выскочки к своей прежней нищенской жизни, относилась, по-видимому, к бедной, хилой девочке, которую она как будто видела перед

собой там, наверху, во тьме прошлого и этой ночи. И казалось, она говорила ей, указывая на фабрику:

— Ну, что скажешь, малютка Шеб?.. Как видишь, я все-таки здесь…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖЕНЫ

Полдень. Все Маре завтракает.

К тяжелому гулу колоколов Сен-Поля, Сен-Жерве и Сен-Дени дю Сен-Сакреман, призывающих к мслитве, примешивается жиденький звон фабричных колоколов, идущий с окрестных дворов. У каждого из этих колоколов свой особый звон. Есть звон печальный и веселый, бойкий и вялый. Есть колокола богатые, счастливые, — они созывают сотни рабочих; есть колокола бедные и робкие, — они как будто прячутся за другие, стараются быть незаметными, словно боятся, чтобы их не услышало банкротство. А есть и лживые, наглые… они звонят для вида, для отвода глаз, — пусть думают, что они принадлежат солидной фирме, где занято много народу.

Благодарение богу, колокол фабрики Фромонов не из таких. Это добрый, старый, слегка надтреснутый колокол, уже лет сорок известный всему Маре и безмолвствующий только по воскресеньям да в дни беспорядков.

По его зову целые толпы рабочих выходят в полдень из ворот фабрики и направляются в близлежащие кабачки. Подмастерья усаживаются на обочине тротуаров вместе с подручными каменщиков. Чтобы выгадать полчасика для игры, они завтракают в течение пяти минут и едят все то, что уличная торговля Парижа предлагает прохожим и беднякам: каштаны, орехи, яблоки, а рядом с ними каменщики ломают краюхи хлеба, белого не только от муки, но и от извести. Женщины торопятся, бегут. У каждой из них дома или в яслях ребенок, за которым нужно присмотреть, есть старые родители, хозяйство. Истомленные работой в душных мастерских, с распухшими веками, с волосами, потускневшими от тонкой пыли бархатных обоев, пыли, которая вызывает еще и кашель, — они спешат с корзинкой на руке по запруженным улицам, лавируя между омнибусами, с трудом продвигающимися среди огромного скопления народа.

Сидя у ворот на каменной тумбе, служившей когда — то подножкой для всадников, Рислер с улыбкой смотрит на идущих с фабрики рабочих. Его всегда радует искреннее уважение, с каким относятся к нему все эти славные люди, которых он знал еще в ту пору, когда сам был так же беден и незначителен, как они. «Здравствуйте, господин Рислер!» — слышит он со всех сторон приветливые голоса, и у него становится тепло на душе. Дети подходят к нему без страха, длиннобородые рисовальщики — полурабочие,

полухудожники, — проходя мимо, пожимают ему руку, говорят ему «ты». Быть может, во всем этом слишком много фамильярности — славный малый не понял еще всей важности своего нового положения, — я знаю, что кто-то находит такую непринужденность унизительной. Но втот «кто — то» не видит его сейчас, и хозяин пользуется случаем, чтобы крепко обнять старого бухгалтера Сигизмунда, который выходит самым последним — прямой, краснолицый, сдавленный высоким воротничком и, как всегда, независимо от погоды, с непокрытой головой из боязни апоплексического удара.

Сигизмунд и Рислер — земляки и питают друг к другу глубокую симпатию, зародившуюся еще при их поступлении на фабрику, в те отдаленные времена, когда они вместе завтракали в маленькой молочной на углу. Теперь Сигизмунд Планюс ходит туда один и для себя одного выбирает дежурное блюдо на грифельной доске, висящей на стене….

' Но берегись!.. В ворота въезжает коляска Фромона-младшего. Он с самого утра в разъездах, и сейчас оба компаньона, дружески беседуя о делах, направляются в глубь сада, к своему нарядному особняку.

— Я был у Прошассонов, — говорит Фромон-младший. — Они показали мне новые образцы, и, надо признаться, очень красивые!.. Придется подтянуться. Это серьезные конкуренты.

Но Рислер не беспокоится. Он уверен в своем таланте, в своей опытности, а кроме того… но это по секрету… он работает над замечательным изобретением — усовершенствованной печатной машиной… Это нечто такое… Впрочем, там будет видно…

Разговаривая, они входят в разделанный под сквер сад; шарообразные акации здесь почти так же стары, как и сам особняк, увитый великолепным плющом, скрывающим его высокие почерневшие стены.

Рядом с Фромоном-младшим Рислер-старший кажется приказчиком, который отчитывается перед хозяином. Разговаривая с компаньоном, он все время останавливается; движения его неловки, мысли медлительны, и он с трудом подыскивает слова. Ах, если б он мог видеть там, наверху, в окне второго этажа, розовое личико, внимательно наблюдающее за ним…

Г-жа Рислер ждет мужа к завтраку и сердится, что он так долго не идет. Она делает ему знак рукой: «Ну скорей же, скорей!» Но Рислер ничего не видит. Он поглощен крошкой Фромон — дочерью Жоржа и Клер. Она гуляет на солнышке и улыбается из своих кружев на руках кормилицы. Какой прелестный ребенок!

— Вылитый ваш портрет, госпожа Шорш.

— Вы находите, дорогой Рислер? А все говорят, что она похожа на

отца.

— Да, немного… Но все-таки…

И все они — отец, мать, Рислер и кормилица — с самым серьезным видом стараются определить, на кого похоже это маленькое подобие человека, уставившееся на них ничего не выражающими глазками, ослепленными жизнью и светом. Высунувшись из полуоткрытого окна, Сидони смотрит, что они там делают и почему не идет ее муж.

Как раз в эту минуту Рислер берет на руки крошку-прелестный сверток белой материи и светлых лент и, словно добрый дедушка, старается ужимками и гримасами рассмешить ее, заставить лепетать. Каким он кажется старым, бедняга! Наклоняясь к ребенку, он сгибает свое большое, грузное тело, старается смягчить свой грубый голос, который звучит от этого особенно глухо… Все это выходит у него смешно и неуклюже…

Жена его наверху топает ногой и цедит сквозь зубы:

— Болван!

Наконец ей надоедает ждать, и она посылает сказать ему, что завтрак подан, но игра в самом разгаре, и Рислер Не знает, как ему уйти, как прервать этот взрыв радости и птичьего щебетанья. В конце концов ему все же удается передать ребенка кормилице, и он взбегает по лестнице, заливаясь смехом. Входя в столовую, он еще продолжает смеяться, но взгляд жены сразу останавливает его.

Сидони сидит за столом перед маленькой жаровней, на которой разогревается кушанье. Ее поза жертвы дает понять, что она намерена во что бы то ни стало сорвать на нем свое дурное расположение духа.

— Явились!.. Наконец-то!..

Рислер, слегка сконфуженный, садится.

— Видишь ли, малютка… этот ребенок…

— Я уже просила вас не говорить мне «ты». Это неуместно.

— Но когда мы одни?..

— Нет, по-видимому, вы никогда не применитесь к нашему новому положению. И что получается? Меня здесь никто не уважает. Даже Ахилл едва кланяется мне, когда я прохожу мимо его будки… Конечно, я не госпожа Фромон и у меня нет собственного выезда…

— Послушай, малютка, ты… то есть, вы хорошо знаете, что ты… что вы можете пользоваться каретой госпожи Шорш. Она всегда предоставляет ее в наше распоряжение.

— Сколько раз нужно повторять вам, что я ничем не желаю быть обязанной этой женщине!

— Сидони!..

— Ну, да я знаю, это установлено… Госпожа Фромон — святыня. Ее нельзя тронуть. А я… я должна мириться с моим жалким положением в доме, позволять унижать себя, топтать ногами…

— Да выслушай же меня, малютка!..

Бедный Рислер пытается возразить, сказать хоть слово в защиту своей дорогой г-жи Шорш… Но он не понимает, что это худший способ примирения, и Сидони вдруг разражается:

— А я вам говорю, что, несмотря на свой кроткий вид, эта женщина — злая гордячка!.. Она меня ненавидит, я знаю… Пока я была бедной маленькой Сидони, которой бросали подачку — сломанные игрушки и старые платья, — все было хорошо, но теперь, когда я такая же госпожа, как и она, это раздражает, унижает ее. Мадам дает мне свысока советы, критикует мои поступки… Я, видите ли, напрасно взяла себе горничную… Конечно! Разве я не привыкла обходиться без прислуги?.. Она постоянно ищет случая, чтобы задеть меня. Когда я бываю у нее по средам, надо слышать, каким тоном спрашивает она меня при всех: «Как поживает милая госпожа Шеб?» Ну, что ж! Я — Шеб, а она — Фромон! Думаю, что одно стоит другого. Мой дедушка был аптекарь. А ее дед? Кто он такой? Крестьянин, разбогатевший на ростовщичестве… Я еще скажу ей это как-нибудь, если она будет слишком зазнаваться; скажу также, что их дочь — хоть они и не замечают этого — похожа на старика Гардинуа, а уж, видит бог, он не очень-то красив…

— О!.. — только и произносит Рислер, не находя слов для возражений.

— Ну и восхищайтесь, пожалуйста, их ребенком! Девчонка вечно больна. Всю ночь пищит, словно котенок. Мешает мне спать… А днем изволь слушать, как мамаша играет на фортепьяно и выводит свои рулады: тра-ла-ла-ла… Была бы еще музыка веселая!

Рислер избрал благую часть: он замолчал. А немного погодя, видя, что Сидони начинает затихать, он окончательно успокаивает ее комплиментами:

— Как мы милы сегодня! Мы, верно, едем сейчас *с* визитами?

Чтобы избежать обращения на «ты», он пользуется неопределенной формой.

— Нет, я не еду с визитами, — отвечает с некоторой гордостью Сидони. — Напротив, я сама принимаю. Сегодня мой приемный день!..

Видя удивленную, смущенную физиономию мужа, она продолжает:

— Ну да, сегодня мой приемный день… Ведь есть же свой день у госпожи Фромон… Почему же его не может быть у меня?

— Конечно, конечно, — поддакивает Рислер, с беспокойством поглядывая вокруг. — То-то я вижу столько цветов везде — на площадке, в гостиной….

— Да, утром горничная нарвала их в саду… Я не должна была делать этого? О, вы ничего не говорите, но я уверена, что вы осуждаете меня… А я думала, что цветы в саду принадлежат нам так же, как и им.

— Конечно… но все-таки ты… вы… может быть, лучше было бы…

— Спросить разрешения?.. Ну, да… унижаться из — за нескольких несчастных хризантем и двух-трех веток зелени! Впрочем, я и не скрываю, что нарвала эти цветы, и когда она придет сюда…

— Разве она должна прийти? Как это мило с ее стороны!

Сидони так и подпрыгнула от возмущения.

— Как! Мило?.. Недоставало только, чтобы она не пришла. Могу же я каждую среду скучать у нее в обществе всяких ломак и кривляк?!

Она умолчала о том, что эти среды г-жи Фромон оказывали ей большую услугу, что они были для нее чем-то вроде еженедельного журнала мод, одним из тех практических руководств, где даются советы, как нужно войти, выйти, поклониться, поставить цветы в жардиньерку и сигары на курительный столик; не говоря уже о том, что она находила там целую серию моделей, узнавала имена и адреса лучших портних. Умолчала Сидони и в том, что всех этих подруг Клер, о которых она отзывалась сейчас так презрительно, она умоляла прийти к ней в ее приемный день и что они сами назначили этот день.

Придут ли они? Неужели г-жа Фромон-младшая непосетит первой пятницы г-жи Рислер-старшей, нанесет ей такое оскорбление? Она была точно в лихорадке от беспокойства и ежеминутно торопила мужа:

— Да пошевеливайтесь же вы! Боже мой, как вы долго завтракаете!

Дело в том, что одной из слабостей Рислера была привычка есть не спеша и покуривать за столом трубку, прихлебывая маленькими глотками кофе. Но сегодня ему приходится отказаться от любимых привычек, оставить трубку в футляре, чтобы не надымить, и, едва проглотив последний кусок, идти скорее переодеваться, так как жена настаивала, чтобы он пришел потом приветствовать ее дам.

Зато какая сенсация на фабрике, когда Рислер-старший появляется в будний день в черном сюртуке и парадном галстуке!

— Ты что это, на свадьбу собрался? — кричит ему из-за своей решетки кассир Сигизмунд.

А Рислер отвечает не без гордости:

— Сегодня приемный день моей жены.

Скоро все в доме узнают о приемном дне Сидони, а дядя Ахилл, присматривающий за садом, не очень-то доволен: он обнаружил, что обломаны ветви у зимних лавров, при входе.

Рислера стесняет новый сюртук, он снимает его и, засучив белоснежные манжеты, усаживается перед доской и рисует при ярком свете, вливающемся в большие окна. Но мысль, что жена ждет гостей, не выходит у него из головы, беспокоит его, и время от времени он со вздохом облекается в сюртук и идет к себе.

— Пришел кто-нибудь? — спрашивает он робко.

— Нет, сударь, никого.

Расставив вокруг себя кресла и стулья, Сидони с видом особы, принимающей гостей, восседает в великолепной красной гостиной. Да, у них теперь есть гостиная с обитой красным штофом мебелью, с консолью между окнами и красивым столиком на ковре со светлыми цветами. Там и сям книги, журналы, корзиночка для рукоделия, сплетенная из шелковых желудей, букетик фиалок в хрустальной вазе, зеленые растения в жардиньерках. Все это расставлено точно так же, как этажом ниже, у Фромонов, но только вкус — эта невидимая грань, отделяющая утонченное от вульгарного, — еще не выработан здесь. Это как бы посредственная копия с прекрасной жанровой картины. На самой хозяйке слишком новое платье. Скорее похоже, что она в гостях, а не у себя дома. Впрочем, в глазах Рислера все великолепно, безукоризненно, и, входя в гостиную, он уже собирается высказать это, но, заметив разгневанный взгляд жены, бедный муж робко останавливается.

— Смотрите, уже четыре часа!.. — говорит она ему, сердито указывая на часы. — Никто не придет… Но больше всего меня возмущает Клер: неужели она не могла подняться ко мне?.. Я уверена, что она дома… Я слышу ее.

И действительно, с двенадцати часов дня Сидони прислушивается к малейшему шуму в нижнем этаже, к крикам ребенка, к стуку затворяемой двери. Рислеру хочется уйти, избежать повторения утреннего разговора, но его жена решает иначе. Пусть хотя бы он побудет с нею, раз все покинули ее. И он остается и сидит, неловкий, точно пригвожденный к месту, как человек, который не смеет пошевельнуться во время грозы из страха привлечь молнию. Сидони нервничает, ходит взад и вперед по гостиной, то переставит стул, то снова водворит его на место, мимоходом посмотрит на себя в зеркало, позвонит горничной, чтобы та справилась у Ахилла, не приходил ли кто к ней. Он такой злюка, этот Ахилл. Может быть, когда спрашивают ее, он отвечает, что ее нет дома.

Но, нет… Швейцар никого не видел.

В гостиной унылое молчание. Сидони стоит у левого окна, Рислер — у правого. Обоим виден маленький садик, который уже начинают окутывать сумерки, виден черный дым, выбрасываемый высокой трубой в низко нависшее небо. Первым освещается в нижнем этаже окно Сигиэмунда. Кассир сам с необычайной тщательностью заправляет лампу, и его длинная тень движется перед огнем, сгибается у решетки. Все эти привычные подробности на минуту отвлекают гнев Сидони.

Но вот во двор въезжает небольшая карета и останавливается у подъезда. Наконец-то! Восхитительный вихрь шелка, цветов, стекляруса, кружев и мехов быстро проносится по крыльцу, и Сидони узнает одну из самых элегантных посетительниц салона Фромонов, жену богатого торговца бронзой. Какое счастье дождаться такого визита! Супруги поспешно занимают места: муж становится у камина, жена, расположившись в кресле, небрежно перелистывает журнал. Напрасный труд! Прекрасная гостья приехала не к Сидони — она зашла этажом ниже…

Ах, если б г-жа Фромон могла слышать, что говорит сейчас ее соседка о ней и о ее приятельницах!

В эту минуту дверь отворяется, и служанка докладывает:

— Мадемуазель Планюс.

Входит сестра кассира, скромная, робкая старая дева.

Она сочла своим долгом нанести визит жене патрона своего брата и не может прийти в себя от удивления, что ей оказывают такой радушный прием. Ей поднимаются навстречу, за ней ухаживают… «Как это мило с вашей стороны… Присядьте, пожалуйста, поближе к огню!..» Какая предупредительность, какой интерес к каждому ее слову! Рислер так сердечно улыбается, словно благодарит за что-то. Сама Сидони так и рассыпается в любезностях, довольная, что может показаться во всем своем блеске особе, когда-то равной ей по положению, а главное, что та, другая, внизу, слышит, что у нее гости. И она старается произвести как можно больше шума: переставляет кресла, отодвигает стол. А когда старая дева, ослепленная, очарованная и смущенная, собирается уходить, ее провожают до лестницы, шурша оборками, и громко кричат, перегнувшись через перила, что по пятницам они всегда дома… Вы слышите? По пятницам!..

Совсем стемнело. В гостиной зажжены две большие лампы. Слышно, как в соседней комнате служанка накрывает на стол. Все кончено. Г-жа Фромон-младшая не придет.

Сидони позеленела от злости.

— Какова ломака!.. Не может подняться на восемнадцать ступенек… Мадам, конечно, считает, что мы слишком мелкие людишки для нее… Уж я отомщу ей за это!..

И по мере того как она изливает свой гнев в несправедливых нападках, ее голос становится грубым, в нем появляются вульгарные интонации, выговор, выдающий в ней бывшую ученицу из мастерской Ле Мир.

Рислер имел неосторожность вставить замечание:

— Как знать? Может быть, болен ребенок.

Она поворачивается к нему с таким разъяренным видом, словно готова укусить его.

— Оставьте вы меня наконец в покое с этим ребенком!.. Вы больше всех виноваты в том, что так получилось… Вы не умеете заставить людей уважать меня.

Дверь в ее комнату захлопывается так, что дрожат стеклянные колпаки на лампах и безделушки на этажерках. А Рислер, оставшись один, неподвижно стоит посреди гостиной и, разглядывая с удрученным видом свои белоснежные манжеты и носки широких лакированных ботинок, бормочет:

— Приемный день моей жены…

II. ЖЕМЧУЖИНА НАСТОЯЩАЯ И ЖЕМЧУЖИНА ПОДДЕЛЬНАЯ

«Что с ней такое? Что я ей сделала?» — часто спрашивала себя Клер Фромон, думая о Сидони.

Она понятия не имела о том, что произошло когда-то в Савиньи между ее подругой и Жоржем. Прямая, бесхитростная натура, она даже не подозревала, какое завистливое и низкое честолюбие произрастало рядом с нею в течение пятнадцати лет. А между тем загадочный взгляд, который порою бросала на нее Сидони, и холодная улыбка, появлявшаяся на ее хорошеньком личике, безотчетно волновали ее. Подчеркнутая вежливость, неуместная между подругами детства, сменялась вдруг у Сидони вспышками плохо скрытого гнева, сухим, резким тоном, приводившим Клер в недоумение, как неразрешимая загадка. Порой к ее беспокойству примешивалось странное, смутное предчувствие большого несчастья, — ведь все женщины в какой-то мере ясновидящие и даже у самых неискушенных при всем их неведении зла бывают иногда проблески удивительной прозорливости.

Случалось, что после какого-нибудь продолжительного разговора или одной на тех неожиданных встреч, когда застигнутые врасплох лица выдают затаенные мысли, г-жа Фромон невольно задумывалась над странным поведением Сидони, но повседневная жизнь с ее обязанностями и заботами не давала ей времени останавливаться на таких мелочах.

Для каждой женщины наступает период, когда жизнь делает вдруг такой крутой поворот, что сразу меняется весь ее кругозор, все прежние взгляды.

Будь Клер молодой девушкой, ее сильно огорчило бы сознание, что связывающие их узы дружбы постепенно рвутся, словно от прикосновения чьей-то злой руки. Но за это время она потеряла отца — самую большую, единственную привязанность своей юности, — потом вышла замуж. Появился ребенок с его милыми непрерывными требованиями. Кроме того, с нею жила мать, почти впавшая в детство, отупевшая после трагической смерти мужа. При такой, полной забот, жизни Клер не могла уделять особого внимания капризам Сидони; она даже почти не удивилась ее браку с Рислером. Конечно, он слишком стар для нее, но раз они любят друг друга…

Ну, а досадовать на то, что маленькая Шеб заняла такое положение,

стала ей почти ровней, — такие низкие чувства были несвойственны благородной натуре Клер. Напротив, она от всего сердца хотела бы видеть счастливой и уважаемой эту молодую женщину, которая жила бок о бок с нею, жила, можно сказать, ее жизнью и была подругой ее детства. Она искренне пыталась научить ее чему-нибудь, ввести в свое общество, поступала с ней так, как поступают с одаренной провинциалкой, которой недостает очень немногого, чтобы стать очаровательной.

Но молодые хорошенькие женщины неохотно принимают друг от друга советы. Как-то раз, в день званого обеда, г-жа Фромон увела Сидони в свою комнату и, улыбаясь, мягко, чтобы не обидеть ее, сказала:

— Слишком много драгоценностей, дорогая. Затем, видишь ли, при закрытых платьях не носят цветов в волосах…

Сидони покраснела, поблагодарила подругу, но в глубине души затаила против нее еще одну обиду.

В кругу Клер ее приняли довольно холодно.

У Сен-Жерменского предместья свои претензии, у Маре — свои!

Жены и дочери промышленников и богатых фабрикантов знали историю маленькой Шеб, но они угадали бы ее по одной только манере Сидони держать себя с ними.

Как ни старалась она подладиться под их тон, в ней все-таки проглядывала бывшая мастерица. Ее преувеличенная, иногда слишком заискивающая любезность шокировала, как фальшивый тон лавочников, а ее надменность напоминала надменность старших продавщиц из модных магазинов, этих особ, что, щеголяя в черных шелковых платьях, которые они вечером, уходя, оставляют в гардеробной, и гордясь своими пышными прическами, величественно ввирают на мелких людишек, позволяющих себе торговаться.

Сидони чувствовала, что за ней наблюдают, что ее критикуют, ей всегда приходилось быть начеку. Имена, которые называли в ее присутствии, развлечения, празднества, книги, о которых при ней говорили, — все это было ей незнакомо. Клер по мере сил посвящала ее во все, старалась чуть что протянуть ей дружескую руку. Но многие из этих дам находили Сидони красивой, а этого было достаточно, чтобы ее вторжение в их общество вызвало всеобщее недовольство. Некоторые из них, кичась положением и богатством своих мужей, из кожи лезли, чтобы унизить эту маленькую выскочку оскорбительным молчанием или снисходительной вежливостью.

Сидони объединяла их всех в одном слове — враги. Подруги Клер — это значило: ее враги. Но настоящую неприязнь питала она только к ней

одной.

Компаньоны понятия не имели о том, что происходило между их женами.

Рислер-старший, поглощенный изобретением печатной машины, просиживал иногда до глубокой ночи за чертежным столом. Фромон-младший проводил целые дни вне дома, завтракал в клубе и почти никогда не бывал на фабрике. У него были на то свои причины.

Соседство Сидони волновало его. Воспоминания о былом пылком увлечении, о любви, принесенной в жертву последней воле дяди, преследовали его вместе с сожалением о том, что уже ничего нельзя поправить, и, чувствуя свою слабость, он избегал Сидони. Это был мягкий, бесхарактерный человек, достаточно умный, чтобы разобраться в себе, но слишком безвольный, чтобы управлять собою. В вечер свадьбы Рислера Жорж, хотя сам женился всего несколько месяцев назад, вновь был охвачен в присутствии этой женщины тем волнением, какое испытывал когда-то в грозовой вечер в Савнньи. С тех пор он инстинктивно избегал встреч с нею, разговоров о ней. К несчастью, они жили в одном доме, женщины по десять раз в день заходили друг к другу, нечаянные встречи были неизбежны. И получалось так, что муж, желая остаться верным семейному очагу, совершенно забросил его и стал искать развлечений вне дома.

Клер нисколько не удивлялась атому. Отец приучил ее к постоянным отлучкам «по делам». В отсутствие мужа, верная долгу жены и матери, она придумывала для себя бесконечные обязанности, всевозможные занятия: гуляла с ребенком или же отдыхала на солнышке, радуясь, что так хорошо растет ее девочка, а потом возвращалась домой, вся пронизанная весельем и смехом играющих на воздухе малышей, с отблеском их радости в своих всегда серьезных глазах.

Сидони тоже много выходила. Поздно вечером коляска Жоржа, въезжая в ворота, заставляла сторониться г-жу Рислер в роскошном туалете, возвращавшуюся после продолжительных прогулок по Парижу. Бульвары, витрины магазинов, покупки, которые она делала не торопясь, как бы наслаждаясь новым для нее удовольствием покупать, задерживали ее подолгу вне дома. Они обменивались поклоном и холодным взглядом на повороте лестницы. Жорж, словно спасаясь от опасности, поспешно входил к себе и, чтобы скрыть только что пережитое волнение, принимался ласкать ребенка, которого протягивала ему жена.

А Сидони, казалось, все забыла и сохраняла одно лишь презрение к этому безвольному, малодушному человеку. К тому же ее мысли были заняты сейчас совсем другим.

В их красной гостиной, в простенке между окнами, стояло теперь пианино, которое недавно купил ей муж.

После долгих колебаний она наконец решила заняться пением, считая, что уже поздно начинать учиться игре на фортепьяно. Два раза в неделю г-жа Добе он, красивая сентиментальная блондинка, приходила давать ей урок от двенадцати до часу дня. Ее протяжные «а… а… а…» и «о… о… о…», настойчиво повторяемые по десять раз кряду при открытых окнах, разносились в тишине близлежащих дворов, придавая фабрике сходство с пансионом.

Да и в самом деле, это упражнялась школьница, неопытное и легкомысленное создание, полное скрытых желаний, существо, которому нужно было еще многому учиться и много узнать, чтобы стать настоящей женщиной. Но честолюбие Сидони не простиралось дальше желания усвоить внешний лоск.

«Клер Фромон играет на рояле, а я… я буду петь… Она слывет за изящную, утонченную женщину, — я хочу, чтобы так же отзывались и обо мне».

Но она и не думала чему-нибудь учиться, а проводила целые дни в беготне по магазинам и поставщикам, интересуясь только тем, «что будут носить этой зимой». Ее привлекала роскошь витрин, все, что бросается в глаза прохожим.

Она так долго перебирала поддельные жемчужины, что на кончиках ее пальцев остался как бы налет их искусственного перламутрового отлива, что-то от их хрупкости, от их эфемерного блеска. Она и сама была поддельной жемчужиной, круглой, блестящей, вставленной в хорошую оправу жемчужиной, которая легко могла обмануть толпу, тогда как Клер Фромон была жемчужиной настоящей, с великолепным, но скромным блеском, и, когда обе женщины бывали вместе, разница между ними резко бросалась в глаза. Сразу скажешь, что одна была жемчужиной всегда. Маленькая жемчужинка в детстве, она с годами приобрела изящество и благородство, превратившие ее в натуру редкую, незаурядную. Другая, напротив, была произведением Парижа, этого ювелира, создающего поддельные драгоценности и тысячи безделушек, прелестных и блестящих, но непрочных, плохо отделанных и плохо скрепленных, настоящим продуктом той мелкой промышленности, в которой когда-то подвизалась она сама.

Особую зависть возбуждал в Сидони ребенок Клер — нарядная куколка, вся в лентах: лентами был украшен и полог колыбели и чепчик ее кормилицы. Сидони, конечно, не прельщали сладостные обязанности

матери, требующие большого терпения и самоотречения, она не думала ни о долгих укачиваниях, которыми призывают сон ребенка, когда он не может уснуть, ни о веселом утреннем умывании, брызжущем свежей холодной водой. Нет! С ребенком у нее связывалась только мысль о прогулке… Ведь так красивы развевающиеся ленты и длинные перья, весь этот наряд кормилиц, сопровождающих молодых матерей в уличной сутолоке!

А вот ее некому было сопровождать, кроме родителей и мужа, и она предпочитала выходить одна. Рислер так нелепо выражал свою влюбленность: он играл с женой, как с куклой, — то ущипнет ее за щеку или за подбородок, то вертится вокруг нее с криками «Агу! Агу!» или же смотрит на нее большими умильными глазами, как преданный, ласковый пес. Она стыдилась этой глупой любви, превращавшей ее в подобие фарфоровой безделушки. А родители были ей только помехой в том обществе, какое она хотела видеть у себя, и она тут же после свадьбы поторопилась избавиться от них, сняв им маленький домик в Монруже. Это сразу прекратило частые вторжения Шеба, являвшегося в длинном сюртуке, и бесконечные визиты мамаши Шеб, к которой вместе с обеспеченным существованием вернулись и прежние привычки к сплетням и безделью.

Сидони не прочь была бы удалить заодно и Делобелей, — их соседство тяготило ее. Но Маре, расположенное поблизости от Больших бульваров, где было много театров, являлось центром для старого актера. К тому же Дезире, как и все затворники, дорожила открывавшимся из окна видом, к которому она привыкла, и унылый двор, где зимою уже с четырех часов темнело, казался ей другом, как бы знакомым лицом, которое, когда его освещало солнце, словно посылало ей улыбку. Не имея возможности избавиться от старых друзей, Сидони просто перестала встречаться с ними.

Ее жизнь, в сущности, была бы очень одинока и печальна, если б не развлечения, которые порой доставляла ей Клер Фромон. Но каждый раз это приводило ее в бешенство.

«Неужели все должно исходить от нее?» — думала она.

И если иногда во время обеда ей приносили с нижнего этажа билет в ложу или приглашение на вечер, она приходила в восторг от того, что может показаться в свете, но, одеваясь на бал, только и думала, как бы затмить соперницу. Впрочем, такие случаи становились все реже, так как Клер все больше и больше времени отдавала ребенку. Но когда дедушка Гардинуа приезжал в Париж, он никогда не упускал случая объединить обе семьи. Для полноты удовольствия старому крестьянину необходимо было присутствие Сидони, которую не отпугивали его шуточки. Он угощал всех

обедом у Филиппа, в своем излюбленном ресторане, где он хорошо знал хозяев, официантов и смотрителя винного погреба, тратил там много денег и оттуда вез всю *компанию в* Комическую оперу или в Пале-Рояль, где уже заранее была заказана ложа.

В театре он громко смеялся, фамильярно разговаривал с капельдинершами — совсем как с официантами у Филиппа, — развязно требовал скамеечки для дам, а по окончании спектакля всегда стремился первым получить пальто и меха, как будто он был здесь единственным выскочкой с трехмиллионным состоянием.

Для этих несколько шокирующих выездов, от которых ее муж большею частью уклонялся. Клер с присущим ей тактом одевалась очень скромно, не желая бросаться в глаза. Сидони, напротив, распускала все паруса: расположившись в ложе на переднем плане, она непринужденно смеялась рассказам «дедушки», довольная, что спустилась со второго и третьего ярусов — своих прежних мест — в эти прекрасные, украшенные зеркалами ложи, бархатные барьеры которых казались ей предназначенными для ее светлых перчаток, бинокля из слоновой кости и веера с блестками. Банальное великолепие общественных мест, красные с позолотой обои — все это было для нее подлинной роскошью. Она красовалась в этой обстановке, как хорошенький бумажный цветок в филигранной жардиньерке.

Как-то вечером, на представлении одной модной пьесы в *Пале-Рояле*, где *присутствовало* много накрашенных «знаменитостей» в крохотных шляпках и вооруженных огромными веерами, среди всех этих женщин, чьи намалеванные лица, поднимаясь над декольтированными корсажами, выступали на полумрака бенуара, словно ожившие портреты, осанка Сидони, ее туалет, манера смеяться и смотреть привлекли к ней всеобщее внимание. Все бинокли в зале, движимые каким-то магнетическим током, особенно мощным при свете люстр, один за другим повернулись к ее ложе. Клер в конце концов почувствовала себя неловко и из скромности обменялась местами со своим мужем, к несчастью, сопровождавшим их в этот вечер.

Жорж, молодой и изящный, рядом с Сидони казался вполне подходящим ей спутником, а сидевший позади них Рислер, всегда такой спокойный и бесцветный, был как раз на своем месте подле Клер Фромон, которая в своем темном наряде как бы сохраняла инкогнито порядочной женщины, попавшей на бал в Оперу.[10]

При выходе каждый из компаньонов взял под руку свою соседку. Капельдинерша, обращаясь к Сидони, сказала о Жорже: «Ваш муж», — и

молодая женщина просияла от удовольствия.

Ваш муж!

Достаточно было этих простых слов, чтобы взбудоражить ее и всколыхнуть в ее душе множество дурных чувств. Проходя по коридорам и фойе, она смотрела на Рислера и на «мадам Шорш», которые шли впереди них. Ей казалось, что неуклюжая походка Рислера убивает изящество Клер, что рядом с ним пропадает вся ее утонченность, и она думала: «Так, наверно, безобразит он и меня, когда мы идем вместе…» Сердце ее усиленно билось при мысли о том, какую прелестную, счастливую, вызывающую всеобщий восторг пару составили бы они с Жоржем Фромоном, чья рука дрожала в ту минуту под ее рукой.

И когда голубая карета Фромонов подъехала за ними к театру, Сидони впервые подумала, что, в сущности. Клер заняла ее место и что она вправе попытаться снова отвоевать его.

III. ПИВНАЯ НА УЛИЦЕ БЛОНДЕЛЬ

После женитьбы Рислеру пришлось отказаться от посещения пивной. Сидони, конечно, была бы очень довольна, если б он проводил вечера в каком-нибудь изысканном клубе, в обществе богатых и хорошо одетых людей, но мысль, что он снова вернется к дыму трубок и к своим прежним друзьям — Сигизмунду, Делобелю и ее отцу, — эта мысль унижала и удручала ее. И Рислер перестал ходить туда, хотя это и было для него некоторым лишением. Пивная, помещавшаяся в заброшенном уголке старого Парижа, напоминала ему родные края. Редкие экипажи, высокие забранные решетками окна первых этажей, острые запахи москательных и аптекарских товаров придавали маленький улице Блондель отдаленное сходство с некоторыми улицами Базеля и Цюриха. Пивную держал швейцарец, и она усердно посещалась его соотечественниками. Открыв дверь, вы попадали в атмосферу, насыщенную говором северной Швейцарии, и сквозь завесу табачного дыма могли различить огромную низкую залу с подвешенными к потолку окороками, с вытянувшимися в ряд пивными бочками и толстым — чуть не по колено — слоем опилок на полу. На прилавке виднелись большие салатники с картофелем, румяным, как жареные каштаны, и корзины, полные только что вынутых из печи крендельков с золотистой, посыпанной солью корочкой.

В течение двадцати лет у Рислера была здесь своя трубка — длинная трубка с его именем, в подставке для завсегдатаев — и свой столик, к которому обычно подсаживались скромные, молчаливые соотечественники, слушавшие с восхищением бесконечные и не вполне понятные для них споры Шеба и Делобеля. Вслед за Рислером и Шеб с Делобелем тоже перестали бывать в пивной — по весьма уважительным причинам. Одна из них заключалась в том, что Шеб жил теперь далеко. Благодаря щедрости зятя он наконец осуществил заветную мечту своей жизни.

— Когда я разбогатею, — говорил, бывало, маленький человечек, сидя в своей унылой квартирке в Маре, — у меня будет собственный дом под Парижем, почти в деревне, с небольшим садиком, который я сам буду вскапывать и поливать. Для моего здоровья это будет куда полезнее, чем столичная суета.

И вот теперь у него был свой дом, но, смею вас уверить, он не очень-то весело проводил там время.

Дом находился в Монруже, при окружной дороге. «Маленькое шале с

садом» — гласила надпись на четырехугольном куске картона, дававшем приблизительное представление о размерах усадьбы. Обои были новые, дачные; все свежевыкрашено; бочка для поливки возле беседки из дикого винограда играла роль пруда. И еще одно преимущество: только изгородь отделяла этот рай от другого, точно такого же «шале с садом», где жил кассир Сигизмунд Планюс с сестрой. Для г-жи Шеб это было драгоценное соседство. Когда ей становилось скучно, она брала вязанье или нуждавшееся в починке белье, отправлялась в беседку к старой деве и, желая пустить ей пыль в глаза, заводила разговор о своем блестящем прошлом. К несчастью для ее мужа, он был лишен подобных развлечений.

Первое время все шло еще хорошо. Лето было в самом разгаре, и Шеб, сняв пиджак, целыми днями занимался устройством своего гнезда. Каждый гвоздик, который нужно было вбить, становился предметом праздных размышлений, бесконечных споров. Немало хлопот доставил ему и сад. Сначала Шеб решил сделать из него английский парк с вечнозелеными лужайками и извилистыми аллеями, окаймленными тенистыми деревьями. Но деревья, черт возьми, растут так медленно!

— Нет, я, пожалуй, разобью здесь фруктовый сад, — говорил, передумав, нетерпеливый человечек.

И вот он уже только и мечтает о бордюрах из овощей, о грядках фасоли, о шпалерах персиковых деревьев. По целым дням рыл он землю, озабоченно хмуря брови и беспрестанно вытирая лоб.

— Да отдохни же ты наконец… Ведь ты замучаешь себя! — уговаривала жена.

В результате сад получился смешанным: в нем были и цветы и фрукты, это был парк и огород одновременно. И каждый раз, отправляясь в Париж, Шеб украшал петлицу розой из собственного цветника.

Пока стояла хорошая погода, достойная чета не переставала восхищаться закатом солнца за крепостным валом, длинными днями и чудесным деревенским воздухом. Иногда вечером, раскрыв окна, они пели дуэтом, и, любуясь звездами, зажигавшимися в небе одновременно с фонарями окружной железной дороги, Фердинанд впадал в лирическое настроение… Но как тоскливо стало, когда начались дожди и нельзя было выходить из дому! Г-жа Шеб, коренная парижанка, с грустью вспоминала узкие улочки Маре, свои походы на рынок Блан — Манто и к поставщикам.

Устроившись с шитьем в руках у окна — на своем обычном наблюдательном посту, она смотрела на сырой садик, где отцветшие вьюнки и увядшие настурции сами собой, точно в изнеможении, падали с ограды палисадника; смотрела на длинную прямую линию все еще зеленых

откосов и видневшуюся немного поодаль, на углу улицы, столику парижских омнибусов, на лакированных бортах которых заманчивыми буквами были обозначены все пункты их маршрута. Каждый раз, когда один из омнибусов трогался в путь, она провожала его тем взглядом, каким кайенский или нумейский чиновник провожает возвращающийся во Францию пароход, и мысленно проделывала с ним весь его путь, знала, где он остановится, где неуклюже повернет за угол, задевая колесами витрины магазинов…

Обреченный на затворничество, Шеб стал совершенно невыносим. Он не мог больше заниматься садоводством. По воскресеньям на крепостном валу было безлюдно, и он был лишен удовольствия прогуливаться, как прежде, среди семей рабочих, завтракающих на травке, переходить от одной группы к другой запросто, в вышитых домашних туфлях, с важностью богатого собственника, живущего по соседству. А этого как раз ему недоставало больше всего, ибо он жаждал быть центром внимания. И вот, не зная, чем занять себя, не имея рядом никого, перед кем можно было бы позировать и кто стал бы выслушивать его проекты, разные истории и рассказ о случае с герцогом Орлеанским — ведь нечто подобное, как вы знаете, произошло в молодости и с ним, — незадачливый Фердинанд стал донимать упреками свою жену:

— Твоя дочь сослала нас… Твоя дочь стыдится своих родителей.

Только и было слышно, что «твоя дочь… твоя дочь… твоя дочь». В своем раздражении он доходил до того, что отрекался от Сидони и взваливал на жену всю ответственность за этого «чудовищного, бездушного ребенка». Не удивительно, что г-жа Шеб вздыхала с облегчением, когда муж ее садился на станции в омнибус и отправлялся в Париж на розыски по-прежнему бесцельно шатавшегося Делобеля, чтобы излить ему все свое недовольство дочерью и зятем.

Знаменитый Делобель тоже имел зуб против Рислера и часто говорил про него: «Это вероломный субъект…»

Великий человек рассчитывал стать непременным членом новой семьи, организатором празднеств, арбитром в вопросах вкуса. На деле же оказалось другое: Сидони принимала его холодно, а Рислер перестал даже водить в пивную. Однако актер не слишком громко высказывал свое неудовольствие, при встрече со своим другом был крайне предупредителен и льстил ему, в расчете, что тот может ему скоро понадобиться.

Устав ждать дальновидного антрепренера и так и не получив роли, на которую он уже столько лет надеялся, Делобель задумал купить театр и самому эксплуатировать его. Он рассчитывал, что Рислер даст ему денег на

это предприятие. Как раз на Бульваре Тампль из-за банкротства директора продавался небольшой театр. Делобель сказал об этом Рислеру, сперва очень неопределенно, в виде простого предположения: «Можно было бы обделать хорошее дельце…» Рислер, выслушав его со своей обычной флегматичностью, сказал: «Да, в самом деле, для вас это было бы очень хорошо». Затем, когда Делобель высказался уже более определенно, он, не решаясь ответить прямым отказом, стал отделываться всякими увертками: «Увидим… Потом… Я ничего не могу обещать…» — пока наконец не произнес роковой фразы: «Надо бы ознакомиться со сметой».

Целую неделю актер корпел над проектом, выводил цифры, а жена и дочь не сводили с него восхищенного взгляда, упоенные новой мечтой. В доме говорили: «Господин Делобель покупает театр». На бульваре, в артистических кафе только и было разговору, что об этой покупке. Делобель не скрывал, что нашел человека с капиталом, и благодаря этому был постоянно окружен толпою безработных актеров, старыми товарищами, которые, развязно похлопывая его по плечу, напоминали о себе: «Знаешь, старина…» Он завтракал в кафе, писал там письма, приветствовал входивших, фамильярно помахивая рукой, вел оживленные разговоры по углам, сулил ангажементы, и уже два каких-то потрепанных автора прочли ему драму в семи картинах, которая «как нельзя лучше» подходила для открытия театра. Он говорил: «Мой театр», — и ему адресовали письма: «Г-ну Делобелю, директору».

Составив проспект и смету, он отправился на фабрику повидать Рислера. Тот был очень занят и назначил ему свидание на улице Блондель. В тот же вечер Делобель, придя первым в пивную, уселся за их прежний столик и, заказав бутылку пива и два стакана, стал ждать. Он ждал долго, не сводя глаз с двери, дрожа от нетерпения. Рислер все не шел. При входе каждого нового посетителя актер оборачивался. Он разложил свои бумаги на столе и перечитывал их, жестикулируя, покачивая головой и шевеля губами.

Затеянное им дело было единственное в своем роде блестящее дело. Он уже видел себя на сцене — это было самое главное, — на сцене собственного театра, где он исполнял роли, написанные специально для него, для его таланта, роли, в которых он мог развернуться.

Вдруг дверь отворилась, и в табачном дыму показался Шеб. Он был так же удивлен и раздосадован при виде Делобеля, как и тот при виде его. Утром Шеб написал зятю, что ему надо серьезно поговорить с ним и что он будет ждать его в пивной. Дело чести… «строго между нами»… с глазу на глаз… В действительности дело чести сводилось к тому, что Шеб

распростился со своим домиком в Монруже и снял на улице Майль, в центре торгового квартала, магазин с комнатой… Магазин?.. Ну да, боже ты мой, магазин!.. А теперь он испугался своего смелого шага и беспокоился, как отнесется к атому дочь, тем более что магазин стоил значительно дороже домика в Монруже и к тому же нуждался в крупном ремонте. Издавна зная доброту зятя, Шеб решил прежде всего обратиться к нему и, впутав его в дело, взвалить на него ответственность за этот переворот. И вдруг вместо Рислера он встречает Делобеля!

Они посмотрели друг на друга исподлобья, неприязненно, как две собаки, встретившиеся у одной миски. Каждый из них понял, чего ждал другой, и они даже не пытались морочить друг друга.

— Моего зятя здесь нет? — спросил Шеб, мрачно косясь на разложенные на столе бумаги и делая ударение на словах «мой зять», чтобы подчеркнуть, что Рислер принадлежит ему, а не кому-нибудь еще.

— Я жду его, — ответил Делобель, собирая бумаги.

Поджав губы, он таинственным и, как всегда, театральным тоном многозначительно прибавил:

— У меня к нему очень важное дело.

— У меня тоже… — не менее веско проговорил Шеб, и при этом его три волоска встали дыбом, как щетина дикобраза.

Он сел рядом с Делобелем и тоже потребовал бутылку пива и два стакана. Затем, засунув руки в карманы и откинувшись на спинку дивана, расположился как дома и стал ждать. Два пустых стакана, стоявших перед обоими и предназначавшихся для одного и того же отсутствующего лица, имели какой-то вызывающий вид.

А Рислер все не шел.

Оба посетителя молчали и нетерпеливо ерзали по дивану. Каждый из них надеялся, что другому надоест наконец ждать.

Но скоро их дурное расположение духа вылилось наружу, и, конечно, за все досталось бедному Рислеру.

— Какая бестактность! Заставлять так долго ждать человека моих лет… — начал Шеб, взывавший к своему почтенному возрасту лишь при подобных обстоятельствах.

— Я считаю, что это просто издевательство, — подхватил Делобель.

— Вероятно, у них к обеду были гости, — ядовито заметил другой.

— И какие гости! — презрительно усмехнулся Делобель, вспомнив, очевидно, все свои обиды.

— Дело в том… — продолжал Шеб.

Тут они придвинулись друг к другу и разговорились. У обоих

накопилось немало обид на Сидони и Рислера, и теперь они отводили душу. Рислер, добродушный с виду, в сущности, эгоист, выскочка. Они смеялись над его акцентом, манерами, передразнивали некоторые его привычки. Потом заговорили о его семейной жизни и, понизив голос, поверяли друг другу тайны, непринужденно смеялись, вновь стали друзьями.

Шеб зашел далеко.

— Пусть он поостережется! Разве не глупо было с его стороны допустить, чтобы отец и мать жили вдали от ребенка? Теперь, если что-нибудь случится, пусть пеняет на себя. Дочь, не имеющая перед глазами примера родителей… Понимаете, что я хочу сказать?..

— Конечно, конечно!.. — поддакивал Делобель. — Тем более что Сидони стала такой кокеткой… Ну, уж тут ничего не поделаешь! Он получит то, что заслужил. Разве можно было человеку его лет… Тсс!.. Вот он!..

Рислер только что вошел и, обмениваясь по пути рукопожатиями, направлялся к ним.

На минуту трое друзей почувствовали некоторую неловкость. Рислер начал извиняться. Он задержался дома; у Сидони были гости. (Делобель толкнул под столом ногою Шеба.) Оправдываясь, бедняга смущенно поглядывал на два ожидавших его пустых стакана, не зная, перед которым из них сесть.

Делобель проявил великодушие.

— Вам надо поговорить, господа, не стесняйтесь, — сказал он и, подмигнув Рислеру, шепнул: — Бумаги со мною.

— Какие бумаги?.. — спросил озадаченный Рислер.

— Смета..- подсказал актер.

Затем отодвинулся с подчеркнутой деликатностью и снова углубился в свои бумаги, обхватив голову руками и зажав уши.

Рислер и Шеб вели при нем разговор сначала тихо, потом все громче и громче, так как Шеб не мог долго сдерживать свой резкий, крикливый голос… Он еще не так стар, черт возьми, чтобы похоронить себя в такой глуши!.. Он умер бы от скуки, останься он в Монруже. Ему нужны улица Майль, Сантье, шум и оживление торгового квартала.

— Да, но зачем магазин? — осмелился заметить Рислер.

— Зачем магазин?.. Зачем магазин? — повторял Шеб, красный, как пасхальное яйцо, возвышая голос до самых высоких нот своего регистра. — А затем, что я коммерсант, господин Рислер. Коммерсант, и сын коммерсанта… А, знаю, вы хотите сказать, что я ничем не торгую. Но

кто виноват в этом? Если бы люди, загнавшие меня в Монруж, к самым дверям Бисетра, точно слабоумного,[11] догадались ссудить меня деньгами для какого — нибудь предприятия…

Тут Рислеру удалось утихомирить его, и теперь слышны были только обрывки разговора: «…более удобный магазин… высокий потолок… легче дышать… проекты на будущее… крупное предприятие… скажу, когда придет время… Многие будут удивлены…» Улавливая эти обрывки фраз, Делобель все больше и больше углублялся в смету, стараясь всем своим видом показать, что он не слушает. Рислер был смущен, время от времени он отпивал для вида глоток пива. Наконец, когда Шеб успокоился — а у него были для этого основания, — его зять повернулся с улыбкой к знаменитому Делобелю и встретил его суровый, невозмутимый взгляд, как бы говоривший: «Ну, а я?..»

«Ах, боже мой!.. Я и забыл!» — подумал несчастный Рислер.

Переменив стул и стакан, он уселся против актера. Но Шеб не отличался деликатностью Делобеля. Вместо того, чтобы скромно удалиться, он придвинул свой стакан и присоединился к Рислеру и Делобелю. Великий человек не желал говорить в его присутствии и, торжественно положив во второй раз свои бумаги в карман, сказал Рислеру:

— Мы займемся этим позже.

В самом деле, разговор состоялся значительно позже, ибо Шеб рассудил так: «Мой зять добряк… Если я уйду, этот вымогатель вытянет у него все что угодно».

И он остался, чтобы присмотреть за ним. Актер был в бешенстве. Отложить дело до другого раза? Невозможно. Рислер только что сообщил, что уезжает завтра на месяц в Савиньи.

— На месяц в Савиньи? — переспросил Шеб в отчаянии, что зять ускользает от него. — А дела?

— Я ежедневно буду приезжать в Париж вместе с Жоржем. Это все старый Гардинуа — ему захотелось повидать свою любимицу Сидони.

Шеб неодобрительно покачал головой. Он находил это неблагоразумным. Дела остаются делами. Надо всегда быть на месте, на посту. Как знать? На фабрике ночью может случиться пожар. И он повторял наставительно: «Хозяйский глаз, мой дорогой, хозяйский глаз…», между тем как актер — в его расчеты тоже не входил отъезд Рислера — таращил свои и без того большие глаза, стараясь придать им проницательное и властное выражение, настоящее выражение «хозяйского глаза».

Наконец около полуночи последний монружский омнибус увез тирана-тестя, и Делобель мог высказаться.

— Прежде всего проспект, — сказал он, не желая сразу затрагивать денежный вопрос, и, надев пенсне, начал напыщенно, точно на сцене: «Если рассмотреть беспристрастно, до какого упадка дошло драматическое искусство во Франции, и измерить расстояние, отделяющее театр Мольера…»

В том же духе шло рассуждение на нескольких страницах. Рислер слушал, потягивая трубку и боясь пошевельнуться, так как чтец ежеминутно взглядывал на него поверх пенсне, чтобы судить, какое впечатление производит его проспект. К сожалению, чтение проспекта пришлось прервать на середине: стали запирать кафе. Гасили огни, надо было уходить… А смета?.. Решено было прочесть ее по дороге. Они останавливались у каждого газового рожка, и актер выкладывал цифры. Столько-то на зал, столько-то на освещение, столько-то на благотворительный сбор, столько-то на актеров… Особенно напирал он на вопрос об актерах.

— Выгодной стороной дела, — говорил он, — является то, что не нужно будет платить премьеру… Нашим премьером будет Биби. (Он любил называть себя Биби.) Премьеру платят обычно двадцать тысяч франков… а раз их не надо будет платить, то это все равно, как если бы вы положили эту сумму себе в карман. Не так ли?

Рислер не отвечал. Вид у него был смущенный, взгляд блуждающий, как у человека, мысли которого витают где-то далеко.

Прочитав смету, Делобель с ужасом увидел, что они приближаются к повороту улицы Вьей-Одриет. Тогда он поставил вопрос ребром: желает Рислер или не желает оказать ему помощь?

— Нет! — твердо сказал Рислер в порыве героического мужества, которое придала ему близость фабрики и мысль, что он рискует своим семейным благополучием.

Делобель был ошеломлен. Он уже считал, что его дело в шляпе, и теперь, потрясенный и обескураженный, с бумагами в руке, смотрел на Рислера вытаращенными глазами.

— Нет, — снова услышал Делобель. — Я не могу исполнить вашу просьбу… И вот почему…

Медленно, со свойственной ему неповоротливостью добрый малый объяснил, что он совсем не богат. Хотя он и компаньон крупной фирмы, свободных денег у него нет. Они с Жоржем получают ежемесячно определенную сумму из кассы, затем в конце года, в зависимости от годового баланса, делят прибыль. Все его сбережения ушли на устройство; до баланса остается четыре месяца. Где он возьмет тридцать тысяч

франков, которые нужно выложить на приобретение театра? А если дело не пойдет?

— Этого не может быть… А на что же Биби?

При этих словах бедный Биби гордо выпрямился.

Но Рислер был непреклонен и на все уговоры Биби неизменно отвечал: «Потом, года через два, через три… Я не отказываю окончательно…»

Актер боролся долго, яростно отстаивая свои позиции. Он предложил внести изменения в смету. Можно будет устроить дешевле…

— Все равно для меня это будет слишком дорого, — прервал его Рислер. — Мое имя не принадлежит мне. Оно составляет часть фирмы. Я не имею права распоряжаться им. А вдруг я окажусь банкротом! — При слове «банкрот» голос его задрожал.

— Но ведь все будет на мое имя!.. — возражал Делобель, не страдавший особой щепетильностью.

Он испробовал все: взывал к интересам святого искусства, дошел даже до того, что упомянул об актрисах, об их обольстительных взглядах…

Рислер расхохотался.

— Ах вы шутник этакий!.. Что вы говорите… Вы забыли, что мы оба женаты, что уже очень поздно и наши жены, наверно, ждут нас… Вы не сердитесь, правда?.. Это не отказ, поймите… Знаете что? Зайдите ко мне после годового баланса. Мы еще поговорим… А, дядя Ахилл уже тушит газ… Я спешу. Прощайте!

Был уже второй час ночи, когда Делобель вернулся домой.

Обе женщины ждали его по обыкновению за работой, но с непривычным для них лихорадочным волнением. Большие ножницы, которыми мамаша Делобель разрезала проволоку, то и дело как-то странно вздрагивали в ее руках, а пальчики Дезире, работавшие над каким-то украшением, двигались с такой быстротой, что, глядя на них, начинала кружиться голова. Длинные перья колибри, разложенные перед нею на столе, казалось, тоже блестели как-то по-особенному, и краски их были ярче, чем всегда. И все потому, что в этот вечер их посетила прекрасная гостья, чье имя — Надежда. Не пожалев усилий, она поднялась по темной лестнице на пятый этаж и, приоткрыв дверь маленькой квартирки, бросила туда свои лучезарный взгляд, тот магический взгляд, что вновь и вновь обольщает нас, несмотря на все испытанные разочарования!

— Ах, если бы отцу удалось!.. — произносила время от времени мамаша Делобель, как бы подводя итог своим радужным надеждам и мечтам.

— Удастся, мама, будь покойна. Господин Рислер такой добрый — я

ручаюсь за него! Сидони тоже любит нас, хотя, правда, после замужества она как будто забыла своих друзей. Но нужно считаться с ее положением… Во всяком случае, я всегда буду помнить, что она сделала для меня.

И при воспоминании о том, что сделала для нее Сидони, маленькая хромоножка еще ревностнее принялась за работу. Ее как бы наэлектризованные пальцы задвигались с удвоенной быстротой. Можно было подумать, что они гонятся за чем-то ускользающим и неуловимым, за счастьем или за любовью того, кто вас не любит…

«Что же такое она сделала для тебя?» — должна была бы спросить мать, но ее не интересовали слова дочери. Она думала только о своем великом человеке.

— Так ты считаешь, девочка, что ему удастся?.. Ах, если б у отца был свой театр, если б он снова мог играть, как прежде!.. Ты-то, конечно, не помнишь, ты была тогда еще слишком мала… Каким бешеным успехом он пользовался, как его вызывали!.. Однажды в Алансоне завсегдатаи театра преподнесли ему золотой венок. Твой отец в то время был такой шикарный, такой веселый и жизнерадостный! Теперь он совсем не тот, мой бедный муженек, несчастье сильно изменило его… Но я уверена, что достаточно небольшого успеха, и он снова станет молодым я счастливым. К тому же директора театров зарабатывают большие деньги. У нантского антрепренера был даже свои экипаж. Представь себе: у нас экипаж!.. Нет, ты только вообрази… Вот было бы хорошо для тебя! Ты могла бы гулять, не была бы прикована к креслу, как сейчас. Отец возил бы нас за город. Ты увидела бы воду, деревья. Тебе ведь этого хочется?

— Деревья!.. — дрожащим шепотом произнесла бедная затворница.

В эту минуту наружная дверь дома с шумом захлопнулась, и скоро в коридоре послышались мерные шаги Делобеля. Обе женщины замерли, затаив дыхание, боясь проронить слово. Они не смели даже взглянуть друг на друга, большие ножницы матери дрожали у нее в руках и резали проволоку вкривь и вкось.

Что и говорить, для бедняги это был ужасный удар! Разбитые надежды, унизительный отказ, насмешки товарищей, счет в кафе, где он завтракал в кредит во все время своего «директорства», счет, который надо будет теперь оплатить, — все это вставало перед ним в тиши и мраке лестницы, пока он поднимался на пятый этаж. Сердце у него надрывалось. Но актерство было в нем так сильно, что даже на это подлинное страдание он не преминул набросить мелодраматическую маску.

Едва переступив порог, он остановился, окинул трагическим взглядом мастерскую, стол, заваленный работой, скромный ужин, накрытый на

краешке стола, и два дорогих лица, с тревогой устремивших на него горящие глаза. С минуту актер молчал, — а кто не знает, какой долгой кажется в театре минутная пауза! — затем, сделав три шага вперед, тяжело опустился на низенький стульчик у стола.

— «А-ах! Я проклят!»[12] — проговорил он свистящим шепотом.

При этом он так сильно ударил кулаком по столу, что птички и мушки для отделки разлетелись по всей комнате. Испуганная жена встала и робко подошла к нему, а Дезире, приподнявшись в кресле, смотрела на отца с выражением напряженного отчаяния, исказившего ее черты.

Актер сидел подавленный, уронив руки и опустив голову на грудь, и говорил сам с собой. Это был прерывистый, беспорядочный монолог с драматическими вздохами и всхлипываниями, с проклятьями по адресу жестоких, эгоистичных буржуа, этих чудовищ, которым актер отдает свою плоть и кровь.

Потом он вспомнил все свое сценическое прошлое: первые успехи, золотой венок алансонских театралов, женитьбу на «святой женщине», — тут он указал на несчастную г-жу Делобель: она стояла около него в слезах, старчески *покачивая* головой при каждом его слове, и губы у нее дрожали.

Даже тот, кто совсем не знал знаменитого Делобеля, мог бы после этого длинного монолога подробно рассказать всю историю его жизни. Он вспомнил свой приезд в Париж, свои неудачи, лишения… Увы! Не он терпел эти лишения. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на его сытую физиономию рядом с исхудалыми, осунувшимися лицами женщин. Но актер не вдавался в такие мелочи — он был в упоении от собственной декламации.

— О! — восклицал он. — Столько бороться!.. Десять лет, нет, пятнадцать лет я веду борьбу, и эти преданные создания поддерживают, кормят меня!..

— Папа, папа, замолчите!.. — останавливала его Дезире, умоляюще сложив руки.

— Да, да, они кормят меня… и я не краснею, ибо ради искусства, только ради святого искусства принимал я все их жертвы… Но теперь довольно! Чаша переполнена. Я отказываюсь.

— Не говори так, друг мой! — воскликнула г-жа Делобель, бросаясь к мужу.

— Нет, нет, оставь меня… У меня нет больше сил. Они убили во мне артиста. Кончено… Я отказываюсь от театра…

Если б вы видели, как обе женщины нежно обнимали его, как умоляли не бросать борьбы, как доказывали, что он не имеет права отказываться от

театра, вы не могли бы удержаться от слез. Но Делобель стоял на своем.

Наконец, как бы снисходя к их мольбам и уговорам, он обещал потерпеть еще немного, раз они так настаивают.

Четверть часа спустя великий человек, обессиленный своим монологом, но чувствуя облегчение от того, что дал выход своему отчаянию, сидел за столом и ужинал с большим аппетитом, испытывая лишь легкую усталость актера, сыгравшего вечером большую драматическую роль.

Обычно в таких случаях артист, взволновавший весь зал и плакавший подлинными слезами на сцене, забывает обо всем этом, как только выйдет из театра. Он оставляет свое волнение в артистической уборной вместе с костюмом и париком, тогда как зрители, неискушенные и впечатлительные, возвращаются домой потрясенные, с заплаканными глазами, и их нервное возбуждение еще долго не дает им уснуть.

В ту ночь Дезире и мамаша Делобель долго не смыкали глаз.

IV. В САВИНЬИ

Каким огромным несчастьем для обоих семейств оказалось их совместное пребывание в Савиньи!

Прошло два года, и вот Жорж и Сидони снова встретились в старинном имении, до того старом, что оно уже как бы застыло в своей старости и где камни, пруды и деревья — незыблемые и неизменные, — казалось, смеялись над тем, что меняется и проходит. Нужны были более стойкие, более благородные натуры, чтобы их тесное общение здесь не оказалось для них роковым.

Зато Клер никогда еще не была так счастлива, никогда Савиньи не казалось ей прекраснее. Как весело ей было гулять с ребенком по лужайкам, где она сама бегала еще совсем крошкой, сидеть в роли молодой матери на тех же затененных деревьями скамейках, на которых, бывало, сиживала ее мать, наблюдая за ее детскими играми, вновь осматривать, идя под руку с Жоржем, все уголки, где они когда-то вместе играли! Она испытывала чувство спокойного удовлетворения, то счастье безмятежного существования, которым особенно полно наслаждаешься в тиши и уединении. Целый день в своем длинном пеньюаре бродила она по аллеям парка, приноравливаясь к мелким шажкам дочери, живо откликаясь на все ее возгласы и требования.

Сидони редко принимала участие в этих семейных прогулках. Она говорила, что детская возня утомляет ее, и сходилась в этом со старым Гардинуа, который был рад всякому предлогу, чтобы досадить внучке. Он рассчитывал, что добьется этого, уделяя все свое внимание одной Сидони, и старался доставить ей еще больше развлечений, чем в ее последний приезд. Экипажи, уж два года стоявшие под навесом без употребления и с которых раз в неделю сметали пыль и паутину, покрывавшие их шелковые подушки, были вычищены и предоставлены в ее распоряжение. Лошадей запрягали по три раза в день, решетчатые ворота то и дело растворялись и затворялись. В доме воцарился светский тон. Садовник тщательнее ухаживал за цветами, так как г-жа Рислер выбирала самые лучшие из них, чтобы украсить прическу к обеду. Приезжали гости. Устраивались завтраки, прогулки. Возглавляла их г-жа Фромон-младшая, но безраздельно царила на них веселая, живая Сидони. Впрочем, Клер часто уступала ей место хозяйки. У ребенка были определенные часы для сна и прогулок, и никакие удовольствия не могли нарушить их. Матери поневоле

приходилось отдаляться от общества, и даже по вечерам она нередко бывала лишена возможности поехать с Сидони встречать компаньонов, возвращавшихся из Парижа.

— Надеюсь, ты извинишь меня, — говорила она, поднимаясь к себе в комнату.

Г-жа Рислер торжествовала. Изящная, беспечная, мчалась она в коляске, не замечая быстрого бега лошадей и ни о чем не думая.

Свежий ветерок, дувший ей под вуаль, только оживлял ее. Когда из-под полуопущенных ресниц она замечала мелькнувшую на повороте дороги харчевню, дурно одетых детей, бегавших по траве у самой колеи, в ее воображении вставали прежние воскресные прогулки в обществе Рислера и родителей. Легкая дрожь, охватывавшая ее при этом воспоминании, заставляла ее плотнее кутаться в нарядную, падавшую мягкими складками накидку, и, убаюкиваемая тихим покачиванием экипажа, она снова погружалась в состояние безмятежного покоя.

На станции ждали другие экипажи. Сидони привлекала к себе общее внимание. Несколько раз она слышала, как кто-то совсем рядом с ней тихо говорил: «Это госпожа Фромон-младшая…» И действительно, легко было ошибиться, видя, как они возвращаются втроем со станции: Сидони — в глубине коляски, рядом с Жоржем, они смеются, болтают, а напротив них, положив крупные руки ладонями на колени, мирно улыбается Рислер, слегка смущенный тем, что сидит в такой великолепной коляске. Мысль, что ее принимают за г-жу Фромон, наполняла Сидони гордостью, и с каждым днем она все больше привыкала к этому. По приезде обе четы расставались до обеда, но в обществе жены, спокойно расположившейся возле спящей девочки, Жорж Фромон — слишком еще молодой, чтобы наслаждаться семейным уютом, — не переставал думать о блестящей Сидони, чей голос, заливаясь торжествующими руладами, звенел в аллеях сада.

Старик Гардинуа, в то время как по капризу молодой женщины преображался весь его замок, продолжал вести обособленную жизнь скучающего, праздного и немощного богача. Его единственным развлечением было шпионство. Отлучки слуг, все, что говорилось о нем на кухне, корзина с овощами и фруктами, которую каждое утро проносили из огорода в буфетную, — все это было ^предметом постоянных его расследований. Для него не было большего удовольствия, как поймать кого-нибудь на месте преступления. Это все же было каким-то занятием, придавало ему, по его мнению, некоторый вес в глазах окружающих, и за столом он подробно рассказывал безмолвствующим гостям о хитростях, к

которым прибегал, чтобы накрыть виновного, о выражении его лица, об его ужасе и мольбах.

Для постоянного надзора за прислугой старик облюбовал врытую в песок каменную скамью за развесистой павловнией. Он сидел там по целым дням, не читая, ни о чем не думая, выслеживая каждого, кто входил и выходил. Для своих ночных наблюдений он придумал другое. В большом вестибюле, куда вело уставленное цветами крыльцо, он велел пробить в потолке отверстие так, чтобы оно сообщалось с его комнатой, расположенной этажом выше. Усовершенствованная слуховая трубка должна была доносить к нему наверх малейший звук, раздававшийся на первом этаже, все, вплоть до разговоров слуг, выходивших вечером на крылечко, чтобы подышать свежим воздухом.

К несчастью, слишком тонкий инструмент, чрезмерно усиливая звуки, смешивал, удлинял их, и единственно, что мог слышать Гардинуа, приложив ухо к своей трубке, — это постоянное равномерное тиканье больших часов, крики попугая, сидевшего внизу на жердочке, да кудахтанье курицы, искавшей потерянное зерно. Что касается голосов, то они доходили до него только в виде неясного шума, словно гул толпы, в котором нельзя было ничего разобрать. Примирившись с тем, что только зря потратил деньги, старик спрятал это акустическое чудо в складках полога своей постели.

Однажды ночью, не успел он заснуть, как был внезапно разбужен скрипом двери. В такой поздний час это показалось ему подозрительным. Весь дом спал. Слышно было только, как ступали по песку сторожевые псы, как останавливались они у дерева, на верхушке которого кричала сова… Прекрасный случай воспользоваться акустической трубкой! Приложив ее к уху, Гардинуа убедился, что он не ошибся. Шум продолжался. Отворили одну дверь, потом другую. Под чьим-то напором подался засов на крыльце. Но ни Пирам, ни Тизба, ни даже Кисс — свирепый ньюфаундленд — не залаяли. Старик тихонько поднялся, чтобы посмотреть, что это за странные воры, которые выходили, вместо того чтобы войти. И вот что он увидел сквозь решетчатые ставни.

Высокий, стройный мужчина, похожий на Жоржа, вел под руку женщину в кружевном шарфе на голове. Они остановились под цветущей павловнией и сели на скамью.

Была чудесная серебристая ночь. Луна, скользя по верхушкам деревьев, бросала в густую листву блестящие блики.

Залитые лунным светом террасы, где, подстерегая ночных бабочек, расхаживали длинношерстые ньюфаундленды, застывшая гладь озер и

прудов — все сияло спокойным, безмолвным сиянием, словно отраженное в серебряном зеркале. Там и сям по краю лужаек сверкали светляки.

Парочка молча сидела под сенью павловнии, скрытая во мраке, который образуют тени в лунную ночь. Но вдруг они показались в полосе света и, томно обнявшись, медленно пересекли лужайку и исчезли в буковой аллее.

«Я был в этом уверен!» — сказал себе старый Гардинуа, как только узнал их. Впрочем, ему не надо было особенно стараться, чтобы узнать их. Разве спокойствие собак и весь вид заснувшего дома не говорили ему достаточно красноречиво о том, какое дерзкое, безнаказанное и никому не ведомое преступление совершалось ночью в аллеях его парка? Как бы то ни было, старый крестьянин был в восторге от своего открытия. Не зажигая огня, он, тихонько посмеиваясь, снова улегся в постель. В маленьком, полном охотничьего оружия кабинете, откуда он подстерегал свои жертвы, вообразив сначала, что это воры, луна освещала только развешанные по стенам ружья да ящики с патронами разных калибров…

Жорж и Сидони вновь обрели свою любовь в уголке той же самой аллеи.

Истекший год, полный колебаний, смутной борьбы и сопротивления, казалось, был только подготовкой к их встрече. Нужно ли говорить о том, что, вступив на путь измены, они только удивились, что так медлили?.. Жорж Фромон был охвачен безумной страстью. Он обманывал жену, своего лучшего друга, обманывал Рислера, своего компаньона, верного товарища во всех случаях жизни.

Его теперь непрестанно мучили угрызения совести, но самая чудовищность проступка только усиливала его любовь. Эта женщина завладела всеми его мыслями, он понял, что до сих пор еще не жил. Что касается Сидони, то ее любовь была соткана только из тщеславия и злобы. Больше всего наслаждалась она сознанием, что Клер унижена в ее глазах. Если б она могла сказать ей: «Твой муж любит меня… Он изменяет тебе со мной!..» — ее радость была бы еще полнее. Ну, а Рислер… Он, по ее мнению, вполне это заслужил. На ее прежнем жаргоне ученицы из мастерской-она больше не говорила, но все еще думала на нем — бедняга был просто «старикан», за которого она вышла по расчету.

А «стариканы» ведь для того и существуют, чтобы их обманывали.

Днем Савнньи принадлежало Клер и подрастающей девочке, которая бегала по усыпанным песком дорожкам, улыбаясь птичкам и облакам. Свет и залитые солнцем аллеи были для матери и ребенка. Но голубые ночи принадлежали измене, дерзко водворившемуся здесь греху; он тихо

говорил и бесшумно ходил за закрытыми ставнями, и перед его лицом заснувший дом становился немым и слепым, обретая все свое каменное бесстрастие, как будто ему было стыдно видеть и слышать.

V. СИГИЗМУНД ПЛАНЮС ДРОЖИТ ЗА СВОЮ КАССУ

— Экипаж, Шорш?.. Мне экипаж?.. Зачем?

— Уверяю вас, дорогой Рислер: вам это необходимо. Наша клиентура, наши дела расширяются с каждым днем, одной кареты нам уже недостаточно. Да и неудобно перед людьми, чтобы один компаньон разъезжал в экипаже, а другой всегда ходил пешком. Поверьте мне: это необходимый расход, и, само собой разумеется, он будет отнесен на общий счет фирмы. Соглашайтесь же!

Для Рислера это было настоящей жертвой.

Ему казалось, будто он крадет что-то, обзаводясь такой неслыханной роскошью, как экипаж, но в конце концов он уступил настояниям Жоржа, подумав: «То-то будет счастлива Сидони!»

Бедняге и в голову не могло прийти, что уже месяц тому назад Сидони сама выбрала у Биндера карету, которую хотел подарить ей Жорж Фромон, решив поставить ее стоимость в счет общих расходов, чтобы не возбудить подозрений мужа.

Добряк Рислер был точно создан для того, чтобы его всю жизнь обманывали. Врожденное простодушие, доверие к людям и ко всему окружающему, составлявшие основу его прямой натуры, проявлялись еще сильнее теперь, когда он был всецело поглощен заботами по изобретению *Печатной машины Рислера.* которая должна была произвести переворот в обойной промышленности и явиться его вкладом в товарищество. Оторвавшись от чертежей, он выходил из своей маленькой мастерской в первом этаже, погруженный в раздумье, с видом человека, у которого деловая жизнь и личная жизнь не сливаются. Он был счастлив, когда, вернувшись в мирную домашнюю обстановку, находил жену в хорошем расположении духа, всегда нарядную и улыбающуюся. Не вдаваясь в причины этой перемены, он все же заметил, что «малютка» с некоторого времени изменила свое отношение к нему. Она позволила ему вернуться к его прежним привычкам: к трубке за десертом, послеобеденному сну и свиданиям в пивной с Шебом и Делобелем. Их квартира тоже преобразилась, стала наряднее. С каждым днем обыкновенный комфорт уступал в ней место роскоши. От незатейливых жардиньерок с цветами и пунцовой гостиной Сидони перешла ко всему изысканному и модному, пристрастилась к старинной мебели и редкому фарфору. Ее спальня была

обита бледно — голубым шелком, выстеганным, как футляр для драгоценностей. В гостиной на месте прежнего пианино стоял теперь рояль известной фирмы, и уже не два раза в неделю, а ежедневно являлась учительница пения г-жа Добсон со свернутым в трубочку романсом в руке.

Довольно странная особа была эта молодая американка с бледно-желтыми, цвета-лимонной мякоти волосами, разделенными пробором над упрямым лбом, и серо-голубыми глазами, отливавшими металлическим блеском. Муж не позволил ей поступить на сцену, и она стала давать уроки пения, а иногда и сама пела в буржуазных салонах. Живя в искусственном мире мелодий, она постоянно пребывала в какой-то сентиментальной экзальтации.

Она представляла собой олицетворенный романс. В ее устах слова «любовь», «страсть» казались состоящими чуть ли не ив двадцати слогов — так выразительно она их произносила. Выразительность! Вот что миссис Добсон ставила превыше всего и что она тщетно старалась передать своей ученице.

В то время был в моде романс «Ай, Чикита», и Париж распевал его несколько сезонов. Сидони добросовестно разучивала его; все утро было слышно, как она пела:

Ты женишься. Но, право.
Ты мне приносишь смерть!

— Смер-р-ть!! — выразительно прерывала ее г-жа Добсон, томно склоняясь над клавишами рояля. Она и в самом деле точно умирала: закатывала к потолку свои светлые глаза, в отчаянии запрокидывала голову. У Сидони никак это не получалось. Ее лукавые глазки, пухлые, трепещущие жизнью губы были не созданы для сентиментальностей эоловой арфы. Ей гораздо больше подошли бы песенки Оффенбаха или Эрве, с игривыми нотками, *которые можно* подчеркнуть жестом, движением головы или бедер, но она не смела признаться в этом своей томной учительнице. Впрочем, несмотря на то, что ей много приходилось петь у мадемуазель Ле Мир, голос ее был еще свеж и довольно красив.

У Сидони не было знакомых, и она сделала учительницу пения своей подругой. Она оставляла ее завтракать, брала с собой кататься в новой карете, прибегала к ее советам при покупках, при выборе туалетов и драгоценностей. Сентиментальный, сочувствующий тон г-жи Добсон располагал к откровенности. Ее постоянные жалобы, казалось, стремились

вызвать ответные признания. Сидони рассказала ей о Жорже, о их любви, стараясь оправдать свою вину жестокостью родителей, силой выдавших ее замуж за богатого человека, гораздо старше ее. Г-жа Добсон тотчас же выразила готовность прийти на помощь влюбленным, и не из какого-либо расчета, а просто потому, что эта маленькая женщина питала страсть к любовным приключениям, к романическим интригам. Она была несчастна в семейной жизни: ее муж, дантист, бил ее, и она считала, что все мужья — чудовища. Но самым ужасным из всех тиранов представлялся ей Рислер, и она находила, что жена вправе обманывать и ненавидеть его.

Это была деятельная и чрезвычайно полезная наперсница. Два-три раза в неделю она приносила билеты в Оперу, на итальянцев, или в один из тех маленьких модных театров, которые в течение одного сезона привлекают к себе весь Париж. Рислеру говорили, что билеты достает г-жа Добсон, — она получает их сколько угодно в тех театрах, где поют. Несчастный и не подозревал, что самая скромная из этих лож на модную премьеру часто обходилась его компаньону в десять или пятнадцать луидоров. Да, что и говорить, такого мужа было легко обманывать! Его неистощимая доверчивость спокойно принимала всякую ложь; к тому же он был очень далек от того искусственного мира, в котором его жена начинала уже приобретать известность. Он никогда не сопровождал ее. В первое время после женитьбы он несколько раз был с нею в театре, но, слишком флегматичный, чтобы заниматься разглядыванием публики, и недостаточно восприимчивый к искусству, чтобы интересоваться спектаклем, он позорно засыпал. А потому он был бесконечно признателен г-же Добсон за то, что она заменяла его подле Сидони. А она делала это так охотно!..

Вечером, когда жена уезжала, всегда великолепно одетая, он провожал ее восхищенным взглядом, не подозревая ни стоимости ее туалетов, ни, главное, того, кто платил за них. Свободный от всяких подозрений, он ждал ее возвращения, рисуя у камина, и ему было отрадно думать: «Как она там веселится!»

Этажом ниже, у Фромонов, разыгрывалась та же комедия, но только с переменой ролей. Здесь дома оставалась жена. Каждый вечер, через полчаса после отъезда Сидони, большие ворота снова раскрывались, чтобы пропустить карету Фромонов, увозившую Жоржа в клуб. Ничего не поделаешь! Этого требует коммерция. В клубе за карточным столом заключаются крупные сделки, и ему приходится бывать там в интересах торгового дома. Клер наивно верила этому. Когда муж уходил, ее на минуту охватывала грусть. Ей так хотелось побыть с ним дома или выйти с ним

под руку, повеселиться вместе! Но при виде девочки, щебетавшей у камина и болтавшей розовыми ножками, пока ее раздевали, мать скоро успокаивалась, тем более что магическое слово «дела» — этот аргумент государственной важности для коммерсантов — всегда приходило ей на помощь, заставляя мириться с неизбежным.

Жорж и Сидони встречались в театре. Показываясь вместе, они прежде всего испытывали чувство удовлетворенного тщеславия. На них обращали внимание. Сидони теперь и в самом деле была очаровательна; для того, чтобы ее хорошенькое неправильное личико произвело должный эффект, ей нужны были экстравагантные наряды, и она научилась так искусно подбирать их, что они казались точно созданными для нее. Побыв недолго в театре, Жорж и Сидони уезжали, оставляя в ложе г-жу Добсон. Они сняли маленькую квартирку на авеню Габриэль, у Елисейских Полей, — мечта девиц из мастерской Ле Мир, — две тихие, роскошно обставленные комнаты, где безмолвие богатых кварталов, нарушаемое лишь проезжавшими экипажами, бережно охраняло их любовь. Привыкнув понемногу к своему новому положению, Сидони стала смелее, у нее появились всевозможные фантазии. От дней трудовой жизни она сохранила в памяти названия танцевальных зал и известных ресторанов, куда ее теперь толкало любопытство; не меньшее удовольствие испытывала она, когда перед нею широко распахивались двери дорогих модисток, имена которых до сих лор она знала только по вывескам. Ведь в своей любви она главным образом искала вознаграждения за все печали и унижения юных лет.

Когда она возвращалась из театра или с ночной прогулки по Булонскому лесу, для нее не было большего удовольствия, как поужинать в Английском кафе, в атмосфере роскоши и порока. Из этих постоянных «экскурсий» она вынесла манеру говорить, держаться, рискованные песенки и покрой платьев, и в ее лице в буржуазную атмосферу старого торгового дома проник экстравагантный дух веселящегося продажного Парижа того времени.

На фабрике уже начинали что-то подозревать. Женщины из народа, даже самые бедные, живо разберутся в туалете! Когда около трех часов дня г-жа Рислер выходила из дому, пятьдесят пар зорких, завистливых глаз, притаившись за стеклами полировочных мастерских, провожали ее взглядом, проникая в ее преступную совесть сквозь черный бархатный доломан и лиф из сверкающего стекляруса.

Эта маленькая безумная головка не замечала, что все ее секреты бросались в глаза, как те яркие ленты, что развевались вокруг ее открытой

шеи, а ее ноги, обутые в изящные золотистые ботинки на десять пуговиц, рассказывали на ходу про все свои тайные похождения, про устланные коврами лестницы, по которым они поднимались, отправляясь ночью ужинать, про теплые меха, в которые их укутывали, когда карета катилась вокруг озера во мраке, прорезанном светом фонарей.

Работницы, посмеиваясь, шептались: «Поглядите-ка на эту красотку!.. Нечего сказать, хорош наряд для улицы!.. Уж, конечно, не к обедне она идет в таком виде… И подумать только, что еще каких-нибудь три года назад она каждое утро бегала в мастерскую в дешевеньком пальтишке, положив в карман на два су горячих каштанов, чтобы было теплее пальцам… А теперь, видите ли, мадам изволят кататься в карете!..» И в облаках талька, под треск печей, одинаково раскаленных и зимой и летом, не одна из этих девушек задумывалась о причудах судьбы, внезапно изменяющих жизнь женщины, и бедняжки мечтали о великолепном туманном будущем, которое — кто знает? — может быть, ожидает и их.

Все считали Рислера обманутым мужем. Двое рабочих из печатного цеха — завсегдатаи Фоли-Драматик — уверяли, что несколько раз видели в этом театре г-жу Рислер с каким-то мужчиной, прятавшимся в глубине ложи. Дядюшка Ахилл тоже рассказывал удивительные вещи… Что у Сидони есть любовник, что у нее, может быть, даже несколько любовников, — в этом никто больше не сомневался. Только никому еще не приходило в голову, что это мог быть Фромон-младший.

А между тем она и не старалась скрывать свои отношения с ним. Напротив, она, казалось, даже бравировала этим; возможно, именно это их и спасало. Сколько раз она бесцеремонно останавливала Жоржа на крыльце, чтобы условиться о вечернем свидании! Как часто заставляла его трепетать, когда, глядя на него в упор, обращалась к нему при всех как ни в чем не бывало. Но когда проходил первый страх, Жорж был признателен ей за эту смелость, приписывая ее страстной любви. Он ошибался.

Не признаваясь себе в этом, Сидони хотела только одного: чтобы, приоткрыв занавеску, их увидела Клер, чтобы в душу ей закралось подозрение… Для полного счастья ей недоставало только беспокойства соперницы. Но как она ни старалась, Клер Фромон ничего не замечала и жила, подобно Рислеру, в невозмутимом покое.

Только старый кассир Сигизмунд был по-настоящему озабочен. Но и он меньше всего думал о Сидони, когда, заложив перо за ухо, оставлял на минуту счета и задумчиво глядел сквозь решетку кассы на сырые дорожки садика. Он думал только о своем хозяине, о «господине Шорше», который брал теперь в кассе много денег на свои текущие расходы и вносил

путаницу в его книги. Каждый раз у него находился новый предлог. Подойдя к окошечку, он с развязным видом говорил:

— Не найдется ли у вас немного денег, милейший Планюс?.. Я вчера опять здорово проигрался, и мне бы не хотелось посылать в банк из-за такого пустяка…

Сигизмунд Планюс нехотя открывал кассу и выдавал требуемую сумму, с ужасом вспоминая, как однажды г-н Жорж, которому тогда не было еще и двадцати лет, явился к дяде и признался, что проиграл в карты несколько тысяч франков. С тех пор старик возненавидел клуб и проникся презрением ко всем его членам. И когда один богатый коммерсант, член этого клуба, пришел как-то раз на фабрику, кассир сказал со свойственной ему грубоватой прямотой:

— Черт бы побрал ваш клуб в Шато д О!.. За последние два месяца господин Жорж оставил у вас больше тридцати тысяч франков!

Тот рассмеялся.

— Вы ошибаетесь, господин Планюс… Вот уже по крайней мере месяца три, как мы в глаза не видали вашего патрона.

Кассир промолчал, но в мозгу у него засела страшная догадка, и весь день она не давала ему покоя.

Если Жорж не посещает клуба, то где же он проводит вечера? Где тратит столько денег? Несомненно, тут замешана женщина. И как только ему пришла в голову эта мысль, Сигизмунд Планюс всерьез испугался за свою кассу. Этот старый медведь из Бернского кантона, оставшийся на всю жизнь холостяком, смертельно боялся женщин вообще, а парижанок в особенности. Для очистки совести он счел долгом прежде всего предупредить Рислера. Сначала он сделал это как бы между прочим.

— Господин Шорш тратит много денег, — сказал он ему однажды.

Рислер и глазом не моргнул.

— Что же я могу сделать, старина?.. Это его право.

Добрый малый говорил то, что думал. В его глазах Фромон-младший был полным хозяином фирмы. Не хватало еще, чтобы он, Рислер, бывший рисовальщик, позволил себе делать ему замечания! Кассир не посмел больше заикаться об этом. Но вот однажды ему принесли из большого магазина счет на шесть тысяч франков за кашемировую шаль.

Он пошел к Жоржу в его рабочий кабинет.

— Прикажете уплатить, сударь?

Жорж Фромон слегка смутился. Сидони забыла предупредить его о новой покупке: она теперь совершенно не церемонилась с ним.

— Заплатите, заплатите, господин Планюс, — проговорил он в

некотором замешательстве и тут же прибавил:- Вы поставите расход в счет Фромона-младшего… Это мне дали поручение.

В тот вечер кассир Сигизмунд, зажигая лампочку, увидел проходившего по саду Рислера и постучал в окно.

— Это женщина, — сказал он ему чуть слышно. — Теперь у меня есть доказательство…

При ужасном слове «женщина» голос его задрожал от страха, теряясь в грохоте фабрики. Вокруг кипела работа, и гул ее в эту минуту казался несчастному кассиру зловещим. Ему представилось, что все эти машины, огромная труба, выбрасывающая клубы пара, множество рабочих различных специальностей — все это грохотало, двигалось и выбивалось из сил ради какого-то маленького, таинственного существа, одетого в бархат и украшенного драгоценностями.

Рислер только посмеялся и не поверил ему. Он давно уже знал слабость своего соотечественника видеть во всем пагубное влияние женщины. Но слова Плаиюса все же вспоминались ему иногда, особенно по вечерам, в минуты одиночества, когда Сидони, после долгих сборов уезжала с г-жой Добсон в театр и в квартире — едва исчезал за порогом ее длинный шлейф — становилось пусто. Горевшие перед зеркалами свечи, всюду разбросанные мелкие принадлежности туалета — все говорило об экстравагантных капризах и чрезмерных затратах. Рислер ничего этого не замечал. Но когда он слышал, как выезжает со двора экипаж Жоржа, его охватывало чувство беспокойства и неловкости при мысли о том, что этажом ниже г-жа Фромон проводит вечера в полном одиночестве. Бедная женщина! А что, если Планюс говорит правду? Что, если у Жоржа в городе есть другая семья?.. Нет! Это было бы ужасно!

И вот вместо того, чтобы сесть за работу, он тихонько спускался вниз, спрашивал, «можно ли видеть госпожу Шорш», и считал своим долгом побыть с нею.

Обычно девочка в это время уже спала, но ее маленький чепчик и голубые башмачки еще лежали у камина вместе с игрушками. Клер читала или работала. Подле нее молча сидела мать. Она всегда что-то терла или лихорадочно очищала от пыли, до изнеможения дула на крышку часов и десять раз подряд, с упорством начинающейся мании, нервным жестом перекладывала один и тот же предмет с места на место. Рислер был тоже не очень-то веселым собеседником, но это не мешало молодой женщине радушно принимать его. Она знала все, что говорили на фабрике про Сидони, и, хотя верила этому только наполовину, сердце ее сжималось при виде бедняги, которого жена так часто оставляла одного. В основе их

добрых отношений лежала взаимная жалость. И как трогательны были эти два покинутых существа, сочувствовавшие друг другу и старавшиеся друг друга развлечь!

Сидя у маленького, ярко освещенного столика посреди гостиной, Рислер чувствовал, как его мало-помалу охватывает приятное тепло, идущее от камина, и весь уют окружающей обстановки. Он видел мебель, которую знал уже лет двадцать, видел портрет своего прежнего хозяина… и его дорогая «мадам Шорш», склонившаяся над шитьем, казалась ему еще моложе и милее среди всех этих воспоминаний прошлого. Она то и дело вставала, чтобы посмотреть на спящего в соседней комнате ребенка, чье легкое дыхание доносилось до них в минуты молчания. Сам не зная почему, Рислер чувствовал, что ему здесь несравненно лучше и уютнее, чем дома, так как в иные дни его нарядная квартирка казалась ему базаром, проходным двором: двери то и дело открывались и закрывались, впуская и выпуская бесконечных гостей. Его дом — бивак, а здесь — настоящий семейный очаг. Заботливая рука всюду вносила порядок и изящество. Стулья, стоявшие полукругом, казалось, тихонько разговаривали между собою, огонь приятно потрескивал, а маленький чепчик крошки. Фромон хранил во всех складках голубых лент нежные улыбки и взгляды ребенка.

И в то время как Клер думала о том, что такой превосходный человек заслуживает лучшей подруги жизни, Рислер, вглядываясь в ее спокойное прекрасное лицо, в ее добрые, умные глаза, задавался вопросом, кто была та негодница, ради которой оставлял Жорж Фромон такую прелестную женщину.

VI. БАЛАНС

Дом старого Планюса в Монруже примыкал к дому, где жили некоторое время Шебы. Это был такой же двухэтажный домик в три окна, с таким же маленьким садиком, обнесенным решетчатым забором и обсаженным зеленым кустарником. Старый кассир жил здесь со своей сестрой. Он уезжал утром с первым омнибусом и возвращался к обеду, а по воскресеньям оставался дома и возился с цветами и курами. Его сестра вела хозяйство, стряпала, шила все необходимое для дома. Это была на редкость счастливая пара.

Холостяка и старую деву связывала ненависть к бра* ку. Сестра ненавидела всех мужчин, брат презирал всех женщин, но, несмотря на это, они обожали друг друга, считали друг друга исключением из того испорченного пола, к которому каждый из них принадлежал.

Говоря о брате, старая дева называла его: «Господин Планюс, братец», — он с такой же трогательной торжественностью вставлял в каждую фразу: «Мадемуазель Планюс, сестрица». Для этих робких, простодушных людей Париж, который они совершенно не знали, хотя и проезжали ежедневно по его улицам, был скопищем чудовищ обоего пола, стремящихся причинить друг другу как можно больше зла. И когда до них доходила какая — нибудь семейная драма или уличная сплетня, каждый, согласно своим взглядам, обвинял лицо другого пола.

— Виноват муж, — говорила «мадемуазель Планюс, сестрица».

— Виновата жена, — возражал «господин Планюс, братец».

— Ох, уж эти мужчины!..

— Ох, уж эти женщины!..

Это было постоянной темой их споров в те редкие часы досуга, которые выкраивал старый Сигизмунд из своего заполненного дня, разграфленного так же аккуратно, как его кассовые книги. С некоторого времени брат и сестра вносили особую горячность в свои споры. Они были сильно озабочены тем, что происходило на фабрике. Сестра жалела г-жу Фромон-младшую и порицала ее мужа за недостойное поведение, а Сигизмунд не находил достаточно язвительных слов для неизвестной бесстыдницы, направлявшей в кассу для оплаты счета за шеститысячные шали. Для него здесь дело шло о репутации и чести старинной фирмы, в которой он служил с молодых лет.

— Что только с нами будет? — постоянно говорил он. — Ох, уж эти

женщины!

Как-то вечером мадемуазель Планюс, сидя у камина с вязанием в руках, поджидала брата.

Уже с полчаса как накрыт был стол, и старую деву начинало беспокоить такое небывалое запоздание, как вдруг вошел Сигизмунд; он был очень взволнован и, против обыкновения, даже не поздоровался с сестрой.

Только после того, как дверь была плотно закрыта, он, видя недоумевающее, встревоженное лицо сестры, тихо сказал ей:

— Есть новости. Я знаю, кто та женщина, которая разоряет нас.

Затем предварительно окинув взглядом безмолвную мебель маленькой столовой, произнес еще тише такое странное, такое неожиданное имя, что мадемуазель Планюс заставила повторить его себе два раза.

— Может ли быть?

— Да, это так.

Несмотря на все огорчение, у него был чуть ли не торжествующий вид.

Старая дева отказывалась верить… Такая воспитанная, такая вежливая особа… Она так сердечно приняла ее тогда. Да как же это возможно?

— У меня есть доказательства, — заявил Сигизмунд Планюс.

И тут он рассказал ей, что как-то раз, в одиннадцать часов вечера, дядюшка Ахилл встретил Жоржа и Сидони, когда они входили в маленькую гостиницу в Монмартрском квартале. А этот человек не лжет; его знают с давних пор. Да и другие тоже встречали их. На фабрике только об этом и говорят. Один Рислер ничего не подозревает.

— Ваш долг предупредить его, — заметила мадемуазель Планюс.

Кассир задумался.

— Это очень щекотливый вопрос… Да и поверит ли он мне? Бывают слепые люди… К тому же, вмешиваясь в дела двух компаньонов, я рискую потерять место… Ох, женщины, женщины!.. И подумать только, что Рислер мог быть так счастлив! Когда он по моему вызову приехал сюда с братом, у него не было ни гроша за душой, а сейчас он стоит во главе одной из крупнейших парижских фирм… Вы, может быть, думали, что он на этом успокоится?.. Как бы не так!.. Ему понадобилось жениться. Как будто это так необходимо!.. И вдобавок жениться на парижанке, на одной из тех вертихвосток, которые разоряют солидные фирмы. А между тем у него перед глазами была славная девушка, почти одних лет с ним, его землячка, трудолюбивая, можно сказать, крепкого сложения!..

«Мадемуазель Планюс, сестрице», на сложение которой он намекал,

представлялся великолепный случай воскликнуть «Ох, уж эти мужчины!..», но она промолчала. Это был очень деликатный вопрос, и, может быть, в самом деле, если б Рислер в свое время захотел, он был бы единственным мужчиной…

Старый Сигизмунд продолжал: — И вот до чего мы дошли… Уже три месяца, как первая обойная фабрика в Париже висит на волоске по милости этого ничтожества. Деньги так и текут. Целый день я только и делаю, что открываю окошко кассы, чтобы удовлетворять требования господина Жоржа. Он всегда обращается ко мне; у его банкира это было бы слишком заметно, ну, а в кассе-то деньги всегда в движении… приходят, уходят… Но пусть подумает о балансе! Хорош будет годовой итог!.. И удивительнее всего то, что Рислер не желает ничего слышать. Я несколько раз предупреждал его: «Обрати внимание: господин Жорж идет на безумные траты ради этой женщины». А он только повернется и пойдет, пожав плечами, или же ответит, что это его не касается и что Фромон-младший — хозяин… Право, можно подумать… можно подумать…

Кассир не кончил фразы, но его молчание было многозначительно.

Старая дева была потрясена, но, как и большинство женщин в подобных случаях, она, вместо того чтобы искать средство помочь горю, стала строить всякие предположения, предавалась запоздалым жалобам и сожалениям… Какое несчастье, что они не знали этого раньше, когда Шебы были еще их соседями! Г-жа Шеб — такая почтенная особа!.. Можно было бы внушить ей, чтобы она следила за Сидони, поговорила бы с ней серьезно…

— А ведь это в самом деле счастливая мысль, — прервал сестру Сигизмунд. — Вам следовало бы съездить на улицу Майль к ее родителям и предупредить их. Сначала я хотел было написать Францу… Он всегда имел большое влияние на брата. Есть вещи, которые только он один и мог бы сказать ему. Но Франц далеко… Да и тяжело как-то прибегать к этому… Мне все-таки ужасно жаль несчастного Рислера… Нет, пожалуй, самое лучшее — предупредить госпожу Шеб. Возьмете вы это на себя, сестрица?

Поручение было щекотливое, и мадемуазель Планюс находилась в некотором затруднении. Но она никогда не позволяла себе противиться воле брата, а кроме того, ей хотелось быть полезной их старому другу Рислеру, и это заставило ее решиться.

Благодаря доброте зятя Шебу удалось осуществить свою новую затею. Вот уже три месяца, как он жил в своем знаменитом магазине на улице Майль. Весь квартал дивился на эту лавку без товаров, ставни которой открывались утром, а закрывались поздно вечером, как в больших оптовых

магазинах. В помещении устроили полки, новый прилавок, поставили несгораемый шкаф с секретным замком, большие весы. Словом, в распоряжении Шеба были все атрибуты для какой угодно торговли, но он все еще не знал, на чем остановить свой выбор.

Он думал об этом целыми днями, расхаживая взад и вперед по магазину, заставленному громоздкими вещами из их спальни, не поместившимися в комнате за лавкой; он думал об этом и на пороге двери, заложив перо за ухо и с наслаждением прислушиваясь к гулу парижской торговли. Приказчики, проходившие мимо со свертками образчиков под мышкой, ломовые телеги, омнибусы, носильщики, тачки, выгрузка товаров у соседних дверей, кипы материй и позумента, волочившиеся по грязи сточных канав, прежде чем попасть в подвалы, — черные, набитые богатством ямы, где таится зародыш благосостояния торговых домов, — все это приводило в восторг г-на Шеба.

Он любил угадывать содержимое тюков, был первым на месте происшествия, когда какой-нибудь из этих тюков падал на ноги прохожему или когда нетерпеливые, горячие ломовые лошади повертывали телегу так, что она становилась поперек улицы, затрудняя движение. Было у него и много других развлечений мелкого лавочника без покупателей: проливной дождь, уличные происшествия, кражи, споры…

К концу дня Шеб, оглушенный, отупевший, уставший от чужой работы, разваливался в кресле и, вытирая пот со лба, говорил жене:

— Вот жизнь, какой мне всегда недоставало… Кипучая, деятельная.

Г-жа Шеб, привыкшая к причудам мужа, снисходительно улыбалась в ответ. Она постаралась по возможности удобнее устроиться в помещении за лавкой, выходившем окнами на темный двор, и жила, утешаясь воспоминаниями о былом благосостоянии своих родителей и мыслями о богатстве дочери. Всегда опрятно одетая, она успела приобрести уважение поставщиков и соседей.

Большего она и не требовала. Главное, чтобы ее не смешивали с женами рабочих, хотя некоторые из них были богаче ее. Ей хотелось во что бы то ни стало поддержать престиж женщины, принадлежащей к буржуазному кругу. И она делала для этого все, что могла; ее комнатка за лавкой, где в три часа дня было темно, как ночью, блистала порядком и чистотой. Днем кровать складывалась, превращалась в диван, старая шаль служила скатертью, камин, заставленный ширмой, — буфетом, а на плите величиною с жаровню скромно приготовлялась пища. Покой — такова была единственная мечта бедной женщины, которую постоянно выбивали из колеи затеи ее неугомонного спутника жизни.

С первых же дней по указанию Шеба на свежевыкрашенной вывеске было выведено огромными буквами:

КОМИССИОНЕРСТВО. ЭКСПОРТ.

Специальность не была указана. Его соседи торговали тюлем, сукном, полотном; он готов был торговать всем, чем угодно, но пока все еще не мог ни на чем остановиться. Зато какие пространные рассуждения приходилось выслушивать г-же Шеб вечером, перед сном.

— Я ничего не смыслю в полотне, но за сукна ручаюсь. Только, если я за них возьмусь, мне понадобится разъездной агент, так как лучшие сорта производятся в Седане и Эльбефе. О цветных тканях нечего и говорить, на них спрос только летом. Торговать тюлем тоже нет смысла — сезон уже на исходе.

Чаще всего колебания Шеба кончались так.

— Утро вечера мудренее… Пора ложиться… — говорил он и, к великому облегчению жены, шел спать.

Несколько месяцев спустя Шеб заскучал. Вернулись головные боли и головокружение. Квартал оказался шумным, нездоровым. Да и дела не шли. Ничего не продавалось: ни сукно, ни другие материи — ничего.

И вот как раз в момент этого нового кризиса «мадемуазель Планюс, сестрица» явилась раскрыть им глаза на поведение Сидони.

Дорогой старая дева говорила себе: «Сначала нужно их подготовить…» Но, как и все робкие люди, она выложила все сразу, с первых же слов, едва успев войти.

Эффект получился необычайный. Услышав, что обвиняют ее дочь, г-жа Шеб в негодовании вскочила… Нет, она ни за что этому не поверит! Бедная Сидони — жертва гнусной клеветы.

Шеб обошелся с мадемуазель Планюс свысока. Он гордо вскидывал голову, сыпал громкими фразами, по обыкновению, все относя на свой счет. Как могли подумать, что его дитя, урожденная девица Шеб, дочь почтенного коммерсанта, уже тридцать лет известного в торговом мире, была способна на… оставьте, пожалуйста!

Мадемуазель Планюс стояла на своем… Ей совсем не хочется прослыть сплетницей и распространительницей дурных слухов, но у нее есть веские доказательства… Это уж больше ни для кого не секрет.

— А если бы и так!.. — раскричался Шеб, выведенный из себя ее настойчивостью. — Почему мы должны в это вмешиваться? Наша дочь замужем. Она живет отдельно… У нее есть муж… гораздо старше ее, — пусть он ее и наставляет, руководит ею… Он-то по крайней мере задумался над этим?

Тут маленький человечек начал поносить своего зятя, этого флегматичного швейцарца, который вечно торчит в конторе, изобретая какие-то механизмы, отказывается сопровождать в свет свою молодую жену, не оставляет привычек старого холостяка: трубку и пивную.

Надо было видеть, с каким аристократическим презрением произнес Шеб слово «пивную»… А между тем чуть ли не каждый вечер он встречался там с Рислером и осыпал его упреками, если тот почему-либо позволял себе не явиться.

За всей этой болтовней коммерсанта с улицы Майль — *Комиссионерство. Экспорт* — скрывалась определенная мысль. Желая избавиться от магазина, удалиться от дел, он решил повидать Сидони и заинтересовать ее своими новыми комбинациями. Стало быть, это был неподходящий момент для того, чтобы устраивать неприятные сцены, говорить о родительской власти и супружеской чести. Что касается г-жи Шеб, то, будучи теперь уже менее уверенной в непогрешимости дочери, она хранила глубокое молчание. Бедной женщине хотелось ничего не видеть, не слышать и не знать мадемуазель Планюс.

Ей пришлось много пережить, и теперь она старалась избегать всего, что могло бы нарушить ее покой, предпочитала оставаться в неведении. Жизнь и без того тяжела! К тому же Сидони всегда была честной девушкой, почему бы ей не быть честной женщиной?

Смеркалось.

Шеб важно поднялся, закрыл ставни магазина и зажег газовый рожок, осветивший голые стены, блестящие пустые полки, всю эту странную обстановку, очень напоминавшую ту, что бывает на другой день после банкротства. Твердо решив молчать, он презрительно сжал губы и всем своим видом, казалось, говорил старой деве: «Уже поздно… пора домой». А в комнате за лавкой, приготовляя ужин, громко рыдала г-жа Шеб.

На этом кончился визит мадемуазель Планюс.

. — Ну что? — бросился к сестре старый кассир, с нетерпением ожидавший ее возвращения.

— Они не поверили и вежливо выпроводили меня за дверь.

От обиды у нее даже слезы выступили на глазах.

Старик побагровел и, почтительно взяв ее за руку, торжественно произнес:

— Мадемуазель Планюс, сестрица! Прошу вас: простите меня за то, что я толкнул вас на этот шаг, но дело шло о чести фирмы Фромонов.

С этого дня Сигизмунд становился все мрачнее. Его касса перестала уже казаться ему надежной и прочной. Даже тогда, когда Фромон-младший

не просил у него денег, он все-таки чего-то боялся и выражал свои опасения двумя словами, не сходившими у него с языка в разговоре с сестрой:

— *Не* тоферяю!-говорил он со своим грубоватым акцентом.

Мысли о кассе не оставляли его ни на минуту. Ночью ему иногда снилось, что она треснула по всем швам и стоит открытая, несмотря на все замки и запоры; или же ему представлялось, что сильный порыв ветра разбросал документы, банковые билеты, чеки и ценные бумаги и он бегает по всей фабрике, выбиваясь из сил, чтобы их подобрать.

Днем, когда он в тиши конторы сидел за своей решеткой, ему казалось, что маленькая белая мышка забралась в денежный ящик и все грызет, все уничтожает, а сама становится все жирнее и краше, по мере того как подвигается ее разрушительная работа.

И когда среди дня на крыльце появлялась Сидони в своем ярком оперении кокотки, старый Сигизмунд дрожал от бешенства. Эта разряженная женщина с красивым самодовольным лицом, спешившая к ожидавшей ее у подъезда карете, была для него как бы олицетворением всех бедствий, постигших фирму.

Г-жа Рислер не подозревала, что там, за окном первого этажа, притаился вечный ее враг и следит за всеми ее действиями, за мельчайшими подробностями ее жизни: видит, как приходит и уходит учительница музыки, как появляется по утрам важная портниха, как проносят всевозможные картонки, видит форменную фуражку рассыльного из «Лувра»,[13] громоздкий фургон, который останавливается у подъезда со звоном бубенчиков, запряженный, словно дилижанс, дюжими лошадьми, неудержимо влекущими к банкротству торговый дом Фромонов.

Сигизмунд издали считал пакеты, взвешивал их на глаз, когда их проносили мимо, и старался разглядеть через открытые окна, что делается в квартире Рислеров. Ковры, которые с шумом вытряхивала прислуга, выставленные на солнце жардиньерки с чахлыми, редкими и дорогими цветами не по сезону, роскошные драпировки — ничто не ускользало от его взгляда.

Ему бросались в глаза новые приобретения, всегда совпадавшие с требованием крупной суммы денег.

Но особенно внимательно присматривался он к Рислеру.

По его мнению, эта женщина превратила его друга, лучшего, честнейшего из людей, в бессовестного мошенника. Не могло быть никакого сомнения в том, что Рислер знал о своем бесчестии и мирился с ним. Ему, разумеется, платили за то, чтобы он молчал.

Подобное предположение было, конечно, чудовищно. Но таково уж свойство чистых натур: столкнувшись со злом, дотоле им неведомым, они теряют чувство меры, хватают через край. Убедившись в измене Сидони и Жоржа, Сигизмунду было уже легче допустить мысль о низости Рислера. Иначе чем объяснить его беззаботное отношение к тратам компаньона?

Простак Сигизмунд, с его узкой рутинной честностью, не мог понять всю душевную деликатность Рислера. К тому же его бухгалтерской методичности, его коммерческой осторожности были чужды беспечность и рассеянность его друга — полуартиста, полу изобретателя. Он судил обо всем по себе и не способен был понять состояние человека, одержимого муками творчества, всецело поглощенного своей идеей. Такие люди все равно что лунатики. Они смотрят, ничего не видя, их взор обращен внутрь себя.

Но, по мнению Сигизмунда, Рислер видел все.

Эта мысль делала старого кассира глубоко несчастным. Он начал с того, что стал пристально вглядываться в своего друга, когда тот входил к нему в кассу, но скоро, сбитый с толку его невозмутимым спокойствием, которое он считал напускным, преднамеренным, маской, он взял себе за правило при появлении Рислера отворачиваться, принимался рыться в бумагах, чтобы только не встретиться взглядом с этими лживыми, как ему казалось, глазами, и, разговаривая с Рислером, старался смотреть на аллеи сада или на решетку кассы. И слова его тоже были неопределенны, уклончивы, как и его взгляд. Трудно было понять, к кому, собственно, он обращается.

Исчезла дружеская улыбка, прекратились воспоминания, которые они перебирали, бывало, вместе, сидя за кассовой книгой: «Вот в этом году ты поступил… твое первое повышение… Помнишь? В тот день мы обедали у Дуй… А вечером были в «Кафе слепых»… Эх, какая была пирушка!»

В конце концов Рислер заметил странное охлаждение к нему Сигизмунда. Он сказал об этом жене.

С некоторых пор Сидони сама чувствовала, что ее окружает атмосфера антипатии. Часто, проходя по двору, она испытывала неловкость под неприязненным взглядом старого кассира, заставлявшим ее нервно оборачиваться к его окну. Услышав о размолвке между друзьями, она испугалась и поспешила принять меры, чтобы предостеречь мужа от наговоров Планюса.

— Неужели вы не видите, что он завидует вам, вашему положению?.. Его бесит, что прежний ровня стал его начальником. Но стоит ли обращать внимание на подобное недоброжелательство? Да что там говорить: я… я

окружена недоброжелательством!

Рислер вытаращил свои большие глаза.

— Ты?

— Ну да, понятно… Все эти люди ненавидят меня. Они не могут простить дочери Шеба, что она стала госпожой Рислер-старшей. Одному богу известно, сколько гнусностей говорится обо мне… И ваш кассир тоже болтает не хуже других, могу вас уверить… Какой злой человек!

Слова жены возымели желаемое действие. Рислер был возмущен, но, слишком гордый, чтобы пойти на объяснение, стал отвечать на холодность холодностью. Этим славным людям, не доверявшим друг другу, стало так мучительно встречаться, что в конце концов Рислер совсем перестал заходить в кассу. В этом, впрочем, не было особой необходимости, так как всеми денежными делами ведал Фромон-младший. А причитающиеся за месяц деньги ему каждое тридцатое число приносили домой. Для Жоржа и Сидони это было большим удобством и давало им лишнюю возможность обделывать их гнусные делишки.

Как раз в это время Сидони была занята расширением программы роскошной жизни. Ей недоставало еще собственной дачи. В сущности, она терпеть не могла деревья, поля и проселочные дороги с их несносной пылью. «Что может быть отвратительнее!» — говорила она. Но Клер Фромон проводила лето в Савиньи. С наступлением теплых дней в первом этаже укладывали чемоданы, снимали занавески, и большая ломовая телега, на которой покачивалась голубая детская колыбелька, трогалась в путь к дедовскому замку. Затем, в одно прекрасное утро, мать, бабушка, ребенок и кормилица — целый ворох белой материи и легких вуалей — в парном экипаже мчались к залитым солнцем лужайкам и мягкой тени буковых аллей.

Париж в это время года становился безлюдным, непривлекательным. И хотя Сидони любила его даже в летнюю пору, когда он накалялся, как доменная печь, она не могла спокойно думать о том, что все богатые элегантные женщины Парижа гуляют по пляжу под светлыми зонтиками, пользуясь этими поездками, как предлогом, чтобы щегольнуть новыми выдумками и оригинальными рискованными модами, позволяющими выставить хорошенькую ножку, показать длинные, вьющиеся от природы волосы…

Но о морских купаниях нечего было и думать: Рислер не мог отлучиться с фабрики.

Купить дачу? На это у них еще не было средств.

Правда, под рукой был любовник; он с радостью исполнил бы и этот

новый каприз, но дачу ведь не скроешь, как браслет или кашемировую шаль. Надо было устроить так, чтобы это исходило от мужа. Задача нелегкая, но все-таки можно было попытаться.

Чтобы подготовить почву, она без конца говорила Рислеру о небольшом загородном участке, не очень дорогом и расположенном совсем близко от Парижа. Рислер слушал ее, улыбаясь. Он уже видел перед собою высокую траву, фруктовый сад, полный чудесных плодов… его уже мучила жажда собственности, порождаемая богатством. Но он был благоразумен и отвечал неизменно одно и то же:

— Посмотрим… Посмотрим… Подождем конца года. Конца года, то есть баланса.

Баланс!

Магическое слово… Целый год суетишься, кружишься в водовороте дел. Деньги приходят, уходят, делают оборот, привлекают другие деньги, рассеиваются, и капитал фирмы, точно блестящий уж — неуловимый, вечно движущийся уж, — удлиняется, укорачивается, уменьшается или увеличивается, и невозможно составить понятие о размерах его, прежде чем он не придет в спокойное состояние. Только баланс выяснит истинное положение вещей и покажет, действительно ли год был так удачен, как это казалось.

Обычно годовой баланс составляется в конце декабря, ближе к рождеству или Новому году. Он требует дополнительных часов работы, так что часто приходится засиживаться до поздней ночи. Вся фабрика на ногах. В конторе еще долго после ее закрытия горят лампы, как бы принимая участие в праздничном настроении, оживляющем последнюю неделю года, когда всюду за освещенными окнами происходят семейные сборища. Все вплоть до самого мелкого служащего заинтересованы в результате баланса. Прибавка жалованья, новогодние награды — все зависит от этой счастливой цифры. И пока в конторе обсуждаются крупные доходы богатой фабрики, на пятых этажах и в маленьких квартирках предместья жены, дети и престарелые родители служащих тоже говорят о балансе, результат которого либо заставит их удвоить экономию, либо даст возможность благодаря полученной награде осуществить какую-нибудь долго откладываемую покупку.

В дни составления годового отчета в торговом доме «Фромон-младший и Рислер-старший» Сигизмунд Планюс — бог, а решетка его кассы — святилище, служащие, все как один, бодрствуют.

В тиши уснувшей фабрики с громким шуршаньем переворачиваются плотные страницы приходо-расходных книг; громко называются имена,

требующие справок в других книгах. Скрипят перья. У старого кассира, окруженного помощниками, озабоченный, грозный вид. Время от времени, направляясь к ожидающему его экипажу, заходит Фромон-младший, с сигарой в зубах, в перчатках, готовый к отъезду. Он ступает медленно, на цыпочках и, нагнувшись к окошку, спрашивает:

— Ну как?.. Подвигается?

Сигизмунд что-то брюзжит в ответ, и молодой хозяин уходит, не смея больше расспрашивать. По лицу кассира он догадывается, что результаты будут неутешительные.

И в самом деле, никогда еще, со времен революции, когда бои шли на фабричных дворах, в торговом доме Фромонов не видано было такого плачевного баланса. Общие расходы поглотили все; кроме того, Фромон-младший задолжал кассе значительную сумму. Нужно было видеть убитую физиономию старого Планюса, когда 31 декабря он поднялся к Жоржу отдать отчет в своих операциях.

Тот принял сообщение очень весело. Со временем все наладится, успокаивал он кассира. И чтобы привести его в хорошее расположение духа, он выдал ему необычную награду в тысячу франков вместо пятисот, как это делал прежде его дядя. Эта великодушная щедрость распространилась на всех служащих, и среди общего удовлетворения быстро забылся плачевный результат годового баланса. Что касается Рислера, то Жорж взялся сам ознакомить его с положением дел.

Когда он вошел в рабочую комнату своего компаньона, освещенную сверху светом из мастерской, падавшим прямо на погруженного в размышления изобретателя, Фромон-младший на минуту заколебался: он почувствовал стыд и угрызения совести.

Услышав скрип двери, Рислер радостно обернулся:

— Шорш, Шорш, друг мой!.. Я поймал наконец нашу *Машину*… Осталось только продумать кое-какие мелочи. Но это уже пустяки! Теперь я уверен в успехе… Вы увидите… увидите… Теперь Прошассонам крышка… С *Машиной Рислера* нам не страшна никакая конкуренция.

— Браво, приятель! — ответил Фромон-младший. — Но это в будущем, а подумали ли вы о настоящем? О балансе?

— Ах, да!.. Я и забыл… Дела, конечно, не блестящи?.. — проговорил он, глядя в упор на слегка взволнованного и смущенного Жоржа.

— Напротив, именно блестящи, — ответил тот. — Мы можем быть вполне удовлетворены… Особенно для первого года… На каждого из нас приходится по сорок тысяч франков прибыли. Я подумал, что вам, может быть, понадобятся деньги для новогоднего подарка жене…

Не смея посмотреть в лицо этому честному человеку, которого он обманывал, Жорж положил на стол пачку чеков и банковых билетов.

Рислер расчувствовался. Столько денег сразу ему, ему одному! Он тут же подумал о великодушии Фромонов, сделавших из него то, чем он был теперь, а затем и о своей Сидони и о ее заветном желании, которое можно будет теперь осуществить.

Улыбаясь, со слезами на глазах, он протянул обе руки своему компаньону.

— Я счастлив… Я счастлив…

Это свое любимое словечко он употреблял во всех важных случаях жизни. Затем, указывая на лежавшие перед ним пачки банковых билетов — тонкие, шелестящие, вот-вот готовые разлететься бумажки, — он с сияющим видом сказал:

— Знаете, что это такое?.. Это дача Сидони.

Однако, черт возьми!..

VII ПИСЬМО

Исмаилия (Египет)

Г-ну Францу Рислеру, инженеру французской компании

Франц, мой мальчик! Тебе пишет старый Сигизмунд. Если бы я умел лучше излагать на бумаге свои мысли, я бы многое тебе рассказал. Но этот проклятый французский язык слишком для меня труден, и притом без цифр Сигизмунд Планюс ничего не стоит. А потому я кратко скажу тебе, в чем дело.

Нехорошие вещи творятся в доме твоего брата. Эта женщина изменяет ему с его компаньоном. Она сделала своего мужа посмешищем, и если так будет продолжаться, он еще прослывет и негодяем… Послушай меня, дорогой Франц: приезжай немедленно! Ты один можешь поговорить с Рислером и открыть ему глаза на Сидони. Никому другому он не поверит. Скорее бери отпуск и приезжай.

Я знаю, что ты там зарабатываешь себе кусок хлеба, устраиваешь свою будущность, но порядочный человек должен прежде всего думать о добром имени, которое дали ему родители. Так вот, если ты не приедешь немедленно, то имя Рислера будет покрыто таким позором, что ты не посмеешь больше носить его.

Кассир Сигизмунд Планюс.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. СУДЬЯ

Для людей, живущих взаперти и прикованных работой или увечьем к своему окошку, для людей, чей горизонт ограничен стенами и крышами соседних домов, каждый прохожий представляет особый интерес.

Будучи неподвижными, эти затворники как бы врастают в жизнь улицы, и деловые люди, идущие мимо них иногда ежедневно в один и тот же час, не подозревают даже, что являются своего рода регулятором для каких-то других существ, что их постоянно подстерегают дружеские глаза, которые сразу же замечают их отсутствие, если им случается пойти другой дорогой.

Дамы Делобель, проводившие целые дни дома, тоже занимались такими безмолвными наблюдениями. Окно у них было узкое, и мать, глаза которой начали портиться от непрерывной работы, садилась поближе к свету, у приподнятой кисейной занавески; чуть подальше стояло большое кресло дочери. Мать называла ей всех, кто проходил за день. Это служило им развлечением, темой для разговора, и долгие часы работы, от которой их отвлекало появление — через определенные промежутки времени — знакомых, занятых, как и они, людей, казались менее томительными. Были тут две маленькие девочки-сестрички, господин в сером пальто, мальчик, которого провожали в школу и из школы домой, и старый чиновник с деревянной ногой, зловеще стучавшей по тротуару.

Правда, этого чиновника с трудом можно было разглядеть — он проходил, когда было уже темно, — но его было слышно, и каждый раз стук его деревяшки долетал до маленькой хромоножки, как жестокое эхо самых печальных ее размышлении. Все эти уличные друзья, сами того не подозревая, занимали воображение обеих женщин. Если шел дождь, мать и дочь беспокоились: «Они промокнут… Успеет ли ребенок вернуться домой до ливня?» А при смене времен года — в зависимости от того, освещало мокрые тротуары яркое мартовское солнце или декабрьский снег покрывал их белой пеленой, оставляя кое-где черные проталины, — затворницы, заметив новую одежду на одном из своих друзей, думали: «Вот и лето». Или же: «Пришла зима».

Как-то в конце мая, в одни из тех светлых, теплых вечеров, когда в открытые окна врывается жизнь улицы, Дезире с матерью, сидя на своих обычных местах, усердно шили, пользуясь последними лучами угасающего дня, прежде чем зажечь лампу.

Слышны были крики детей, игравших во дворах, приглушенные звуки рояля да голос уличного торговца, толкавшего полупустую тележку. В воздухе чувствовалась весна, тянуло слабым ароматом гиацинтов в сирени.

Г-жа Делобель отложила работу и, прежде чем закрыть окно, облокотилась на подоконник, прислушиваясь к гулу большого трудового города, выбросившего на улицы толпы людей, счастливых, что кончился рабочий день. Не оборачиваясь, она время от времени делилась впечатлениями с дочерью:

— А вот и господин Сигизмунд. Что это он сегодня так рано уходит с фабрики?.. Или, может быть, это так кажется оттого, что дни стали длиннее, но все-таки, по-моему, нет еще семи часов… А с кем это идет старый кассир? — Странно!.. Как будто… Ну да!.. Как будто с господином Францем… Но ведь это невозможно!.. Франц сейчас так далеко отсюда!.. И у него не было бороды… А все же он очень похож на него… Посмотри-ка, дочка!

Но дочка не встала с кресла, она даже не пошевельнулась. Устремив глаза вдаль, с поднятой вверх иглой, она застыла в прелестной позе труженицы, перенеслась в волшебную страну, в тот чудесный край, куда можно отправиться без опасений, не боясь никакого увечья. Имя Франца, машинально произнесенное матерью из-за случайного сходства, открыло Дезире мир недавнего прошлого с его иллюзиями и радостными надеждами, мимолетными, как тот румянец, что заливал ее щеки, когда, бывало, вечером, возвращаясь домой, Франц заходил на минутку поговорить с ней. Как далеко все это! И подумать только, что он жил когда-то в маленькой комнатке рядом, что она слышала, как он поднимался по лестнице, как пододвигал к окну стол, собираясь рисовать! Как больно и вместе с тем как сладостно было ей слушать, когда он, сидя на низеньком стульчике у ее ног, говорил о Сидони, в то время как она насаживала на проволоку мушек и птичек!

Не прерывая работы, она ободряла, утешала его: ведь Сидони причиняла бедному Францу много мелких огорчений, прежде чем причинить большое горе. Звук его голоса, когда он говорил о другой, блеск его глаз при воспоминании о той очаровывали ее, несмотря ни на что. И когда он, полный отчаяния, уехал, он оставил любовь более сильную, чем та, которую увозил с собой, любовь, которую однообразие обстановки и затворническая жизнь сохранят нетронутой со всем ее горьким ароматом, тогда как его чувство мало-помалу рассеется и улетучится под открытым небом больших дорог.

…Вот уже и совсем стемнело. Сумрак теплого, тихого вечера навевает

на бедную девушку бесконечную грусть. Сияние счастливого прошлого меркнет перед ней, как полоска света в узкой амбразуре окна, на которое облокотилась ее мать.

Вдруг дверь отворяется… Кто-то стоит на пороге, но лицо вошедшего нельзя разглядеть. Кто бы это мог быть? К дамам Делобель никто не приходит в гости. Обернувшись, мать подумала сначала, что это пришли из магазина за работой.

— Мой муж только что пошел к вам, сударь… У нас больше ничего нет. Господин Делобель захватил с собою все, что было.

Вошедший молча делает несколько шагов вперед, и, по мере того как он приближается к окну, вырисовывается его силуэт. Это высокий, крепкий малый с загорелым лицом, с густой светлой бородой.

— Так вы не узнаете меня, госпожа Делобель? — произносит он громким голосом, с довольно резким акцентом.

_ А я сразу узнала вас, господин Франц, говорит Дезире очень спокойно, холодным, вежливым тоном.

_ Боже милостивый! Да это господин Франц!

Мамаша Делобель бежит за лампой, зажигает ее, закрывает окно.

_ Так это вы, дорогой Франц?.. — Как спокойно произносит она: «Я вас сразу же узнала…» Ледышка!.. Она всегда такой останется.

И правда, настоящая ледышка, бледная, бледная… И рука ее в руке Франца лежит совсем белая и холодная.

Он находит, что она похорошела, черты ее лица утончились.

Она находит, что он, как всегда, великолепен, а выражение усталости и грусти, притаившееся в глубине его глаз, делает его более возмужалым, чем он был до отъезда.

Его усталость — от поспешного путешествия, в которое он пустился сразу по получении ужасного письма Сигизмунда. Подгоняемый словом «бесчестие», он выехал немедленно, не дожидаясь отпуска, рискуя своей карьерой и должностью. Пересаживаясь с пароходов в поезда, он остановился только в Париже. Есть отчего устать, особенно когда торопишься приехать и нетерпеливая мысль, не давая покоя, десятки раз проделывает этот путь, терзаемая сомнениями, ужасом и недоумением.

Его грусть более давнего происхождения. Она ведет начало с того дня, когда та, которую он любил, отказалась выйти за него, чтобы через полгода стать женою его брата. Два страшных удара один за другим, и второй еще тяжелее первого. Правда, прежде чем вступить в брак, Рислер написал ему, как бы прося у него позволения быть счастливым, и все это в таких трогательных, нежных выражениях, что сила нанесенного удара была

несколько смягчена, а затем перемена обстановки, работа, долгие путешествия рассеяли постепенно его горе. Осталась лишь глубокая грусть, если только ненависть и гнев, которые вызывает сейчас в нем эта женщина, позорящая его брата, не являются отголоском его прежней любви.

Но нет! Франц Рислер думает только о том, чтобы отомстить за честь Рнслеров. Он явился как судья, а не как влюбленный, и пусть Сидони поостережется!

Выйдя из вагона, судья отправился прямо на фабрику в расчете на то, что его неожиданное, внезапное появление даст ему возможность с первого же взгляда разобраться в том, что происходит.

К сожалению, он никого не застал.

Ставни маленького особняка в глубин; сада были уже две недели как закрыты.

Дядюшка Ахилл сообщил ему, что дамы живут на своих дачах и что оба компаньона ездят к ним туда каждый вечер.

Фромон-младший уехал с фабрики очень рано; Рислер-старший только что ушел.

Франц решил поговорить со старым Сигизмундом. Но была суббота — день выплаты жалованья, — и ему пришлось ждать, пока разойдется длинная очередь рабочих, растянувшаяся от будки Ахилла до окошка кассы.

Несмотря на всю его грусть и нетерпение, славному малому, жившему с самого детства жизнью парижских рабочих, было приятно вновь очутиться среди этой оживленной толпы с ее особыми нравами. На всех лицах — как честных, так и порочных — была написана радость от сознания, что неделя кончилась. Чувствовалось, что воскресенье начинается для них в субботу, в семь часов вечера, перед маленькой лампочкой кассира.

Надо пожить в фабричной обстановке, чтобы понять всю прелесть и всю торжественность этого однодневного отдыха. Многие из этих бедняг, прикованных к нездоровому труду, ждут благословенного воскресенья, как глотка чистого воздуха, необходимого для их здоровья и жизни! И сколько тут радости, сколько непосредственного веселья! Кажется, что гнет недельной работы рассеивается вместе с паром машин, который со свистом вырывается наружу.

Рабочие отходили от окошка кассы, считая деньги, блестевшие в их почерневших руках. Тут были и недовольство, и ропот, и претензии; говорили о прогулах, о деньгах, взятых вперед; сквозь звон монет слышался спокойный, неумолимый голос Сигизмунда, свирепо

защищавшего интересы хозяев.

Францу были хорошо известны все драмы, связанные с получкой, он улавливал, когда интонации были искренни, когда фальшивы. Знал, что один требует денег ради семьи, чтобы заплатить булочнику, аптекарю или за обучение детей; другой — на кабак или еще того хуже. Знал, чего ждали печальные, унылые тени, сновавшие взад и вперед мимо ворот фабрики и бросавшие пристальные взгляды в глубь двора; знал, что все они подстерегали кто отца, кто мужа, чтобы, ворча и уговаривая, отвести их скорее домой.

Босоногие ребятишки, грудные младенцы, завернутые в старые шали, неряшливые женщины, чьи заплаканные лица были под цвет их чепцов…

Скрытый порок, рыскающий вокруг получки; притоны, зажигающие свои огни в глубине темных улиц; мутные окна кабаков, где тысячи алкогольных ядов переливаются своими предательскими красками…

Франц знал все эти мрачные стороны жизни парижского люда, но никогда еще не казались они ему такими ужасными, зловещими, как в этот вечер.

Наконец выплата кончилась, и Сигизмунд вышел из конторы.

Друзья бросились друг к другу, обнялись, и в тиши остановившейся на сутки фабрики, умолкнувшей и опустевшей, кассир рассказал Францу обо всем. Рассказал о поведении Сидони, о ее безумных тратах, о навеки погубленной чести семейного очага. Рислеры недавно купили дачу в Аньере, принадлежавшую какой-то актрисе, и устроились там со всеми удобствами. У них теперь лошади, экипажи, они живут на широкую ногу. Но что больше всего беспокоило Сигизмунда, так это необычная умеренность Фромона. С некоторых пор он почти не брал денег в кассе, а между тем Сидони тратила больше, чем когда-либо.

— *Не тоферяю,* — говорил несчастный кассир, качая головой, — не *тоферяю!* — И, понизив голос, прибавлял: — Но твой брат-то, Франц, твой брат? Как объяснить его поведение? Он ходит как ни в чем не бывало, заложив руки в карманы, и только и думает что о своем знаменитом изобретении, а оно, к сожалению, не так-то быстро подвигается… Знаешь, что я тебе скажу?.. По-моему, он или негодяй, или простофиля.

Продолжая разговаривать, они ходили взад и вперед по садику, то останавливаясь, то возобновляя прогулку. Францу казалось, что он видит дурной сон. Быстрота путешествия, резкая перемена места и климата, непрерывный поток слов Сигизмунда, необходимость составить себе новое мнение о Рислере и Сидони, о той Сидони, которую он так любил когда-то, — все это ошеломило его, сводило с ума.

Было уже поздно. Надвигалась ночь. Сигизмунд предложил ему переночевать у него в Монруже, но Франц отказался, ссылаясь на усталость, и, оставшись один в Маре, в этот сумеречный, печальный час, когда день уже окончен, а газ еще не зажжен, машинально направился к своей прежней квартире на улице Брак.

На входной двери висела записка: Сдается комната для одинокого.

Это была та самая комната, где он так долго жил с братом. Он узнал географическую карту, приколотую к стене четырьмя булавками, окно площадки и маленькую вывеску у дверей квартиры Делобель: *Птички и мушки для отделки.*

Их дверь была приоткрыта, и, чтобы войти, ему достаточно было толкнуть ее.

Конечно, во всем Париже не было более надежного убежища, лучшего уголка, где он мог бы приютить и успокоить свою взволнованную душу, чем эта квартирка с ее неизменно трудовой обстановкой. Сейчас, когда он был так потрясен, когда жизнь его была выбита из колеи, она являлась для него как бы гаванью с глубокими, спокойными водами, мирной, залитой солнцем набережной, где женщины работают в ожидании мужей и отцов, в то время как на море ревет ветер и бушуют волны. А главное-он смутно чувствовал это, — здесь его ждала верная привязанность, та чудодейственная нежность, которая делает для нас ценной любовь другого существа, если даже мы и не любим его.

Эта милая ледышка Дезире так любила его! Он видел, как блестели ее глаза, когда она говорила с ним даже о самых безразличных вещах. Она была пронизана любовью к нему, каждое произносимое ею слово озаряло счастьем ее хорошенькое, повеселевшее личико, и вся она светилась, как светится пропитанный фосфором предмет. Каким это было для него чудесным отдыхом после жестоких речей Сигизмунда!

Они оживленно беседовали, а г-жа Делобель тем временем накрывала на стол.

— Вы ведь пообедаете с нами, господин Франц?.. Отец понес работу, но он непременно вернется к обеду.

Он непременно вернется к обеду!..

Бедная женщина говорила это не без гордости.

Действительно, со времени своего неудачного директорства Делобель всегда обедал дома, даже в дни, когда ходил за получкой для жены и дочери. Злосчастный директор столько раз ел в кредит в своем ресторане, что не смел там больше показаться. Зато по субботам он неизменно приводил с собой двух или трех голодных и нежданных сотрапезников,

«старых товарищей», «неудачников». В этот вечер он тоже явился в сопровождении двух актеров без ангажемента: комика из Анжерского театра и актера из Меца на амплуа финансистов.

Комик, бритый, весь в морщинах, словно иссушенный огнями рампы, имел вид старого жуира; «финансист», обутый в домашние туфли, блистал полным отсутствием белья. Делобель, едва переступив порог, стал торжественно докладывать о них, но, увидев Франца Рислера, бросился к нему.

— Франц!.. Мой милый Франц!.. — воскликнул старый комедиант мелодраматическим голосом, судорожно всплескивая руками; затем, после долгого театрального объятия, представил друг другу своих гостей.

— Господин Робрикар из Мецского театра…

— Господин Шандезан из Анжерского театра…

— Франц Рислер, инженер.

В устах Делобеля слово «инженер» вырастало во что — то грандиозное.

При виде друзей отца Дезире состроила милую гримаску. Так хорошо было бы провести в тесном семейном кругу такой день, как сегодня!.. Но великий человек меньше всего думал об этом. Он спешил разгрузить свои карманы. В первую очередь он извлек оттуда великолепный пирог. «Для дам», — сказал он, забывая, что сам обожает его. Потом появился омар, затем арльская колбаса, засахаренные каштаны, вишни, первые вишни.

В то время как «финансист» в восторге от предстоящего обеда поправлял воротничок несуществующей рубашки, а комик жестом, уже лет десять как забытым парижанами, приветствовал предстоящую пирушку, Дезире, глядя, как озабоченная мамаша Делобель шарит в буфете в поисках необходимого количества приборов, с ужасом думала о том, какую огромную брешь образует в их скудном недельном бюджете это импровизированное пиршество.

Обед проходил очень весело. Актеры уплетали за обе щеки, к великому удовольствию Делобеля, перебиравшего с ними старые театральные воспоминания. Что может быть печальнее?.. Представьте себе рухнувшие подпорки кулис, потухшие лампочки и целый ворох заплесневелой, рассыпающейся в прах бутафории…

Пользуясь каким-то грубым, фамильярным жаргоном, обращаясь друг к другу на «ты», они вспоминали свои бесконечные успехи. Послушать их — так всех троих без конца вызывали, забрасывали венками, превозносили до небес!

Не переставая болтать, они ели, как едят актеры на сцене: сидя

вполоборота, как бы лицом к публике, с неестественной торопливостью театральных гостей за бутафорским ужином, с той же манерой чередовать глотки вина со словами, стараясь как можно эффектнее поставить стакан на стол, пододвинуть стул, выразить при помощи искусных движений ножа и вилки интерес, удивление, радость, ужас или неожиданность. Мамаша Делобель слушала их улыбаясь.

Будучи тридцать лет женою артиста, поневоле привыкаешь ко всем странностям этой среды.

Но один уголок стола был отделен от остальных гостей точно завесой, не пропускавшей глупых слов, грубого смеха, хвастливых речей. Франц и Дезире беседовали вполголоса, не слыша того, что говорилось вокруг них. Случаи из детства, эпизоды из их соседской жизни, все туманное прошлое, только тем и ценное, что оно воскрешало общие воспоминания и зажигало одинаковым блеском глаза, составляли содержание их дружеской беседы.

Но вдруг завеса разорвалась, и громовой голос Делобеля прервал их разговор.

— Ты не видел брата? — обратился он к Францу, чтобы не показалось, будто он уделяет ему слишком мало внимания. — И жену его тоже не видел?.. Посмотришь, какой она стала важной дамой. Какие туалеты, мой милый, какой шик! Об остальном уже не говорю. У них настоящий замок в Аньере. Шебы тоже там… Все это, мой друг, отдаляет нас. Они теперь богаты и пренебрегают старыми друзьями. Никогда не напишут, не зайдут… Мне-то, понимаешь, наплевать, но моим дамам обидно…

— Папа! — живо перебила Дезире. — Вы хорошо знаете, как мы любим Сидони, и мы вовсе не сердимся на нее.

Актер сердито ударил кулаком по столу.

— Ну и напрасно!.. Нечего прощать людям, которые всячески стараются оскорбить и унизить вас.

Он все еще не мог забыть, что ему отказали в деньгах на его театр, и не скрывал своего возмущения.

— Если б ты только знал, — продолжал он, обращаясь к Францу, — если бы ты только знал, как там сорят деньгами! Просто жалость смотреть… И ничего основательного, ничего разумного… Ну, вот хотя бы такой пример: я попросил у твоего брата небольшую сумму, она устроила бы мою будущность, а ему обеспечила бы значительный доход… Он наотрез отказал мне! Еще бы! У мадам слишком большие требования, черт возьми! Она катается верхом, ездит в коляске на скачки и правит мужем не хуже, чем своим кабриолетом на Аньерской набережной… Между нами говоря, я не думаю, чтобы наш славный Рислер был очень счастлив. Эта

дамочка задает ему перцу…

Кончив свою тираду, бывший актер подмигнул комику и «финансисту», и с минуту все трое обменивались улыбочками, гримасами и разными восклицаниями вроде: «Ого! Ого!», «Гм! Гм» — словом, разыграли целую пантомиму, раскрывающую их тайные мысли.

Франц был потрясен. Помимо его воли ужасная действительность наступала на него со всех сторон. Сигиэмунд говорил по-своему, Делобель — по-своему, но все сводилось к одному и тому же.

К счастью, обед кончился. Все три актера встали из-за стола и отправились в пивную на улице Блондель. Франц остался в обществе двух женщин.

Видя его здесь, около себя, такого ласкового и нежного, Дезире почувствовала вдруг прилив глубокой благодарности к Сидони. Она подумала, что в конце концов только великодушию Сидони обязана она этим подобием счастья, и эта мысль побудила ее горячо выступить в защиту бывшей подруги.

— Видите ли, господин Франц, не следует верить всему, что папа рассказывал про вашу невестку. Наш милый папа всегда немножко преувеличивает. Я хорошо знаю, что Сидони не способна на все те низости, в которых ее обвиняют. Я уверена, что в душе она не изменилась и по-прежнему любит своих друзей, хотя и пренебрегает ими немного… Но такова жизнь. Иногда разлучаются, сами того не желая. Не так ли, господин Франц?

Какой хорошенькой казалась она ему сейчас! Никогда прежде не замечал он, какие у нее тонкие черты, какой нежный цвет лица. И когда Франц Рислер в этот вечер ушел, растроганный горячностью, с какой Дезире защищала Сидони, приводя очаровательные, чисто женские доводы в оправдание молчания и невнимательности подруги, он с наивным и эгоистическим удовольствием думал о том, что эта девушка когда-то любила его, что, быть может, любит его и до сих пор и сохранила для него в глубине сердца то теплое, хорошо защищенное местечко, где можно укрыться, если тебя обидела жизнь.

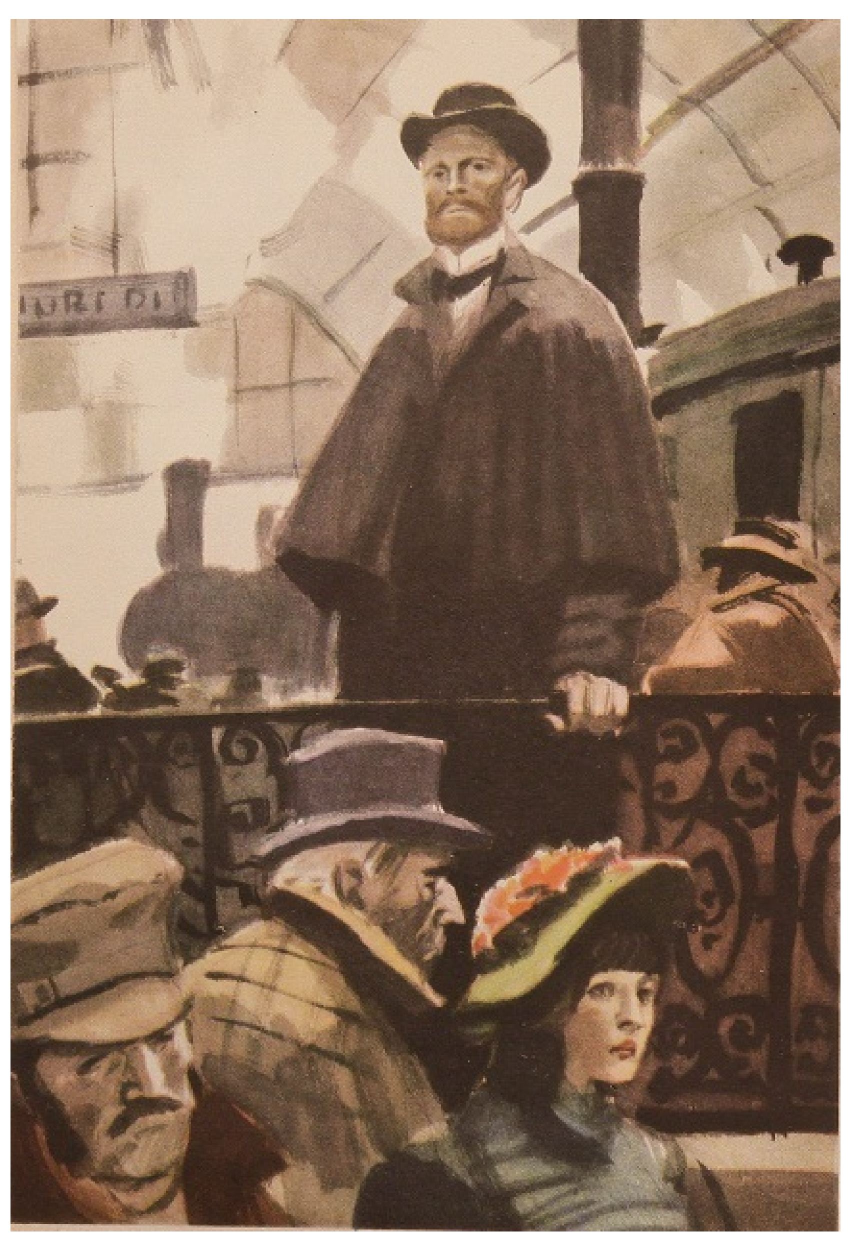
Убаюкиваемый в своей прежней комнате дорожной качкой, шумом волн и порывистого ветра, он всю ночь вновь переживал во сне дни своей молодости, видел маленькую Шеб, Дезире Делобель, их игры, занятия, видел Училище гражданских инженеров, высокие мрачные здания которого спали сейчас так близко от него на темных улицах Маре…



А когда настало утро и свет, падавший из окон без занавесок, ударил ему в глаза, призывая к дневным делам и обязанностям, ему начало сниться, что пора идти в школу, что его брат перед уходом на фабрику приоткрывает дверь и кричит:

— Ну ты, лентяй, вставай!

Этот добрый, ласковый голос, слишком живой и реальный для сновидения, заставил его окончательно проснуться.



У его кровати стоял Рислер и с трогательной, слегка смущенной улыбкой ждал его пробуждения. Лучшим подтверждением того, что это был действительно Рислер, служило то, что от радости вновь увидеть брата он не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Я счастлив..; Я счастлив.!.

Несмотря на воскресный день, Рислер по обыкновению явился на фабрику, желая воспользоваться тишиной и покоем, чтобы поработать над своей печатной машиной. Не успел он прийти, как Ахилл сообщил ему, что приехал его брат и остановился на улице Брак. И вот он прибежал сюда, счастливый, удивленный и немного обиженный тем, что Франц не предупредил его заранее, а главное, что он лишил его удовольствия

провести вместе первый вечер. Это сожаление то и дело проскальзывало в его бессвязных речах, где все, что он хотел сказать, оставалось неоконченным и прерывалось тысячью всевозможных вопросов, излияниями нежности и радости. В оправдание Франц сослался на усталость; к тому же ему так приятно было вновь очутиться в их комнате!

— Ладно, ладно, — говорил Рислер, — но теперь-то я уж не выпущу тебя… Ты сейчас же поедешь в Аньер. Сегодня я беру себе отпуск. Какая уж тут работа, раз ты приехал… А малютка-то как будет удивлена! И нам рада! Мы так часто говорили о тебе! Какое счастье! Какое счастье!..

Бедняга, сияя от радости, болтал без умолку — это он-то, всегда такой молчаливый! — и не мог наглядеться на своего Франца. Он находил, что тот очень вырос. А между тем питомец Училища гражданских инженеров был уже достаточно высокого роста и до отъезда, но только за это время больше определились черты его лица, он стал шире в плечах, и долговязому юноше с манерами семинариста, уехавшему два года назад в Исмаилию, далеко было до этого красивого, загорелого малого с серьезным и добрым лицом.

А пока Рислер любовался им, Франц внимательно приглядывался к брату и находил, что он все такой же: наивный, мягкий и по временам рассеянный.

«Нет, это невозможно!.. Каким он был честным человеком, таким и остался», — думал Франц.

И при мысли о том, что смели приписывать брату, весь его гнев обращался против лицемерной порочной женщины, которая так бесстыдно, так безнаказанно обманывала мужа, что тот прослыл ее сообщником. О, его объяснение с нею будет ужасно! Он так прямо и скажет ей: «Я запрещаю вам, сударыня… — понимаете? — запрещаю позорить моего брата!»

Он думал об этом всю дорогу, глядя, как бегут вдоль откосов Сен-Жерменской железной дороги еще по — весеннему тощие деревца. Сидя напротив него, Рислер болтал, болтал без умолку. Он говорил о фабрике, о делах. За прошлый год они получили прибыли по сорок тысяч франков на каждого, но не то еще будет, когда начнет работать его *печатная машина.*

— Ротационная машина, Франц, вращающаяся, двенадцатиугольная. Одним поворотом колеса она может дать отпечаток рисунка в двенадцать и даже в пятнадцать тонов: красный на розовом фоне, темно-зеленый на светло-зеленом, причем цвета не будут смешиваться и поглощаться один другим, ни одна черточка не сольется с соседней, ни один оттенок не убьет и не поглотит другой. Понимаешь ты это, братишка?.. Машина будет таким же мастером, как человек… Целая революция в обойном деле!

— Но ты уже изобрел машину? — спросил Франц, слегка встревоженный. — Или, может быть, еще только обдумываешь?

— Изобрел! И еще как изобрел!.. Завтра я покажу тебе все чертежи. Заодно уж я придумал и автоматический крючок для металлического прута, на который подвешивают обои в сушильне. На будущей неделе я водворяюсь у нас наверху, на чердаке, и там под моим руководством будут секретно сооружать первую модель моей машины. Необходимо, чтобы через три месяца были уже получены патенты и машина начала работать… Ты увидишь, Франц, что все мы на этом разбогатеем. Ты, конечно, сам понимаешь, как я буду рад, что смогу хоть чем-нибудь отплатить Фромонам за все добро, которое они мне сделали. Вот уж правда можно сказать: бог ко мне милостив.

И он принялся перечислять все свои удачи. Сидони — милейшее создание, прелестная женщина, его гордость. У них чудесная квартирка. Они вращаются в хорошем обществе. Малютка поет, как соловей, благодаря выразительной методе г-жи Добсон. Эта г-жа Добсон — тоже милейшее существо… Одно только огорчает беднягу Рислера: непонятное охлаждение со стороны Сигизмунда. Может быть, Франц поможет ему разъяснить эту тайну.

— Да, да, я помогу тебе, брат, — ответил Франц, стиснув зубы, и краска гнева бросилась ему в лицо при мысли, что кто-то мог заподозрить этого честного, прямодушного человека, представшего перед ним сейчас во всей своей наивности и непосредственности. К счастью, он, судья, теперь здесь и поставит все на свое место.

Между тем они приближались к аньерскому дому. Франц издали заметил его сквозную, сверкавшую голубым шифером башенку с винтовой лестницей внутри. Дом показался ему словно созданным для Сидони: настоящая клетка для этой птички с ярким, кокетливым оперением.

Это была двухэтажная дача. Зеркальные окна с занавесками на розовой подкладке, бросавшиеся в глаза уже на станции, отражались в огромном блестящем шаре на британского металла, висевшем в конце зеленой лужайки.

Рядом протекала река, загроможденная — совсем как в Париже — цепями, купальнями и большими лодками. На чуть заметных волнах покачивалось множество легких, привязанных к пристани челноков с вычурными свеженамалеванными названиями, едва заметными под осевшей на них угольной пылью. Из своих окон Сидони могла видеть рестораны на берегу реки, безмолвствовавшие в будни и наполненные по воскресеньям пестрой, шумной толпою, веселые голоса которой,

смешиваясь с тяжелым всплеском весел, доносились с обоих берегов и сливались над рекою в тот общий поток неясного шума, криков, зова, смеха и песен, что по праздничным дням непрерывно разносится вверх и вниз по Сене на протяжении десяти миль.

В будни здесь можно было видеть неряшливо одетых, ничем не занятых людей: мужчин в шерстяных блузах и в широкополых, остроконечных шляпах из грубой соломки, женщин, которые сидели сложа руки на помятой траве откосов, глядя перед собой тем ничего не выражающим взглядом, какой бывает у пасущихся коров.

Ярмарочные фокусники, шарманщики, арфисты и странствующие гимнасты — все они останавливались здесь, как в пригороде. Набережная была наводнена ими, и окаймлявшие ее маленькие домики поспешно отворялись при их приближении; белые, наспех застегнутые блузы, растрепанные прически, лениво дымившаяся трубка показывались у окон, подстерегая эту бродячую пошлость, являвшуюся для них как бы отголоском близкого Парижа.

Здесь было уныло и безобразно.

Чахлая, едва пробившаяся травка уже желтела под ногами. Воздух был насыщен черной пылью. Тем не менее каждый четверг, направляясь в казино, здесь с шиком проносились в изящных, легких экипажах с наемными форейторами сливки полусвета. Все это, конечно, нравилось такой завзятой парижанке, как Сидони. К тому же еще в детстве маленькая Шеб много слышала про Аньер от знаменитого Делобеля, мечтавшего обзавестись в этих местах — подобно многим другим актерам — домиком, дачным уголком, куда можно было бы возвращаться по окончании спектакля с ночным поездом.

Сидони Рислер воплотила в жизнь все мечты юной Шеб.

Братья подошли к выходившей на набережную калитке, в которой, как всегда, торчал ключ. Они вошли и направились мимо кустов совсем еще молодой зелени. Биллиардная, домик садовника, маленькая застекленная оранжерея виднелись то здесь, то там, словно отдельные части игрушечных швейцарских домиков; все здесь было очень легкое, воздушное, готовое в любую минуту взлететь по воле банкротства или каприза, — настоящая вилла кокотки или биржевика.

Франц, ослепленный, смотрел вокруг. В глубине, украшенная вазами с цветами, виднелась веранда, на которую выходили высокие окна гостиной. У дверей стояли американское кресло, складные стулья, маленький столик, с которого еще не убран был кофе. Из дому доносились звуки фортепьяно, слышались приглушенные голоса.

— Ну и удивится Сидони! — говорил Рислер, осторожно ступая по песку. — Она ждет меня не раньше вечера. Сейчас у нее урок музыки с госпожой Добсон.

Он быстро толкнул дверь и, еще не входя, с порога крикнул своим низким, добродушным голосом:

— Угадай, кого я привел!

Г-жа Добсон, сидевшая в одиночестве за фортепьяно, так и подпрыгнула на своем табурете, а из глубины большой гостиной, из-за тропических растений, которые, поднимаясь над столом, как бы продолжали его тонкий, изящный рисунок, поспешно вышли Жорж и Сидони.

— Ах, как вы меня испугали!.. — воскликнула Сидони, направляясь к Рислеру.

По ковру замелькал подол ее белого пеньюара, отделанного рюшами из голубых ленточек, напоминавших уголки лазоревого неба, что проглядывают сквозь облака. Она уже оправилась от смущения и с любезным видом и своей вечной улыбочкой поцеловала мужа и подставила лоб Францу.

— Здравствуйте, братец, — сказала она.

Рислер оставил их одних и подошел к Фромону; он был очень удивлен, что застал его здесь.

— Как, LLIopni, вы здесь?.. А я думал, вы в Савиньи…

— Да, представьте себе… Я приехал… Я думал, что воскресные дни вы проводите в Аньере… Мне нужно было поговорить с вами об одном деле…

Он начал сбивчиво рассказывать ему о каком-то важном заказе. Сидони, обменявшись незначительными фразами с Францем, который держал себя очень холодно, исчезла. Г-жа Добсон продолжала наигрывать под *сурдинку свои* тремоло, напоминавшие музыку, которая обычно сопровождает в театре критические положения.

Положение действительно было довольно напряженное, и только благодушие Рислера слегка разрядило неловкость. Он извинился перед компаньоном за то, что его не оказалось на месте, и выразил желание показать Францу весь дом. Они пошли в конюшню, оттуда в кладовые, в сараи, в оранжерею. Все было новое, блестящее, сверкающее, но слишком миниатюрное, неудобное.

— Это стоит больших денег, — говорил Рислер не без гордости.

Он хотел, чтобы восхищались всеми мелочами во владениях Сидони: показывал газ, воду, которая подавалась во все этажи,

усовершенствованные звонки, садовую мебель, английский биллиард, ванну и душ, — и все это с выражением благодарности по адресу Фромона-младшего, который, сделав его компаньоном фирмы, дал ему в руки такое богатство.

При каждом новом излиянии Рислера Жорж Фромон, чувствуя на себе странный взгляд Франца, готов был провалиться сквозь землю.

За завтраком не было настоящего оживления.

Говорила почти одна г-жа Добсон, довольная, что окунулась наконец в настоящую романтическую интригу. Зная или, вернее, думая, что знает до конца историю своей подруги, она понимала глухой гнев Франца — отвергнутого влюбленного, увидевшего, что его место занято, понимала и беспокойство Жоржа, встревоженного появлением соперника; одного она ободряла взглядом, другого утешала улыбкой, восхищалась выдержкой Сидони и все свое презрение приберегала для несносного Рислера, этого грубого, свирепого тирана… Ее усилия были направлены главным образом на то, чтобы не допустить за столом того ужасного молчания, которое при стуке вилок и ножей кажется особенно нелепым и стеснительным.

Сразу же после завтрака Фромон заявил, что едет обратно в Савиньи. Рислер не стал его удерживать, подумав о том, что его милая «мадам Шорш» проводит воскресенье в одиночестве, и несчастный любовник, не обменявшись ни словом со своей возлюбленной, отправился по солнцепеку на дневной поезд в сопровождении мужа, который непременно хотел проводить его до самого вокзала.

Г-жа Добсон посидела немного с Францем и Сидони в маленькой беседке, испещренной, словно звездами, розовыми почками вьющегося винограда, но скоро, поняв, что стесняет их, вернулась в гостиную и, как незадолго перед тем, когда здесь был Жорж, снова принялась тихо и выразительно напевать под свой собственный аккомпанемент. В затихшем саду эта приглушенная, льющаяся сквозь листву деревьев музыка напоминала щебетание птичек перед грозой.

Наконец они остались одни.

Под сводами беседки — ее еще не успела затянуть велень-сильно припекало майское солнце. Сидони, защищая глаза рукой, разглядывала гуляющих по набережной. Франц смотрел в другую сторону, и оба, делая вид, что им нет дела друг до друга, вдруг обернулись одновременно с одной и той же мыслью, с одним и тем же жестом.

— Мне надо поговорить с вами, — произнес он в ту самую минуту, когда она уже собиралась заговорить.

— Мне тоже, — сказала она серьезно… — Пойдемте туда… Там нам

будет лучше.

И они вошли в небольшой павильон, расположенный в глубине сада.

II. ОБЪЯСНЕНИЕ

И правда, давно уже пора было явиться судье.

Эта женщина бешено кружилась в водовороте парижского мальстрима. Благодаря своей легкости она еще держалась на поверхности, но ее чрезмерные траты, выставляемая напоказ роскошь, все большее и большее пренебрежение правилами приличия — все предвещало, что скоро она пойдет ко дну, увлекая за собою честь мужа, а может быть, также и состояние и репутацию солидной фирмы, разоренной ее безумствами.

Среда, в которой она теперь жила, ускоряла ее гибель. В Париже, в кварталах мелких коммерсантов, ничем неотличающихся от недоброжелательной, болтливой провинции, она поневоле была осмотрительнее, но на своей аньерской вилле, среди актерских дач, рядом с подозрительными парочками и приказчиками на отдыхе, она перестала стесняться. Окружавшая ее атмосфера порока как нельзя лучше отвечала ее натуре, и она дышала ею без отвращения. Вечерами, сидя в садике, она с удовольствием слушала доносившуюся издали бальную музыку.

После выстрела из пистолета, раздавшегося как-то ночью в соседнем доме и привлекшего к себе внимание всей округи банальной и глупой интригой, она стала мечтать о таких же приключениях. Ей захотелось, чтобы у нее тоже были «истории». Она не соблюдала больше никакой меры ни в выражениях, ни в манере держаться и в те дни, когда не гуляла по Аньерской набережной в короткой юбке, с длинной тростью в руках, подражая модницам Трувиля и Ульгата,[14] вяло бродила по комнатам в пеньюаре, совсем как ее соседки, ничего не делая, почти не интересуясь домом, где ее обкрадывали, как кокотку, а она даже не замечала этого. Эта самая женщина, которую каждое утро видели катающейся верхом, могла целыми часами сплетничать с горничной о странных парочках, живших вокруг.

Мало-помалу она опустилась до своего прежнего уровня и даже еще ниже. Из круга богатой, солидной буржуазии, куда она попала благодаря своему браку с Рислером, она неудержимо катилась в ряды содержанок. Ей часто приходилось встречать в вагонах железной дороги эксцентрично одетых девиц, с челками до самых глаз или распущенными волосами а ля Женевьева Брабантская, и в конце концов она сама стала походить на этих женщин. На два месяца она вдруг превратилась в блондинку, к великому изумлению Рислера, недоумевавшего, где это ему подменили его куколку.

Зато Жоржа все эти причуды забавляли: они давали ему возможность находить десять женщин в лице одной. А ведь он-то и был настоящим мужем, хозяином дома.

Чтобы развлечь Сидони, он создал вокруг нее некое подобие общества: тут были его холостые друзья, любившие пожить коммерсанты; женщины, как правило, отсутствовали: у женщин слишком зоркие глаза. Единственной подругой была г-жа Добсон.

Устраивались званые обеды, катание на лодках, фейерверки.

Положение бедного Рислера с каждым днем становилось все более смешным и двусмысленным. Он приезжал вечером усталый, дурно одетый и должен был немедленно идти к себе в комнату, чтобы немного привести себя в порядок.

— У нас сегодня к обеду гости, — говорила ему жена, — поторопитесь!

Он садился за стол последним, пожав руки всем своим гостям, друзьям Фромона-младшего, которых едва внал по имени. И, как вто ни странно, дела фабрики часто обсуждались за этим столом, — Жорж приводил сюда своих клубных знакомых с невозмутимостью человека, который платит за все.

«Деловые завтраки и обеды!» В глазах Рислера эти слова объясняли все: постоянное присутствие компаньона, подбор приглашенных, роскошные туалеты Сидони, наряжавшейся и кокетничавшей в интересах фирмы. Это кокетство любовницы приводило в отчаяние Фромона. Мучимый тревогой и недоверием, он боялся надолго предоставлять самой себе эту лживую, развращенную женщину и являлся в Аньер во всякое время дня, чтобы застать ее врасплох.

— Что с твоим мужем?.. — насмешливо спрашивал старый Гардинуа свою внучку. — Почему он теперь так редко бывает здесь?

Клер старалась оправдать Жоржа, но его постоянные отлучки начинали беспокоить ее. И она часто плакала теперь, читая записочки и телеграммы, приходившие ежедневно в час обеда: «Не жди меня вечером, дорогая. Я смогу приехать в Савиньи только завтра или послезавтра, с ночным поездом».

Она с грустью садилась за стол против пустого прибора и, не зная еще, что муж изменяет ей, чувствовала, что он отдаляется от нее. Если какое-нибудь семейное торжество или другие обстоятельства удерживали его дома, он бывал всегда рассеян, никогда не делился тем, что его занимало. С Сидони Клер была теперь очень далека, а потому ничего и не знала о том, что происходило в Аньере. Но когда Жорж уезжал, веселый и

улыбающийся, и она оставалась одна, ее начинали мучить безотчетные подозрения, и, как это бывает порой в ожидании большого горя, она вдруг ощущала в своем сердце огромную пустоту, словно там было уже приуготовано место для катастрофы.

Ее муж тоже не был счастлив. Этой жестокой Сидони, по-видимому, доставляло удовольствие мучить его. Она позволяла ухаживать за собой решительно всем. Вот и теперь: некий Казабон — Казабони по сцене, — итальянский тенор из Тулузы, представленный г-жой Добсон, являлся каждый день распевать с ней трогательные дуэты. Жорж, терзаемый ревностью, бросал все дела и мчался в Аньер среди дня; ему уже казалось, что Рислер недостаточно зорко следит за женой. Ему хотелось, чтобы тот был слеп только по отношению к нему…

О, будь он на месте мужа, уж он бы крепко держал ее в руках! Но он не имел никаких прав на нее, и ему, не стесняясь, указывали на это. Порой неумолимая логика, не чуждая даже самым глупым людям, подсказывала ему, что, изменяя сам, он, может быть, заслуживает, чтобы изменяли и ему. В общем, жизнь его была довольно печальна. Он проводил все свое время в беготне по ювелирам и модным магазинам, придумывая для любовницы все новые подарки и сюрпризы. Ведь он-то хорошо знал ее! Знал, что только драгоценностями ее можно развлечь — но не удержать — и что в тот день, когда ей наскучит…

Но Сидони пока еще не скучала. Она жила так, как ей хотелось. У нее было все, о чем она только могла мечтать. В се любви к Жоржу не было ничего пылкого, ничего романтического. Он был для нее как бы вторым мужем, более молодым, а главное, более богатым, чем первый, — вот и все. Для соблюдения внешних приличий она перевезла в Аньер родителей и поселила их в маленьком домике, на краю местечка, пользуясь тщеславным, сознательно слепым отцом и доброй, по-прежнему ослепленной матерью, чтобы создать вокруг себя обстановку некоей порядочности, потребность в которой испытывала тем сильнее, чем больше она опускалась.

Все было предусмотрено в маленькой головке этого порочного существа, вносившего холодную расчетливость во все свои поступки. Казалось, ничто не должно было помешать спокойному течению ее жизни, как вдруг явился Франц Рислер.

По одному тому, как он вошел, Сидони сразу поняла, что ее покою грозит опасность, что между ними должно произойти что-то очень серьезное.

В одну минуту ее план был готов. Оставалось только привести его в

исполнение.

Павильон, куда они вошли, — большая круглая комната с четырьмя окнами, причем из каждого окна открывался вид, непохожий на виды из других окон, — был обставлен специально для летнего отдыха, для тех жарких часов, когда ищут убежища от солнца и жужжания насекомых, наполнявшего сад. Вдоль стен тянулся широкий, очень низкий диван. Посредине стоял лакированный столик, тоже очень низкий, заваленный разрозненными номерами иллюстрированных журналов.

Обои были новые, и персидский рисунок — птички, порхающие среди голубоватого тростника, — создавал впечатление летней грезы, легкого видения, что скользит порой перед смыкающимися глазами. Опущенные шторы, циновка на полу, виргинский жасмин, обвивавший снаружи беседку, поддерживали приятную прохладу. А журчание протекавшей поблизости реки и плеск ее волн о берега еще усиливали ощущение этой прохлады.

Войдя, Сидони сразу же села, и отброшенный ногой шлейф ее белой юбки упал у дивана, словно снежный ком.

С милой улыбкой, чуть склонив головку со сбившимся набок бантом, что придавало ей еще более капризный и задорный вид, и приняв выжидательную позу, она смотрела на Франца ясными, невинными глазами.

Он стоял бледный и оглядывался по сторонам.

— Поздравляю вас, сударыня, — сказал он наконец, — вы неплохо устроились.

Как бы испугавшись, что, начав разговор так издалека, он не скоро дойдет до цели, он тут же резко спросил:

— Кому вы обязаны этой роскошью?.. Мужу или любовнику?..

Не пошевельнувшись, даже не подняв глаза, она спокойно ответила:

— Тому и другому.

Он слегка растерялся от такого апломба.

— Значит, вы сознаетесь, что этот человек-ваш любовник?

— Ну да, конечно, черт возьми!

С минуту Франц смотрел на нее, не произнося ни слова. Несмотря на все свое спокойствие, она тоже побледнела и неизменная улыбочка уже не трепетала в уголках ее губ.

— Выслушайте меня внимательно, Сидони, — сказал он. — Имя моего брата, имя, которое он дал своей жене, — это и мое имя. Если Рислер настолько безрассуден и слеп, что позволяет вам позорить это имя, то я считаю своим долгом защитить его от ваших посягательств… А потому

предлагаю вам предупредить господина Фромона, чтобы он как можно скорее нашел себе другую любовницу, и пусть его разоряют где-нибудь в другом месте… Не то…

— Не то?.. — спросила Сидони, не переставая играть своими кольцами.

— Не то мне придется предупредить брата о том, что происходит у него в доме, и вы немало удивитесь, увидев, каким страшным и жестоким может быть обычно кроткий и безобидный Рислер. Возможно, что мое разоблачение убьет его, но, будьте уверены, прежде он убьет вас.

Она пожала плечами.

— Ну и пусть убивает… Не все ли мне равно?..

Это было сказано с такой горечью, с таким равнодушием, что Франц невольно почувствовал жалость к прелестному молодому и счастливому созданию, говорившему о смерти с таким безразличием.

— Так вы его очень любите?.. — спросил он уже мягче. — Вы, стало быть, очень любите Фромона, раз предпочитаете лучше умереть, чем отказаться от него?

Она порывисто выпрямилась.

— Люблю? Чтобы я полюбила этого фата, эту размазню, эту бабу, одетую мужчиной?.. Полноте!.. Я взяла его, как взяла бы всякого другого.

— Но почему?

— Потому что так было нужно, потому что я обезумела, потому что в сердце моем жила, да и теперь еще живет, преступная любовь, и я хочу вырвать ее какой угодно ценой.

Она говорила это стоя, глядя ему прямо в глаза, почти касаясь губами его губ, дрожа всем телом.

Преступная любовь!.. Кого же любила она?

Франц боялся спросить.

Еще ничего не подозревая, он все же чувствовал, что этот взгляд, это приблизившееся к нему лицо откроют ему что-то страшное.

Но долг судьи обязывал его знать все.

— Кто же это?.. — спросил он.

— Вы отлично знаете, что это вы, — глухо проговорила она.

Она была женой его брата.

Вот уже два года он думал о ней только как о сестре. Для него жена брата ничем больше не походила на его бывшую невесту, и он почел бы за преступление узнать в ее лице хотя бы одну черту той, которой он когда-то так часто говорил: «Я вас люблю».

И вот она сама говорит ему, что любит его.

Несчастный судья был потрясен. Он ничего не соображал, не находил слов для ответа.

А она стояла перед ним и ждала…

Был один из тех весенних дней, солнечных, полных очарования дней, которым испарения от недавно прошедших дождей сообщают своеобразную мягкость и грусть. Теплый воздух был напоен ароматом свежих цветов, благоухавших в этот первый жаркий день, как положенные в муфту фиалки. И все эти пьянящие запахи проникали в полуоткрытые высокие окна павильона. Слышны были звуки воскресной шарманки и отдаленные крики на реке, а рядом, в саду, влюбленный, изнемогающий голос г-жи Добсон томно вздыхал:

Ты женишься. Но, право.
Ты мне приносишь сме-р-рть!

— Да, Франц, я всегда любила вас, — продолжала Сидони. — Я отказалась когда-то от этой любви, потому что была слишком молода, — ведь молодые девушки сами не знают, что они делают, но ничто не могло изгладить или ослабить во мне это чувство. Когда я узнала, что вас любит Дезире, бедная обиженная судьбой Дезире, я в порыве великодушия захотела устроить ее счастье, пожертвовав своим, и оттолкнула вас, чтобы вы шли к ней. Но, как только вы уехали, я поняла, что жертва мне не по силам. Бедная Дезире! Сколько раз я мысленно проклинала ее! Вы не поверите: с тех пор я избегала встречаться с нею. Мне слишком тяжело было видеть ее.

— Но если вы любили меня, — спросил Франц чуть слышно, — если вы меня любили, зачем же вы вышли за моего брата?

Она и глазом не моргнула.

— Выйти за Рислера — значило стать ближе к вам. Я говорила себе: «Я не могу быть его женой, ну так я буду его сестрой. По крайней мере мне позволено будет любить его, и мы не останемся на всю жизнь чужими». Увы! То были наивные мечты, которым предаешься в двадцать лет, чтобы скоро на опыте убедиться в их обманчивости… Я не могла любить вас как сестра, Франц, не могла и забыть: этому мешал мой брак. Будь у меня другой муж, это, быть может, и удалось бы мне, но с Рислером это оказалось невозможным. Он постоянно говорил о вас, о ваших успехах, о вашей будущности… Франц говорил то-то… Франц делал то-то… Он вас так любит, бедняга! Кроме того — и это самое ужасное для меня, — ваш

брат похож на вас. В вашей походке, в чертах лица есть фамильное сходство, особенно в голосе. Часто, когда он ласкал меня, я закрывала глаза и говорила себе: «Это он… Это Франц…» Греховная мысль стала моей мукой, наваждением — и тогда я решила искать забвения. Я согласилась выслушать Жоржа, который уже давно преследовал меня своим ухаживанием, изменила жизнь, сделала ее шумной, бурной. Но клянусь вам, Франц, что, кружась в вихре удовольствий, я никогда не переставала думать о вас, и если кто-нибудь имеет право требовать у меня отчета в моем поведении, то уж, конечно, не вы: ведь это вы, сами того не желая, сделали меня тем, что я есть…

Она замолчала.

Франц не смел поднять на нее глаза… Она так красива, так обольстительна 1 А ведь она жена его брата!

Он не смел и говорить. Несчастный чувствовал, что былая страсть снова деспотически овладевает им и что отныне взгляды, слова, все, что будет исходить от него, — все это любовь.

А ведь она жена его брата!

— Какие же мы с вами несчастные! — прошептал бедный судья, опускаясь на диван рядом с нею.

Эти слова были уже слабостью, началом падения, как будто судьба, поступая с ним так жестоко, отняла у него силы для защиты. Сидони коснулась его руки.

— Франц!.. Франц!.. — прошептала она, и они долго еще сидели рядом, взволнованные и безмолвные, убаюкиваемые романсом г-жи Добсон, долетавшим до них урывками сквозь густую зелень:

Любовь к тебе — отрава,
Сгор-рю в ее огне!

Внезапно у двери выросла грузная фигура Рислера.

— Сюда, Шеб, сюда! Они в павильоне.

И он вошел в сопровождении тестя и тещи.

Начались приветствия и бесконечные объятия. Надо было видеть, каким покровительственным тоном расспрашивал Шеб этого широкоплечего, рослого малого, который был на целую голову выше его:

— Ну, как там ваш Суэцкий канал, мой милый? Все в порядке?

Г-жа Шеб, для которой Франц так и остался чем-то вроде будущего зятя, крепко обнимала его, а Рислер, как всегда неловкий в проявлении

чувств, стоя на крыльце, размахивал руками и говорил, что не мешало бы в честь возвращения блудного сына заколоть нескольких жирных тельцов. Он кричал учительнице пения так громко, что, наверно, было слышно в окрестных садах:

— Госпожа Добсон, госпожа Добсон… Я, конечно, не вправе учить вас, но вы поете что-то уж слишком грустное. На сегодня к черту выразительность!.. Сыграйте нам что-нибудь веселенькое, танцевальное, чтобы я мог сделать тур вальса с госпожой Шеб…

— Рислер, Рислер, зять! Да вы с ума сошли!

— Ну, ну, мамаша!.. Так полагается… Гоп! Гоп!

И он неуклюже закружил по аллеям сада свою тещу в каком-то автоматическом вальсе в шесть па, настоящем вокансоновском вальсе.[15] Мамаша, отдуваясь, останавливалась на каждом шагу, чтобы привести в порядок развязавшиеся ленты шляпки или поправить кружева шали, той самой великолепной шали, что была на ней в день свадьбы Сидони.

Бедняга Рислер был просто пьян от радости.

Для Франца это был длинный и незабываемый день мучений. Прогулка в экипаже, катание на лодке, завтрак на травке на острове Раважер — его заставили насладиться всеми прелестями Аньера… И все время — под палящим солнцем на дороге и при переливчатом блеске волн на реке — надо было смеяться, болтать, рассказывать о своем путешествии, о Суэцком перешейке, о предпринятых работах, выслушивать по секрету жалобы Шеба, как всегда недовольного своими детьми, и подробные объяснения брата по поводу *машины:*«Вращающаяся, мой дорогой, вращающаяся, двенадцатиугольная». Сидони предоставила мужчинам разговаривать друг с другом, а сама как бы погрузилась в глубокое раздумье. Время от времени она бросала слово или грустную улыбку г-же Добсон, а Франц, не смея взглянуть ей в лицо, следил за движениями ее подбитого голубым шелком зонтика, любовался ее воздушным нарядом.

Как изменилась она за два года! Как похорошела!

И вдруг ему стали приходить в голову ужасные мысли. В тот день в Лоншане были скачки. Их коляску обгоняли экипажи, которыми правили женщины с накрашенными лицами под туго натянутыми вуалями. Держа прямо перед собой поднятый вверх длинный кнут, они сидели на козлах неподвижные, словно куклы, и, казалось, живого в них только и было, что их подведенные глаза, уставившиеся на головы лошадей. Все взгляды следовали за ними, как бы увлекаемые вихрем их езды.

Сидони походила на этих созданий. Она тоже могла бы, как и они, править коляской Жоржа, — ведь Франц сидел в коляске Жоржа. Он пил

вино Жоржа.

Вся эта роскошь, которой они наслаждались сейчас по-семейному, исходила от Жоржа.

Это было позорно и возмутительно. Ему хотелось крикнуть об этом брату. Он даже обязан был поступить так, ведь для того он и приехал. Но он чувствовал, что у него пропала всякая решимость.

Несчастный судья!..

Вечером после обеда, сидя в гостиной, в открытые окна которой вливался свежий речной воздух, Рислер попросил жену что-нибудь спеть. Ему хотелось, чтобы она продемонстрировала перед Францем все свои новые таланты.

Прислонившись к фортепьяно и изобразив грусть на лице, Сидони отнекивалась, а г-жа Добсон тем временем перебирала клавиши, потрясая своими длинными локонами.

— Но, право, я ничего не знаю. Что я могу вам спеть?

В конце концов она уступила. Бледная, безучастная, как бы отрешившаяся от всего земного, при свете мигающих свечей, которые, казалось, курили фимиам — так сильно тянуло из сада ароматом гиацинтов и сирени, она запела креольскую песенку, очень популярную в Луизиане и переложенную г-жою Добсон для пения и рояля:

Бедная крошка мамзель Зизи!
Кружится головка у крошки от любви.
От любви!

Сидони передавала историю несчастной, обезумевшей от страсти Зизи с таким видом, словно она сама была больна от любви. Безысходная скорбь, стон раненой голубки слышались в печальном припеве, который так трогательно и нежно звучал на детском наречии жителей колонии:

Кружится головка у крошки от любви…

Было отчего потерять голову и несчастному судье.

Но нет! Сирена неудачно выбрала романс. При одном только имени мамзель Зизи Франц сразу перенесся в печальную комнатку в квартале Маре, далеко от гостиной Сидони. Его сердце затрепетало от жалости, и перед его мысленным взором встал милый образ Дезире Делобель, которая

так давно любила его. До пятнадцати лет ее никто не называл иначе, как Зире или Зизи, и она-то и была подлинной «крошкой Зизи» из креольской песни — вечно покинутой, вечно верной возлюбленной. Та, другая, могла теперь петь сколько угодно, Франц больше не видел и не слышал ее. Он был там, около большого кресла, на низеньком стульчике, где так часто засиживался, поджидая вместе с нею ее отца. Да, его спасение теперь там, только там. Надо искать прибежище в любви этой девушки, броситься к ней без оглядки, сказать ей: «Укрой меня!.. Спаси!..» И кто знает? Ведь она так любит его!.. Быть может, она спасет его, излечит от преступной страсти.

— Куда ты? — спросил Рислер, увидев, что брат порывисто вскочил, как только замер последний аккорд аккомпанемента.

— Я ухожу… Уже поздно…

— Как? Ты разве у нас не ночуешь? Для тебя приготовлена комната.

— Да, все готово, — прибавила Сидони и посмотрела на Франца каким-то особенным взглядом.

Он упорно отказывался… Ему необходимо быть в Париже, он должен выполнить очень важные поручения, возложенные на него Компанией. Его еще пытались удерживать, но он был уже в передней, прошел через залитый лунным светом сад и, провожаемый шумом и гулом Аньера, бегом направился к станции.

После его ухода Рислер поднялся к себе в комнату, Сидони с г-жою Добсон задержались у окна в гостиной. Музыка из соседнего казино долетала до них, сливаясь с возгласами лодочников и топотом танцующих, напоминавшим издали глухие, ритмичные звуки тамбурина.

— Вот несносный гость! — промолвила г-жа Добсон.

— О, я укротила его! — ответила Сидони. — Но все — таки мне нужно быть осторожной… За мной теперь будут усиленно следить. Он очень ревнив… Я напишу Казабони, чтобы он некоторое время не приезжал, а ты скажешь завтра утром Жоржу, чтобы он уехал на две недели в Савиньи.

III. БЕДНАЯ КРОШКА МАМЗЕЛЬ ЗИЗИ

Как счастлива была Дезире!

Франц приходил теперь каждый вечер и, как в доброе старое время, садился на низенький стульчик у ее ног, но вовсе не для того, чтобы поговорить с нею о Сидони.

Утром, как только она принималась за работу, дверь тихонько приотворялась: «Добрый день, мамзель Зизи!» Он всегда теперь называл ее так, ее детским именем, и если б вы знали, как ласково звучало у него это: «Добрый день, мамзель Зизи!».

По вечерам они вместе поджидали «отца». Она работала, а он рассказывал ей о своих путешествиях, и каждый раз эти рассказы приводили ее в трепет.

— Что с тобой? Ты просто неузнаваема, — говорила мать, не переставая удивляться, что Дезире стала такой веселой, а главное, такой подвижной.

И правда, маленькая хромоножка не сидела уже целыми днями, как прежде, забившись в свое глубокое кресло с самоотречением молоденькой бабушки. Она то и дело вставала и порывисто, словно у нее выросли крылья, подходила к окну, училась стоять как можно прямее и тихонько спрашивала у матери:

— А это не очень заметно, когда я не хожу?

Если прежде все ее кокетство было сосредоточено на том, чтобы как можно красивее уложить длинные тонкие волосы, окутывавшие ее, как волны, когда она их распускала, то теперь ей хотелось быть красивой с головы до ног. Она и в самом деле стала очень и очень кокетлива, и все это замечали. Даже ее птички и мушки приобрели теперь какой-то особенный вид.

О да, Дезире Делобель была счастлива! Вот уже несколько дней, как Франц поговаривал о том, чтобы поехать всем вместе за город. Отец, как всегда добрый и великодушный, не возражал против того, чтобы дамы отдохнули денек, и в ближайшее воскресное утро они отправились вчетвером.

Трудно представить себе, какая изумительная погода была в тот день! Когда в шесть часов утра Дезире открыла окно и сквозь утренним туман увидела уже горячее яркое солнце, когда она подумала о деревьях, о полях и дорогах, о чудесной природе, которую она так давно не видела и увидит

сейчас, идя под *руку* с Францем, — слезы навернулись у нее на глаза. Звон колоколов, гул Парижа, уже поднимавшийся с улиц, атмосфера воскресного дня, этого праздника бедняков, когда светлеют даже щеки маленьких угольщиков, пробуждение волшебного утра — всем этим долго, с упоением наслаждалась она.

Накануне вечером Франц принес ей зонтик, маленький зонтик с ручкой из слоновой кости. Сама она смастерила себе милый, но скромный туалет, как и подобает бедной калеке, не желающей обращать на себя внимание. И, По правде сказать, бедная хромоножка была просто очаровательна.

Ровно в девять часов Франц подъехал в экипаже, нанятом на весь день, и поднялся за своими друзьями. Мамзель Зизи, держась за перила, грациозной, уверенной походкой спустилась с лестницы без посторонней помощи. Мать шла позади, присматривая за ней, а знаменитый актер, набросив на руку пальто, кинулся вперед с молодым Рислером, чтобы открыть дверцу экипажа.

Какая восхитительная поездка, какие чудесные места, какая изумительная река, какие красивые деревья!..

Не спрашивайте ее, где это было, Деэире сама не знала. Она могла бы вам только сказать, что солнце там ярче, птички веселее, леса гуще, чем где бы то ни было… и она бы не солгала.

В раннем детстве ей случалось иногда проводить дни на свежем воздухе и совершать длинные прогулки по полям. Но потом непрерывная работа, нужда, сидячий образ жизни, на который она была обречена из-за своего увечья, держали ее как бы прикованной к старому кварталу Парижа, где она жила и где высокие крыши, железные балконы и фабричные трубы, резко выделявшиеся своими новыми красными кирпичами на фоне почерневших стен исторических особняков, стали для нее неизменным, вполне удовлетворяющим ее горизонтом. Давно уже не знала она других цветов, кроме вьюнков на своем окне, и других деревьев, кроме акаций на фабричном дворе Фромона, видневшихся издали, сквозь дым.

И какой же счастливой почувствовала она себя, очутившись на лоне природы! Окрыленная радостью и пробудившейся молодостью, она не переставала всему удивляться, хлопала в ладоши, вскрикивала, словно птичка, и ее порывистые движения, которыми она выражала свой наивный восторг, скрадывали неуверенность ее походки. Ну, положительно, *это* было почти незаметно! К тому же около нее был Франц, такой нежный, такой предупредительный, всегда готовый поддержать ее, подать ей руку при переходе через канаву. Этот восхитительный день промелькнул, как

видение. Высокое голубое небо, призрачно мелькавшее сквозь густые ветви, мелкая поросль, таинственно приютившаяся у подножия высоких деревьев, где цветы растут прямее и выше и где золотистый мох на стволах дубов кажется солнечными бликами, неожиданно открывавшиеся светлые просеки, — все, даже усталость от целого дня ходьбы на свежем воздухе, все восхищало и очаровывало ее.

Когда к вечеру, при свете догоравшего дня, она увидела с опушки леса белые, разбегавшиеся по полям дороги, речку, сверкавшую, точно серебряный галун, а там, вдали, между двумя холмами, неясные очертания серых крыш, шпилей и куполов, — Париж, как ей сказали, — она окинула взглядом весь этот чудный вид, благоухавший любовью и июньским шиповником, и навсегда запечатлела его в своей памяти, как будто ей уж никогда, никогда больше не увидеть его.

Букет, который маленькая хромоножка привезла с этой незабываемой прогулки, целую неделю наполнял благоуханием ее комнату. Помимо гиацинтов, фиалок и белого шиповника, в нем было много мелких безымянных цветочков, перелетные семена которых пускают ростки по обочинам дорог на радость скромным прохожим.

Любуясь нежными бледно-голубыми и ярко-розовыми венчиками, всеми этими тончайшими оттенками, изобретенными природой задолго до колористов, Дезире не раз в течение этой недели мысленно вновь и вновь совершала прогулку. Фиалки вызывали в ее памяти поросший мохом холмик, где она искала и рвала их под листьями, касаясь своими пальцами пальцев Франца; крупные водяные цветы были сорваны на краю канавы, совсем еще сырой от зимних дождей, и, чтобы достать их, ей пришлось опереться на *руку* Франца. Она вспоминала все это за работой, а солнце, заглядывая в открытое окно, играло на ярких перышках колибри. Весна, молодость, песни, аромат цветов — все это преображало печальную мастерскую на пятом этаже, и Дезире, нюхая букет своего друга, пресерьезно говорила матери:

— Ты заметила, мама, как хорошо пахнут цветы в этом году?

Франц тоже начал поддаваться очарованию. Мало-помалу мамзель Зизи окончательно завладела его сердцем и вытеснила из него даже воспоминание о Сидони. Правда, несчастный судья делал для этого все, что мог. Почти весь день он проводил подле Дезире и жался к ней, как ребенок. Ни разу не посмел он вернуться в Аньер. Он еще боялся той женщины.

— Загляни как-нибудь к нам… Сидони про тебя спрашивает… — говорил иногда Рислер брату, когда тот приходил на фабрику повидаться с ним.

Но Франц держался твердо и, отговариваясь разными делами, откладывал визит со дня на день. Ему нетрудно было поладить с Рислером, более чем когда-либо занятым своей машиной, к изготовлению которой уже приступили.

Каждый раз, когда Франц выходил от брата, старый Сигизмунд подкарауливал его и, не снимая люстриновых нарукавников, с карандашом и перочинным ножом в руках шел с ним по двору. Он держал молодого человека в курсе всех фабричных дел. С некоторых пор все шло как будто лучше. Жорж аккуратно бывал в конторе и каждый вечер ездил ночевать в Савиньи. Счетов в кассу больше не предъявляли. По-видимому, мадам успокоилась.

Кассир торжествовал:

— Вот видишь, дружок, как хорошо я сделал, что вызвал тебя… Стоило тебе приехать, и все наладилось… Но все равно, — прибавлял старик по привычке, — все равно… *не тоферяю, не тоферяю…*

— Не беспокойтесь, господин Сигизмунд, я здесь, — говорил судья.

— Ведь ты еще не уезжаешь, Франц?

— Нет еще… нет… Мне нужно покончить с одним важным делом.

— А, тем лучше!

Важным делом Франца была его женитьба на Дезире Делобель. Он еще никому не говорил об этом, даже ей самой, но мамзель Зизи, очевидно, что-то подозревала, ибо с каждым днем становилась все веселее и краше, точно предчувствовала, что скоро настанет момент, когда ей понадобится вся ее веселость, вся ее красота.

Однажды, в воскресенье днем, они остались одни в мастерской. Мамаша Делобель, довольная, что хоть раз может пройтись под руку с таким великим человеком, как ее муж, ушла с ним куда-то, попросив Франца посидеть с дочерью, чтобы той не было скучно. Франц явился в тот день тщательно одетый; вид у него был праздничный, выражение лица какое-то особенное: робкое и вместе с тем решительное, нежное и торжественное. И уже по одному тому, как близко низенький стульчик придвинулся к большому креслу, большое кресло поняло, что ему хотят сделать важное признание, и оно почти догадывалось, какое именно. Разговор начался с безразличных фраз, то и дело прерываемых долгим молчанием, — так останавливаешься в дороге после каждого пройденного этапа, чтобы набраться сил для окончания пути.

— Сегодня очень хорошая погода.

— Да, очень хорошая.

— Наш букет все еще хорошо пахнет.

— Да, очень…

Их голоса, произносившие эти простые слова, были взволнованы тем, что им предстояло сказать.

Наконец низенький стульчик еще ближе придвинулся к большому креслу. Взявшись за руки и глядя друг другу в глаза, молодые люди тихо, медленно назвали друг друга по имени:

— Дезире!

— Франц!

В эту минуту кто-то постучал в дверь.

То был осторожный стук руки, затянутой в изящную перчатку, руки, которая боится, как бы не запачкаться обо что-нибудь.

— Войдите! — сказала Дезире с легким движением досады.

Вошла Сидони — красивая, нарядная, приветливая. Она заехала навестить маленькую Зизи, поцеловать ее мимоходом. Ей так давно этого хотелось!

Присутствие Франца как будто удивило ее, но, отдаваясь радости беседы со своей старой подругой, она едва взглянула на него. После сердечных излияний, ласк и разговоров о прошлом она выразила желание взглянуть на окно площадки, на квартиру Рислеров. Ее тянуло снова пережить свою молодость.

— Помните, Франц, как принцесса Колибри входила к вам в комнату, высоко держа головку, украшенную диадемой из птичьих перьев?

Франц не отвечал. Он был слишком взволнован. Что — то подсказывало ему, что эта женщина пришла ради него, только ради него, что она хочет снова завладеть им, помешать ему принадлежать другой, и несчастный с ужасом чувствовал, что для этого ей не потребуется больших усилий. Достаточно было ему увидеть ее, и его сердце снова принадлежало ей.

Дезире ничего не заподозрила. Сидони была так сердечна, так мила!.. К тому же они с Францем теперь брат и сестра, стало быть, любовь между ними невозможна.

И все же сердце бедной девушки сжалось от смутного предчувствия, когда Сидони, стоя уже в дверях и собираясь уходить, небрежно обернулась к Францу:

— Кстати, Франц: Рислер поручил мне привезти вас сегодня к обеду… Коляска ждет внизу… По пути мы ваедем за ним на фабрику.

Затем, с самой очаровательной улыбкой, она прибавила:

— Ты ведь отпустишь его к нам, Зире? Будь покойна, мы тебе его вернем.

Неблагодарный! У него хватило духу уйти!

Он ушел, не колеблясь, даже не обернувшись, увлекаемый своей страстью, точно бушующим морем, и ни в тот день, ни в следующие дни и никогда потом так и не узнало большое кресло мамзель Зизи, что же такое хотел сообщить ему низенький стульчик…

IV. ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Да, я люблю, люблю тебя… больше, чем прежде, и навсегда… К чему бороться и сопротивляться? Наша греховная страсть сильнее нас… Да и такой ли уж это грех — любить друг друга?.. Мы были предназначены друг для друга. Разве мы не имеем права соединиться наперекор разлучившей нас жизни?.. Так приходи же! Решено: мы уедем… Завтра вечером, на Лионском вокзале, в десять часов… Билеты будут взяты, я буду ждать тебя…

Франц.

Целый месяц добивалась Сидони этого письма, целый месяц пускала она в ход все свое кокетство, всю свою хитрость, чтобы вызвать деверя на письменное объяснение в любви. Нелегко далось ей это. Не так просто было толкнуть на подобный поступок честную, неиспорченную натуру Франца, и в этой странной борьбе, где тот, кто любил по-настоящему, поступал наперекор своим убеждениям, она нередко чувствовала, что силы изменяют ей и что она теряет мужество. Когда она считала, что он уже укрощен, вся его порядочность вдруг восставала, и он готов был убежать, снова ускользнуть от нее.

И как же торжествовала она, когда однажды утром ей подали наконец это письмо! У нее сидела г-жа Добсон. Она только что явилась с жалобами от Жоржа; он тосковал в разлуке с любовницей, и притом его уже начинал тревожить деверь, более настойчивый, более ревнивый и требовательный, чем муж.

— Ах, бедняжка, бедняжка! — говорила сентиментальная американка. — Если б ты видела, как он страдает!

Встряхивая кудряшками, она развязывала свернутые в трубочку ноты и вынимала оттуда письма «бедняжки», тщательно запрятанные между страницами романсов. Она была в восторге, что могла принять участие в настоящей любовной истории. Все эти интриги и тайны приводили ее в экстаз, смягчали взгляд ее холодных глаз, оживляли ее бесцветное лицо сухощавой блондинки.

Удивительнее всего то, что молодая миловидная г-жа Добсон, так охотно занимавшаяся передачей любовных писем, никогда не написала и не получила ни одного такого письма.

Вечно в пути между Аньером и Парижем, с любовным посланием под крылышком, этот странный почтовый голубь оставался верен своей

голубятне и ворковал только для своего законного супруга.

Когда Сидони показала ей записку Франца, г-жа Добсон спросила:

— Что же ты ответишь?

— Все уже сделано. Я ответила согласием.

— Как! Ты уедешь с этим сумасшедшим?

Сидони расхохоталась:

— И не подумаю! Я сказала «да» для того, чтобы он ждал меня на вокзале. Вот и все. Пусть помучается. Довольно я натерпелась из-за него за этот месяц. Подумай только: мне пришлось изменить всю жизнь в угоду этому господину. Я должна была отказаться от приемов, закрыть двери для друзей, для всего молодого и приятного, начиная с Жоржа и кончая тобою… Да, да, дорогая, ты тоже не нравилась ему, и он охотно отставил бы тебя, как и всех остальных.

Сидони умолчала о том, что главной причиной ее неприязни к Францу было то, что он напугал ее, и даже очень напугал, пригрозив открыть все мужу. С той минуты ей стало не по себе; она почувствовала, что ее жизнь, ее драгоценная жизнь, которой она так дорожила, в опасности. Ведь эти светловолосые и с виду такие холодные мужчины, как Рислер, способны приходить в страшную, неистовую ярость, результатов которой нельзя даже предвидеть; они как те взрывчатые вещества без запаха и цвета, к которым боишься притронуться, потому что не знаешь их свойств. Мысль, что в один прекрасный день мужу станет известно о ее поведении, приводила ее в ужас.

Ей вспомнились случаи из ее прежней жизни в многолюдном бедном квартале, случаи несчастных браков, когда обманутые мужья мстили за измену, смывая кровью позор прелюбодеяния. Виденкя смерти преследовали ее. А смерть, вечный покой и глубокое безмолвие страшили это легкомысленное созданне, падкое на удовольствия и безумно жаждавшее шума и движения.

Долгожданное письмо положило конец всем ее страхам. Теперь, зная, что у нее в руках такое оружие, Франц не выдаст ее даже в минуту бешенства, вызванного его неудачей. А вздумай он сказать что-нибудь, она показала бы письмо, и все его обвинения оказались бы в глазах Рислера чистейшей клеветой. Да, господин судья, теперь вы в наших руках.

И ею вдруг овладел приступ безудержной веселости.

— Я оживаю!.. Оживаю!.. — говорила она г-же Добсон.

Она бегала по аллеям сада, собирала огромные букеты для гостиной, широко распахнула окна навстречу солнцу, отдавала распоряжения кухарке, кучеру, садовнику. Надо было украсить дом… Скоро Жорж возобновит

свои посещения, и на первых порах она решила устроить в конце недели званый обед. Глядя, как она торопилась восстановить вокруг себя жизнь с ее суетой и движением, можно было подумать, что она провела целый месяц в скучном и утомительном деловом путешествии и хочет теперь наверстать потерянное время.

На следующий день вечером Сидони, Рислер и г-жа Добсон сидели все вместе в гостиной. Рислер перелистывал толстую книгу по механике, Сидони пела под аккомпанемент г-жи Добсон. Пробило десять часов. Сидони резко оборвала романс и громко расхохоталась.

Рислер поднял голову.

— Чему ты смеешься?

— Так… Ничего… Я вспомнила… — ответила Сидони, подмигнув г-же Добсон и взглядом указав ей на часы.

Стрелки показывали назначенный для свидания час, и она подумала о муках влюбленного, напрасно ожидавшего ее.

После того как посланный вернулся, принеся Францу столь трепетно ожидаемое им согласие Сидони, в его взволнованной душе наступил покой, сразу ослабло нервное напряжение. Кончилась неизвестность, не было больше борьбы между страстью и долгом. Умолк голос совести, так долго мучивший его, и ему сразу стало легко. Спокойно занялся он приготовлениями к отъезду: уложил чемоданы, вынул все из комода и шкафов, и еще задолго до того часа, когда должны были прийти за вещами, он уже сидел на сундуке посреди комнаты, глядя на приколотую к стене географическую карту, являвшуюся как бы эмблемой его бродячей жизни, и следил глазами то за прямыми линиями железных дорог, то за извилистыми, как волна, чертами, обозначавшими океаны.

Ни разу не подумал он о том, что по другую сторону площадки кто-то вздыхает и плачет из-за него. Ни разу не подумал он об отчаянии брата, о той драме, которая разыграется здесь после их бегства. Он был далек от всего этого. Мысленно уносясь вперед, он уже видел себя на платформе вокзала вместе с Сидони, одетой во все темное, как подобает путешественнице и беглянке; потом еще дальше, на берегу синего моря, где они остановятся на некоторое время, чтобы замести следы… а потом еще, еще дальше, в незнакомой стране, где уже никто не потребует, не отнимет ее у него. Или воображал, что он в поезде, мчащемся ночью по пустынным полям. Видел рядом с собой на подушке прелестное бледное личико, свежие, как цветок, губы почти у самых своих губ и чудные глаза, устремленные на него при мягком свете лампы, слышал убаюкивающий стук колес и свист пара.

Так свисти и реви, локомотив, сотрясай землю, озаряй красным заревом небо, изрыгай дым и пламя! Ныряй в туннели, пересекай горы и реки, мчись, пылай, греми, но унеси нас с собой, унеси подальше от обитаемого мира, от его законов, привязанностей, унеси нас от жизни, от нас самих!..

За два часа до открытия кассы Франц был уже на Лионском вокзале. Расположенный в отдаленной части Парижа, этот унылый вокзал представляет собой как бы первую остановку в провинции. Франц забрался в самый темный угол и сидел там неподвижно, точно оцепенев. В голове у него царили такое же возбуждение и смятение, как и на вокзале. На него нахлынула волна сумбурных мыслей, смутных воспоминаний, странных сопоставлений. За одну минуту он совершал такие путешествия в отдаленнейшие уголки своей памяти, что два или три раза задавался даже вопросом, зачем он здесь и чего ждет. Но образ Сидони, врываясь в хаос его мыслей, сразу прояснял их.

Она сейчас придет…

И, хотя назначенный для встречи час был еще очень далек, он машинально вглядывался в спешивших, окликавших друг друга людей в надежде увидеть изящный силуэт Сидони, которая вдруг отделится от толпы, заставляя всех расступиться перед своей ослепительной красотой.

Прибыло и отправилось несколько поездов. Отзвучали под сводами резкие свистки паровоза, и на вокзале вдруг стало пусто и безлюдно, как в церкви в будний день.

Скоро должен был прибыть и десятичасовой поезд. Других до него не будет. Франц встал.

Теперь это была уже не мечта, не химера, теряющаяся в неопределенных границах времени.

Через четверть часа, самое большее через полчаса, она будет здесь.

И для него началась страшная пытка ожидания — то напряжение всего существа, то странное состояние души и тела, когда сердце словно перестает биться, дыхание прерывается, как и мысли, когда жесты, фразы остаются неоконченными, когда все замирает в ожидании. Поэты сотни раз описывали волнение и муки любовника, прислушивающегося к стуку экипажа на пустынной улице, к робким, крадущимся шагам на лестнице.

Но ждать свою возлюбленную на железнодорожной станции, в общем зале, — это еще тяжелее. Тусклый свет ламп, не играющий на запыленном полу, широкие окна, беспрестанный шум шагов и стук дверей — звуки, которые жадно ловит настороженный слух, — высокие голые стены с красующимися на них объявлениями: «Увеселительный поезд в Монако.

Поездка по Швейцарии», — безучастные лица вокруг — вся эта обстановка, говорящая о путешествиях, о переменах, как бы создана для того, чтобы сжимать сердце и усиливать тоску.

Франц ходил взад и вперед, карауля прибывавшие экипажи. Они останавливались у длинных каменных ступеней подъезда. Дверцы открывались, с шумом захлопывались, и, выплывая из мрака улицы, на освещенном пороге одно за другим показывались спокойные или взволнованные, счастливые или огорченные лица, шляпки с перьями под светлыми вуалями, чепцы крестьянок, сонные ребятишки, которых тащили за руку… Появление каждого нового лица заставляло Франца вздрагивать. Под каждой вуалью ему мерещилась Сидони, нерешительная, смущенная. Как быстро подбежал бы он к ней, чтобы успокоить, защитить ее!..

По мере того как вокзал наполнялся народом, наблюдение становилось все затруднительнее. Экипажи следовали непрерывным потоком. Франц принужден был бегать от одной двери к другой. Наконец он вышел на улицу, решив, что там легче заметить Сидони; к тому же давившее его беспокойство становилось невыносимым в пошлой обстановке душного зала.

Стояла мягкая сентябрьская погода. В воздухе висел легкий туман, фонари экипажей, поднимавшихся по длинной, шедшей в гору улице, казались издали тусклыми, расплывчатыми пятнами. Каждый из экипажей точно говорил ему, подъезжая: «Это я!.. Вот и я!..» Но не Сидони выходила из него, и экипаж, за которым он следил издали с сердцем, полным надежды, как будто в нем было заключено нечто большее, чем его жизнь, поворачивал обратно к Парижу, пустой и легкий.

Время отхода поезда приближалось. Франц посмотрел на часы — оставалось каких-нибудь пятнадцать минут. Его охватил ужас. Но звонок открывшейся кассы призывал его. Он побежал туда и занял место в длинной очереди.

— Два билета первого класса до Марселя, — сказал он, и ему казалось, что тем самым он как будто уже закрепил за собой Сидони.

Пробираясь между тачками с багажом и запоздавшими пассажирами, которые на ходу толкали друг друга, он вернулся на свой наблюдательный пост. Кучера кричали ему: «Берегись!» Он сновал между экипажами, рискуя попасть под копыта лошадей, оглушенный, с широко раскрытыми глазами. Теперь оставалось всего пять минут… Она не успеет! Публика спешила в залы. Вещи сдавали в багаж. Большие тюки, зашитые в холст, чемоданы с медными гвоздями, сумки коммивояжеров на ремне через плечо, корзинки самой разнообразной формы и величины — все это,

качаясь и подпрыгивая, с одинаковой быстротой ныряло в одну дверь.

Наконец она появилась…

Да, это она, конечно, она, вот та женщина в черном, тонкая, стройная, а с ней другая, пониже, вероятно, г-жа Добсон. Но, взглянув повнимательнее, он увидел, что ошибся. Это была молодая женщина, похожая на нее: такая же изящная парижанка, со счастливым лицом. К ней подошел мужчина, тоже молодой. Они, по-видимому, отправлялись в свадебное путешествие; их провожала мать.

Они прошли мимо Франца, увлекаемые захлестнувшим их потоком счастья. С завистью и со злобой смотрел он, как скрылись они за дверью, тесно прижавшись друг к другу, такие близкие в этой чужой для них толпе.

Ему казалось, что эти люди обокрали его, что они займут сейчас в поезде места, принадлежащие ему и Сидони…

Но вот уже начинается предотъездная суматоха, слышится последний удар колокола, глухой шум разводимых паров, поспешные шаги запоздавших пассажиров, хлопанье дверей, грохот тяжелых омнибусов… А Сидони все нет и нет… А Франц все ждет… Вдруг на его плечо опускается чья-то рука.

Боже!

Он оборачивается. Перед ним большая голова г-на Гардинуа в шапке с наушниками.

— Ну да, я не ошибся, это господин Рислер. Вы едете марсельским экспрессом? Я тоже, но только я недалеко.

Он объясняет Францу, что опоздал на орлеанский поезд и рассчитывает добраться до Савиньи по Лионской дороге. Потом начинает говорить о Рислере-старшем, о фабрике.

— Последнее время дела, как видно, идут неважно… Они здорово влипли с банкротством Бонарделя… Да, нашим молодым людям не мешает быть поосторожнее… При их способе вести дела с ними может случиться то же самое, что и с Бонарделями… Однако, извините, кажется, закрывают кассу. До свидания!

Франц едва слышит, о чем говорит ему Гардинуа. Разорение брата, крушение всей вселенной — ничто не существует для него сейчас. Он ждет… ждет…

Но вот окошечко кассы резко захлопывается, как последний барьер перед его упрямой надеждой. Вокзал снова пустеет. Весь шум и вся суета переносятся на платформу. И вдруг пронзительный, теряющийся во тьме ночи свисток доносится до влюбленного, как иронический, прощальный

привет.

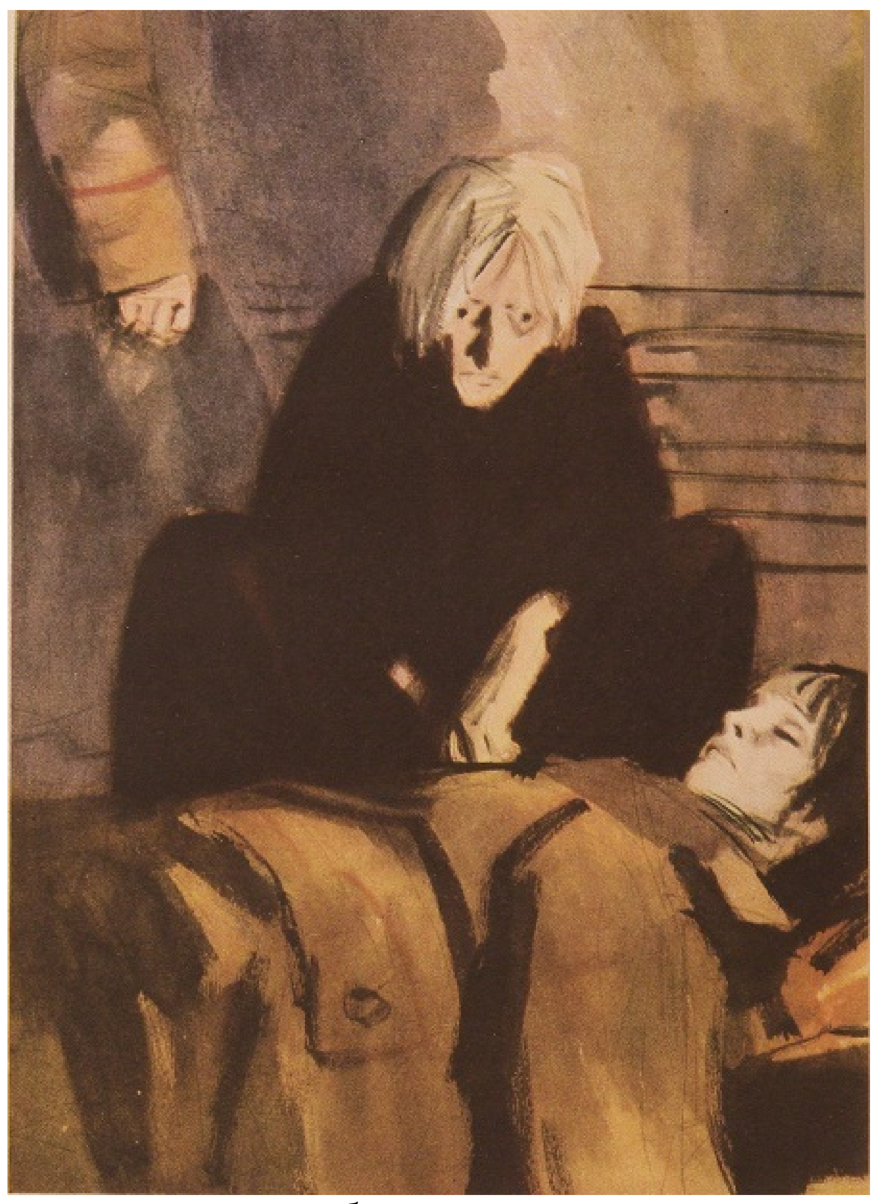
Десятичасовой поезд ушел.

Франц старается спокойно обдумать положение. Очевидно, она опоздала на аньерский поезд, но она знает, что он ждет ее, и непременно приедет, хотя бы и поздно ночью. Подождем еще. Для того ведь и предназначен этот зал.

Несчастный садится на скамейку. Широкие окна уже закрыты. Они потемнели и отсвечивают, как будто заклеены глянцевитой бумагой. В книжном киоске полусонная продавщица приводит в порядок свой товар. Он машинально смотрит на железнодорожную библиотеку, на ряды пестрых книг, заглавия которых он успел выучить наизусть за четыре часа своего пребывания здесь.

Многие из этих книг он читал в палатке в Исмаилии или на пароходе, который вез его из Суэца, и эти шаблонные, пустые романы навсегда сохранили для него аромат моря и экзотики. Но вот киоск закрывается, и у него нет уже и этого средства, чтобы обмануть усталость и лихорадку ожидания. Палатка с игрушками тоже прячется за дощатую загородку. Свистки, тачки, лейки, лопатки, грабли — весь дачный инвентарь маленьких парижан исчезает в один миг. Продавщица, болезненная женщина с печальным лицом, укутывается в старенькое пальтишко и уходит с грелкой в руках.

Все эти люди закончили свой трудовой день, дождавшись последней минуты, с мужеством и упорством, присущими Парижу, который тушит фонари только на рассвете.



Мысль о позднем бодрствовании заставляет Франца вспомнить об одной хорошо знакомой ему комнатке, где в этот час лампа гаснет на столе, заваленном колибри и блестящими насекомыми. Но это видение быстро исчезает в хаосе беспорядочных мыслей, рожденных лихорадкой ожидания.

Вдруг он почувствовал, что умирает от жажды. Буфет еще открыт. Он входит. Ночные официанты дремлют, прикорнув на скамейках. Пол залит опивками. Франца долго заставляют ждать, а когда наконец подают, у него вдруг мелькает мысль, что в его отсутствие приехала Сидони и теперь ищет его в зале. Он вскакивает и бежит, как сумасшедший, оставив на столе деньги и полный стакан.



Нет, она не придет.

Он это чувствует.

Он ходит взад и вперед по привокзальной площади, и его размеренные, монотонные шаги раздражают его слух, напоминая ему о его одиночестве и неудаче.

Но что же все-таки случилось? Кто мог задержать ее? Не заболела ли она? Или, может быть, почувствовала преждевременные угрызения совести? Но в таком случае она, наверно, предупредила бы, послала г-жу Добсон… А может быть, Рислер нашел его письмо? Ведь она такая безрассудная, неосторожная!

Он терялся в догадках, а время шло. Погруженные во мрак корпуса Маза уже начинали светлеть, их контуры вырисовывались ясней. Что

предпринять? Немедленно ехать в Аньер, постараться узнать, выяснить, что произошло… Скорей бы уж быть там!..

Приняв решение, он бегом спустился с вокзального крыльца, не замечая ни идущих навстречу солдат с котомками за плечами, ни бедняков, что явились к утреннему поезду, поезду рано поднимающейся бедноты.

Он шел по предрассветному Парижу, унылому и холодному в этот час, Парижу, где фонари полицейских постов бросали то здесь, то там свой красный свет и где попарно шагали блюстители порядка, останавливаясь на углах улиц и зорко вглядываясь в темноту.

Перед одним из таких постов он увидел толпу тряпичников и простолюдинок. Несомненно, их привлекла сюда какая-то ночная драма, развязка которой наступит у комиссара полиции. Ах, если б Франц знал, что это за драма!.. Но ему это и в голову не могло прийти, и он равнодушно посмотрел издали в ту сторону.

И все же неприглядное зрелище, бледная, вяло занимающаяся над Парижем заря, мигающие, как погребальные свечи, фонари на берегу Сены, его усталость после бессонной ночи — все это навеяло на него бесконечную грусть.

Когда после двух — или трехчасовой ходьбы он пришел в Аньер, он словно очнулся от сна.

Солнце вставало во всем своем блеске, заливая ярким пламенем равнину и реку. Мост, дома, набережная — все было по-утреннему ясно и прозрачно, все говорило о том, что новый день, лучезарный и прекрасный, идет на смену густому мраку ночи. Издали Франц заметил дом своего брата, уже проснувшийся, с открытыми ставнями и цветами на подоконниках. Не решаясь войти, он бродил около дома.

Вдруг кто-то окликнул его с берега:

— А, господин Франц!.. Что это вы так рано сегодня?

Это был кучер Сидони; он шел купать лошадей.

— Как тут у вас, все в порядке? — спросил Франц, весь дрожа.

— Да, господин Франц.

— Брат дома?

— Нет, господин Рислер ночевал на фабрике.

— Все здоровы?

— Как будто все, господин Франц.

Лошади, вспенивая воду, вошли в реку по грудь.

Франц наконец решился и позвонил у калитки.

В саду чистили дорожки. Весь дом был в движении, и, несмотря на ранний час, слышен был голос Сидони, ясный и звонкий, как пение птички

в розовых кустах перед домом.

Она с кем-то оживленно разговаривала.

Франц, взволнованный, подошел ближе, чтобы послушать.

— Нет, крема не надо… Достаточно одного парфе… Но только чтобы оно было хорошо заморожено. Приготовьте к семи часам. А на закуску… Что бы такое придумать на закуску?..

Это было важное совещание с кухаркой по поводу званого обеда, назначенного на завтрашний день. Внезапное появление деверя нисколько не смутило ее.

— А, доброе утро, Франц! — сказала она очень спокойно. — Сейчас я буду к вашим услугам. Завтра у нас большой деловой обед, приглашены клиенты фабрики… Вы меня извините?

Свежая, сияющая, в белых рюшах длинного пеньюара и кружевного чепца, она продолжала составлять меню, вдыхая свежий воздух, который шел от лугов и реки. На ее отдохнувшем за ночь лице не было ни малейшего следа печали или беспокойства. Ее гладкий лоб, прелестный наивный взгляд, который должен был надолго сохранить ей молодость, ее полуоткрытые розовые губы являли странный контраст с лицом влюбленного, искаженным от мук и усталости.

Сидя в углу гостиной, Франц в течение четверти часа, показавшегося ему бесконечным, слушал, как перечисляли в обычном порядке дежурные блюда буржуазного обеда, начиная с горячих пирожков, нормандской камбалы и бесчисленных приправ к ней и кончая монтрейльскими персиками и виноградом из Фонтенебло. Сидони не пожертвовала для него ни одной закуской.

Наконец, когда они остались одни, он спросил глухим голосом:

— Вы, значит, не получили моего письма?

— Нет, как же, получила.

Она встала, чтобы поправить перед зеркалом мелкие кудряшки, запутавшиеся в развевающихся лентах, и, разглядывая себя, продолжала:

— Как же, я получила ваше письмо. Я даже пришла в восторг, получив его… Теперь, если вы надумаете сунуться к вашему брату с гнусными доносами, которыми вы мне угрожали, мне легко будет доказать ему, что единственной причиной ваших лживых обвинений является досада на то, что я отвергла — да и как могло быть иначе? — вашу преступную любовь. Теперь вы предупреждены, мой милый, и… до свидания!

Довольная, как актриса, произнесшая эффектный монолог, она прошла мимо него и вышла из гостиной, насмешливо улыбаясь, торжествующая и спокойная.

И он не убил ее!

V. ПРОИСШЕСТВИЕ

Накануне этого злосчастного дня, вскоре после того как Франц украдкой покинул свою комнату на улице Брак, знаменитый Делобель пришел домой потрясенный, с усталым и разочарованным видом, какой он всегда напускал на себя при неприятных событиях.

— Боже мой, что с тобой? Что случилось?

Жена, не научившаяся еще за двадцать лет спокойно относиться к его преувеличенно драматической мимике, бросилась к нему.

Прежде чем ответить, бывший актер, никогда не упускавший случая предпослать своим самым незначительным словам какую-нибудь гримасу, заученную им когда-то для сцены, опустил углы рта в знак сильнейшего отвращения, как будто он проглотил что-то очень горькое.

— А то, — сказал он, — что эти Рислеры положительно неблагодарные люди или эгоисты и уж, конечно, дурно воспитаны. Знаете, что сообщила мне сейчас внизу консьержка, ехидно поглядев на меня при этом? Так вот… Франц Рислер уехал. Он оставил этот дом, а в данную минуту, может быть, уже и Париж, и не зашел даже пожать мне руку, поблагодарить за оказанное ему гостеприимство… Как вы это находите?.. Ведь, он и с вами тоже не попрощался, правда? А между тем месяц тому назад он целыми днями торчал у нас, не в упрек ему будь сказано.

Мамаша Делобель невольно вскрикнула от удивления, и в голосе ее послышалось искреннее огорчение. Дезире, напротив, не вымолвила ни слова, не пошевелилась. Одним словом, ледышка. Даже проволока, которую она вертела, не остановилась в ее проворных пальцах…

— Вот вам и друзья, — продолжал знаменитый Делобель. — А этому-то, спрашивается, что я сделал?

Он считал — это было одной из его многочисленных претензий, — что весь мир преследует его своей ненавистью. Это давало ему основание разыгрывать в жизни роль человека, распинаемого за преданность искусству.

Кротко, почти с материнской нежностью, — ведь всегда есть что-то материнское в снисходительной и всепрощающей любви, которую внушают к себе взрослые дети, — г-жа Делобель утешала мужа, ласкала его, прибавила даже к обеду сладкое блюдо. Бедняга и в самом деле был по-настоящему огорчен: роль вечного амфитриона,[16] перешедшая от Рислера-старшего к Францу, с его отъездом снова оставалась вакантной, и актер уже

заранее скорбел о том, что будет лишен теперь многих удовольствий.

И подумать только, что рядом с этим эгоистичным, поверхностным горем здесь была настоящая, глубокая скорбь, скорбь, которая убивает, а ослепленная мать даже не заметила этого! Взгляни же на свою дочь, несчастная женщина! Взгляни на эту прозрачную бледность, на эти сухие, горящие глаза, устремленные в одну точку, как будто все свое внимание они сосредоточили на предмете, видимом только им одним. Заставь открыться эту замкнутую, страдающую душу. Расспроси свою дочь. Заставь ее говорить, заставь ее, главное, плакать, чтобы она освободилась от давящей ее тяжести, чтобы ее затуманенные слезами глаза перестали различать в пустоте то страшное и неизвестное, во что они всматриваются с таким отчаянием.

Увы!..

Есть женщины, в которых мать убивает жену. В ней жена убила мать. Жрица бога Делобеля, поглощенная созерцанием своего кумира, она воображала, что и дочь явилась на свет только для того, чтобы посвятить себя тому же культу, преклонить колени перед тем же алтарем. У обеих не должно было быть в жизни иной цели, как только работать во славу великого человека, быть утешительницами этого непризнанного гения. Остальное для нее не существовало.

Мать никогда не замечала, как краснела Дезире при появлении Франца в мастерской, никогда не замечала она всех уловок, к которым прибегала влюбленная девушка, чтобы навести разговор на своего любимого и лишний раз упомянуть его имя в их беседах за работой. А ведь это продолжалось уже много лет, вело начало с того давнего времени, когда Франц посещал Училище гражданских инженеров и уходил туда по утрам, в час, когда обе женщины, зажигая лампу, начинали свой трудовой день. Никогда не нарушила она того длительного молчания, в которое счастливая и доверчивая молодость замыкается со своими мечтами о будущем на двойной поворот ключа. И если, тяготясь молчанием дочери, она и спрашивала ее иногда: «Что с тобой?» — то достаточно было Дезире ответить: «Ничего», — и мысль матери, отвлекшись на минуту от любимого предмета, снова обращалась к нему.

Эта женщина, читавшая в сердце своего мужа, угадывавшая его настроение по малейшей складке его олимпийски бездумного чела, ни разу не проявила по отношению к бедной Зизи той нежной чуткости, благодаря которой самая старая, самая измученная жизнью мать как бы вновь обретает молодость, становясь другом своего ребенка, его поверенной и советчицей.

Бессознательный эгоизм таких людей, как Делобель, именно тем и страшен, что он делает безучастными ко всем окружающим и тех, кто всецело посвящает себя им.

Укоренившееся в некоторых семьях обыкновение сосредоточивать все внимание на одном существе невольно оставляет в тени радости и горести, не имеющие отношения к этому кумиру.

А, позвольте спросить, какое отношение к славе великого артиста могла иметь тяжкая драма, переполнявшая скорбью сердце бедной влюбленной девушки?

Между тем Дезире очень страдала.

Вот уже около месяца, с того самого дня, как Сидони в собственной карете приехала за Францем, Дезире стало ясно, что он ее больше не любит, и она знала теперь, кто ее соперница. Она не сердилась на них, скорее, даже жалела их. Но только зачем же тогда он снова пришел к ним? Зачем так легкомысленно подал ей обманчивую надежду? Несчастные узники, обреченные на вечный мрак одиночной камеры, приучают постепенно свои глаза к темноте, а тело — к узкому пространству, и если их выводят на минуту на свет, то потом, по возвращении, камера кажется им еще печальнее, мрак еще гуще. Так и ей, бедняжке, после того как исчез внезапно ворвавшийся в ее жизнь яркий свет, заточение показалось еще ужаснее. Сколько слез безмолвно проглотила

166 она с тех пор! Сколько горя поведала своим птичкам! Но и на этот раз ее снова поддержал труд, упорный, непрерывный труд, который своей регулярностью, монотонностью, постоянным повторением одних и тех же усилий и движений служил как бы регулятором для ее мыслей.

И подобно тому, как под ее пальцами маленькие мертвые птички вновь обретали видимость жизни, так и ее иллюзии и надежды — тоже мертвые и полные еще более тонкого и сильного яда, чем тот, что пылью носился вокруг ее рабочего стола, — порой еще взмахивали крыльями в порыве тоски, в стремлении воскреснуть. Франц был для нее еще не совсем потерян. Хотя он заходил к ним лишь изредка, она все же знала, что он здесь, близко, слышала, как он приходил и уходил, как нервно шагал по комнате, а иногда в полуоткрытую дверь ей случалось увидеть его милый, быстро промелькнувший силуэт. Он не производил впечатления счастливого человека. Да в какое счастье могло ожидать его? Он любил жену своего брата. И при мысли, что Франц несчастлив, доброе создание почти забывало собственное горе и думало только о горе своего друга.

Она хорошо понимала, что он не вернется к ней, не полюбит ее вновь. Но она думала, что, быть может, настанет день, когда он войдет к ней

измученный, истерзанный, сядет около нее на низенький стульчик и, положив голову к ней на колени, с горьким рыданием поведает свою печаль, моля утешить его.

Эта жалкая надежда поддерживала ее целых три недели. Ей так мало было нужно!

Так нет, даже в этом ей было отказано! Франц уехал, — уехал, не взглянув на нее, не простившись с ней. После измены возлюбленного — измена друга. Как вто ужасно!..

При первых же словах отца она почувствовала, что катится в глубокую пропасть, ледяную, полную мрака пропасть, катится быстро, неудержимо, сознавая, что ей уже не вернуться к свету. Она задыхалась. Ей хотелось бороться, сопротивляться, звать на помощь.

Но кого?

Она хорошо понимала, что мать не услышит ее.

Сидони?.. О, теперь она узнала ее! Лучше уж было бы обратиться к маленьким птичкам с блестящими перышками, чьи лукавые глазки так весело и равнодушно смотрели на нее.

Самое ужасное было то, что она сразу поняла, что на этот раз ее не спасет и работа. Она утратила для нее свое благотворное действие. Иссякла сила в руках, безжизненно повисли они вдоль тела, надломленные безграничным отчаянием.

Кто мог поддержать ее в этом страшном смятении чувств?

Бог? То, что называют небом?

Она даже не подумала об этом. В Париже, особенно в рабочих кварталах, дома слишком высоки, улицы слишком узки, воздух слишком сгущен, и неба не видно. Его заволакивает фабричный дым, испарения, подымающиеся от сырых крыш. К тому же для большинства этих людей жизнь так сурова, что если б среди всех своих невзгод они и вспомнили о провидении, то для того лишь, чтобы показать ему кулак и осыпать проклятиями. Вот почему так много самоубийств в Париже. Эти люди, не умеющие молиться, смело смотрят в глаза смерти. Среди своих испытаний они всегда помнят о том, что в любую минуту она может дать им покой, избавить от всех страданий.

На нее-то и устремила свой пристальный взгляд бедная хромоножка.

Она сразу приняла решение: надо умереть.

Но как?

Нелепая жизнь вокруг нее шла своим чередом, — мать готовила обед, а великий человек произносил длинный монолог, бичующий людскую неблагодарность, а она, сидя неподвижно в своем кресле, обдумывала,

какой род смерти ей избрать. Она почти никогда не оставалась одна, а потому нечего было и думать о жаровне с углями, которую разжигают, предварительно закрыв наглухо двери и окна. Она никогда не выходила из дому, а потому не могла думать и о яде, о маленьком пакетике белого порошка, который покупают у торговца лекарственными травами и засовывают глубоко в карман вместе с игольником и наперстком. Можно было, правда, воспользоваться серными спичками, окисью медных монет, окном, открытым на мостовую, но мысль, что родителям представится страшное зрелище ее самоубийства, что вид ее останков, подобранных на глазах собравшейся толпы, приведет их в ужас, заставила ее отказаться и от этого способа.

Оставалась еще река.

Вода уносит иногда так далеко, что тела утопленника не находят и смерть покрывается тайной…

Река!..

Дезире содрогнулась при одной мысли о ней. Но не вид темной и глубокой воды пугал ее. Парижским девушкам это нипочем. Набрасывают на голову передник, чтобы не видеть, и бух в воду!.. Но чтобы добраться до реки, надо выйти из дома, идти одной по улице, а улица пугала ее.

Пока несчастная девушка мысленно неслась к смерти и забвению, заглядывая в страшную бездну блуждающими глазами, в которых уже светилось безумие самоубийства, знаменитый Делобель понемногу оживлялся, говорил менее драматическим тоном. А когда ему на обед подали его любимую капусту, он совсем растаял, начал вспоминать старые триумфы, золотой венок, алансонскую публику и сразу же после обеда, подтянутый, щегольски одетый, в белоснежных манжетах, с новеньким блестящим пятифранковиком в кармане, который дала ему жена, чтобы он мог покутить хорошенько, отправился в Одеон посмотреть дебютировавшего в «Мизантропе»[17] Робрикара.

— Я очень рада, — говорила г-жа Делобель, убирая со стола, — отец сегодня хорошо пообедал. Это немного утешило беднягу, а театр развлечет его. Ему это просто необходимо…

…Да, самое страшное — идти одной по улице. Надо дождаться, когда потушат газ, и, как только мать ляжет спать, потихоньку спуститься с лестницы, попросить консьержку открыть дверь и двинуться в путь по этому ужасному Парижу, где встречаются мужчины, нагло заглядывающие вам в глаза, где на каждом шагу попадаются залитые светом кафе.

У Дезире с детства страх перед улицей. Когда ее, совсем еще маленькую, посылали за покупками, мальчишки со смехом бежали за нею,

и она затруднилась бы сказать, что больнее задевало ее: ковыляние наглых ребятишек, передразнивавших ее походку, или жалость прохожих, которые из сострадания отводили взгляд от нее.

Вдобавок она боится лошадей, омнибусов. Река далеко. Она устанет. А между тем другого способа у нее нет.

— Я лягу, дочурка, а ты? Посидишь еще?

Опустив глаза на работу, «дочурка» отвечает, что она еще посидит. Она хочет закончить дюжину.

— Тогда спокойной ночи, — говорит мать; ослабевшее зрение не позволяло ей допоздна работать при свете. — Ужин для отца я поставила поближе к огню. Взгляни на него перед сном.

Дезире не солгала. Она хочет закончить дюжину, чтобы отец мог отнести ее завтра утром. Право, глядя на ату головку, спокойно склонившуюся под ярким светом лампы, никто не заподозрил бы, что в ней бродят такие мрачные мысли.

Наконец готова и последняя птичка из дюжины, прелестная маленькая птичка с крылышками цвета морской воды: они совсем зеленые, с сапфировым отливом.

Тщательно, изящно насаживает ее Дезире на проволоку, придавая ей позу вспугнутой, готовой улететь птицы.

Да, маленькая голубая птичка вот-вот улетит. Как отчаянно взмахнула она крыльями! Так и чувствуется, что на этот раз ей предстоит дальний путь, последний путь, без возврата…

Но вот работа кончена, со стола прибрано, последние обрывки шелка тщательно подобраны с пола, булавки воткнуты в подушечку.

Отец, вернувшись домой, найдет при свете лампы с приспущенным огнем свой ужин в теплой золе, и этот страшный, зловещий вечер покажется ему благодаря порядку в квартире и строгому соблюдению его малейших привычек таким же мирным, как и все остальные. Дезире тихонько открывает шкаф, достает платок, закутывается в него и уходит.

Как? Ни одного взгляда в сторону матери, ни безмолвного прощания, ни тени растроганности?.. Да… С ужасающей прозорливостью тех, кто стоит на пороге смерти, она вдруг поняла, какой эгоистической любви были принесены в жертву ее детство и молодость. Она хорошо знает, что одного слова великого человека будет достаточно, чтобы утешить эту спящую женщину, и она даже немного сердита на мать: почему та не просыпается, не открывает глаз, так спокойно дает ей уйти?

Когда умираешь молодым, пусть даже и по своей воле, это никогда не обходится без внутреннего протеста, и бедная Дезире, уходя из жизни,

негодует на свою судьбу.

Вот она и на улице. Куда она идет? Кругом безлюдно. Эти кварталы, такие оживленные днем, затихают ранним вечером. Здесь слишком много работают и потому рано ложатся. И в то время как Большие бульвары, еще полные жизни, отбрасывают на весь Париж розовый отблеск своих огней, здесь все ворота уже заперты, лавки и окна домов закрыты ставнями. И только запоздалый стук молотка у двери, шаги полицейского, которого слышишь, но не видишь, да прерывистый монолог спотыкающегося пьяницы нарушают порой тишину. А то вдруг с соседних набережных налетит сильный порыв ветра, хлопнет дверцей уличного фонаря, заскрипит старой веревкой блока и, затихнув на повороте улицы, со свистом пропадет под какой-нибудь неплотно закрытой дверью.

Закутавшись в платок, Дезире быстро шагает вперед; голова ее высоко поднята, глаза сухи. Она не знает дороги и идет все прямо, прямо.

Темные узкие улицы Маре, где мигают одинокие газовые рожки, скрещиваются, извиваются, и Дезире в своих лихорадочных поисках все время возвращается на прежнее место. Она никак не может попасть к реке. А между тем она чувствует на своем лице ее влажное, свежее дыхание. Право, можно подумать, что вода отступает, прячется за барьеры, что толстые стены и высокие дома нарочно вырастают перед ней, чтобы заслонить ей путь к смерти. Но бедная хромоножка не теряет мужества и все идет и идет по неровной мостовой старых улиц.

Случалось ли вам когда-нибудь вечером после охоты видеть, как тащится по борозде раненая куропатка? Волоча окровавленное крыло, она ползет, прильнув к земле, в поисках убежища, где могла бы спокойно умереть. На нее-то и походила эта маленькая тень, которая, ковыляя по тротуарам, боязливо жалась к стенам домов. И подумать только, что в этот час, чуть ли не в том же квартале, кто-то еще бродил вот так же по улицам, поджидая, карауля и терзаясь отчаянием! Ах, если б они могли встретиться!.. Если б она подошла к этому взволнованному прохожему, спросила у него дорогу: «Скажите, пожалуйста, как пройти к Сене?..» Он сразу узнал бы ее: «Как! Это вы, мамзель Зизи? Почему вы на улице в такой поздний час?»-«Я иду умирать, Франц. Вы отняли у меня желание жить».

И тогда, потрясенный, он прижал бы ее к себе и унес на руках.

«Нет, нет, не умирай! — сказал бы он ей. — ты нужна мне, чтобы утешить меня, чтобы исцелить от боли, которую причинила мне та, другая».

Но то лишь мечта поэта, — таких встреч не бывает в жизни. Суровая жизнь слишком жестока! И если для чьего-то спасения требуется иногда

очень немногое, она отказывает и в этом немногом. Вот почему так печальны невыдуманные романы.

Все улицы и улицы, а затем площадь и мост, фонари которого вычерчивают в темной воде другой сверкающий мост. Вот, наконец, и река. Дезире совсем не знала Парижа, и сейчас, сквозь туман сырого осеннего вечера, он кажется ей причудливо огромным, а незнакомые места еще усиливают это впечатление. Да, именно здесь нужно ей умереть.

Она чувствует себя такой маленькой, такой одинокой и затерянной среди огромного, сверкающего огнями, пустынного города!.. Ей кажется, что она уже умерла. Она приближается к набережной, и вдруг запах цветов, зелени и разрыхленной земли заставляет ее на минуту остановиться. У ног ее, на тротуаре, который тянется вдоль берега, выставлено для завтрашнего базара множество кустов, укутанных в солому; тут же горшки с цветами, обернутые в белую бумагу. Закутавшись в шали и поставив ноги на грелку, сонные, оцепеневшие от ночного холода, развалились на своих стульчиках торговки. Разноцветные китайские астры, резеда, поздние розы наполняют воздух своим ароматом. Вырисовываясь в полосе лунного света и отбрасывая вокруг себя легкую тень, все эти цветы, вырытые из родной земли и привезенные сюда, ждут пробуждения Парижа, чтобы служить его прихоти.

Бедная маленькая Дезире! Вся ее молодость, все ее редкие дни радости и ее обманутая любовь встают перед нею в благоухании этого передвижного сада. Она медленно продвигается среди цветов. То и дело порыв ветра, сплетая листья кустов, шелестит ими, точно ветками в роще, а с обочин тротуаров, от корзин, полных выкопанных растений, поднимается запах сырой, влажной земли.

Она вспоминает загородную прогулку, которую устроил для нее Франц. Сейчас, перед смертью, она снова чувствует дуновение природы, коснувшееся ее тогда в первый раз. «Помнишь?» — как будто говорит оно ей, и она отвечает про себя: «О да! Я помню!»

Она слишком хорошо это помнит… Дойдя до конца набережной, разукрашенной как для праздника, маленькая крадущаяся тень останавливается на лестнице, спускающейся к воде…

Почти тотчас же вдоль всей набережной поднимаются шум и, крики:

— Скорее лодку, багры!

Со всех сторон сбегаются лодочники и полицейские. От берега отделяется лодка с фонарем на носу.

Цветочницы просыпаются. И когда одна из них, зевая, спрашивает, что случилось, торговка кофе, пристроившаяся у моста, спокойно отвечает:

— Какая-то женщина бултыхнулась в воду.

Но нет! Река не захотела взять эту молодую жизнь. Она сжалилась над прелестным, кротким существом. При свете фонарей, шныряющих внизу, у воды образуется группа, и она темным пятном движется вперед. Дезире спасена!.. Ее вытащил какой-то рабочий. Ее несут полицейские, окруженные лодочниками и грузчиками. В ночной тиши слышен хриплый, насмешливый голос:

— Ну и задала мне работу эта водяная курочка! Так и выскальзывала у меня из рук! Верно, не хотела, чтобы я получил награду…

Мало-помалу шум затихает, любопытные расходятся. Темная группа удаляется по направлению к полицейскому посту, цветочницы снова засыпают, и одни лишь китайские астры, колеблемые ночным ветром, шелестят на пустынной набережной.

Бедная девушка! Ты думала, что так легко уйти из жизни, сразу исчезнуть… Ты не знала, что, вместо того чтобы унести тебя в желанное небытие, река выбросит тебя и подвергнет позору и унижениям, которыми сопровождаются неудавшиеся самоубийства. Сначала полицейский участок: омерзительное место с засаленными скамьями и таким замызганным полом, что мокрая пыль на нем кажется уличной грязью. Здесь Дезире должна была провести остаток ночи. Ее положили на походную кровать перед печкой, затопленной из сострадания к ней, и ее набухшая одежда, с которой стекала вода, дымилась от нездорового жара. Где она? Она не отдавала себе в этом ясного отчета. Люди, лежавшие вокруг на таких же койках, унылая голая комната, вой и безобразная ругань двух пьяных, запертых за соседней дверью, в которую они неистово стучали кулаками, — все это бедная хромоножка видела и слышала точно сквозь сон, ничего не понимая.

Около нее у самой печки сидела на корточках женщина в лохмотьях с разметавшимися по плечам волосами. Ее растерянное лицо было так бледно, что даже красный отблеск огня не оживлял его. Это была сумасшедшая, подобранная ночью, несчастное создание, машинально качавшее головой и не перестававшее повторять бессмысленно, почти не шевеля губами: «Ах, беда!.. Ах, беда!..» Эта зловещая жалоба, раздававшаяся среди храпа спящих людей, причиняла Дезире невыносимое страдание. Она в ужасе закрывала глаза, чтобы не видеть безумного лица, казавшегося ей воплощением ее, Дезире, отчаяния. Время от времени входная дверь отворялась, голос сержанта выкрикивал какие-то имена, после чего двое полицейских выходили, а двое других входили и тут же падали на кровать, измученные, как матросы после ночной вахты.

Наконец забрезжил холодный бледный рассвет, столь тягостный для больных и несчастных. Внезапно очнувшись от оцепенения, Дезире приподнялась на койке, сбросила плащ, которым ее накрыли, и, несмотря на усталость и лихорадку, попыталась встать, чтобы хоть немного овладеть собой, собраться с мыслями. У нее было одно желание: скрыться от всех этих с любопытством уставившихся на нее глаз, уйти из этого страшного места, где так тяжело дышали и так беспокойно метались во сне.

— Прошу вас, господа, — сказала она, вся дрожа, — позвольте мне вернуться к маме.

Как ни привычны были эти люди к парижским драмам, они поняли, что перед ними что-то более благородное и трогательное, чем обычно. И все-таки они не могли еще отвести ее к матери. Сперва надо было явиться к полицейскому комиссару. Из жалости к ней вызвали фиакр, но, чтобы сесть в него, надо было выйти из участка, а у дверей уже собралась большая толпа, чтобы поглазеть на бедную хромоножку, а она шла с мокрыми, прилипшими к вискам волосами, одетая в полицейский плащ, что, впрочем, не мешало ей дрожать от холода.

В полицейском участке она должна была подняться по темной, сырой лестнице, где шныряли какие-то подозрительные личности. Как и во всех общественных местах, дверь здесь ежеминутно отворялась и затворялась. Всюду холодные, плохо освещенные комнаты, на скамьях — молчаливые, отупевшие, сонные люди, бродяги, воры, проститутки. За столом, покрытым старым зеленым сукном, — писарь, рослый детина в поношенном сюртуке, похожий на классного надзирателя.

Когда Дезире вошла, из темноты выступил какой-то мужчина и направился к ней, протягивая ей руку. Это был человек, ожидавший награды, — ее ненавистный двадцатипятифранковый спаситель.

— Ну что, малютка, — спросил он с циничным смехом, и его хриплый голос красноречиво говорил о ночах, проведенных на воде среди тумана, — как мы чувствуем себя после ырянья?

И он стал рассказывать присутствующим, как он выудил ее, как схватил сначала так, а потом вот так, и что, не будь его, она уж, конечно, плыла бы теперь к Руану.

Лицо несчастной горело от стыда и лихорадки; у нее было такое ощущение, будто вода все еще застилает ей глаза, шумит у нее в ушах. Наконец ее ввели в комнату поменьше, где важный чиновник с орденом, сам господия комиссар, сидел за столом и, просматривая «Судебную газету», маленькими глотками пил кофе с молоком.

_ А, это вы?.. — ворчливо проговорил он, макая хлеб в кофе и не

отрывая глаз от газеты.

Полицейский, доставивший Дезире, тут же начал читать свой рапорт:

«В одиннадцать часов сорок пять минут ночи на набережной Межиссери, перед домом номер семнадцать, именуемая Делобель, двадцати четырех лет от роду, цветочница, проживающая по улице Брак у своих родителей, покушаясь на самоубийство, бросилась в Сену, откуда была извлечена целой и невредимой рабочим Паршемине, проживающим на улице Бют-Шомон».

Г-н комиссар слушал, не переставая пить кофе, со спокойным, скучающим видом человека, которого уже ничто больше не удивляет. Наконец он бросил на «именуемую Делобель» строгий взгляд и как следует отчитал ее. То, что она сделала, очень нехорошо, очень дурно. Что могло толкнуть ее на такой поступок? Почему она решила покончить с собой? Ну, именуемая Делобель! Отвечайте! Почему?

Но «именуемая Делобель» ни за что не хотела ответить на этот вопрос. Ей казалось, что признаться в своей любви в таком месте значило бы осквернить эту любовь.

— Не знаю… не знаю… — шептала она, вся дрожа.

Раздосадованный, выведенный из терпения комиссар заявил, что ее отведут к родителям, но при одном условии: она должна обещать, что это никогда больше не повторится.

— Так вы обещаете мне?

— Обещаю, сударь…

— Никогда больше не будете?

— Конечно, нет… Никогда, никогда…

В ответ на ее уверения полицейский комиссар качал головой, точно не верил ее обещаниям.

И вот наконец она на улице, на пути к дому, к пристанищу. Но ее мучения еще не кончились…

Сопровождавший ее в экипаже полицейский был слишком вежлив, слишком любезен. Она делала вид, что ничего не понимает, отодвигалась, отнимала руку… Какая пытка!.. Но ужаснее всего было возвращение на улицу Брак, волнение в доме, любопытство соседей… Уже с утра всему кварталу стало известно об ее исчезновении, пронесся слух, будто она сбежала с Францем Рислером. Фидели, как рано утром знаменитый Делобель вышел из дому растерянный, в шляпе набекрень, с помятыми манжетами, что являлось для него признаком чрезвычайной озабоченности, а консьержка, принесшая им провизию, застала несчастную мать полуобезумевшей от горя: она бегала на комнаты в комнату и все искала,

нет ли где записки от дочери, какого-нибудь следа, который привел бы ее к разгадке.

В уме несчастной матери сверкнула вдруг запоздалая догадка, пролившая свет на поведение дочери в последние дни и на ее молчание при известии об отъезде Франца.

— Не плачь, жена!.. Я приведу ее, — сказал отец.

И с тех пор как он ушел, — столько же для того, чтобы навести справки, сколько и для того, чтобы не видеть ужасного горя жены, — она только и делала, что ходила от площадки к окну, от окна к площадке. Заслышав шаги на лестнице, она с бьющимся сердцем отворяла дверь и выбегала наружу. А когда возвращалась, то пустота квартирки, еще более ощутимая оттого, что опустело возле рабочего стола кресло Дезире, вызывала у нее потоки слез.

Но вот внизу у подъезда остановился экипаж. В доме забегали, послышались голоса:

— Госпожа Делобель, вот она!.. Ваша дочь нашлась!..

Да, это была Дезире. Бледная, едва держась на ногах, под руку с каким-то незнакомым человеком, поднималась она по лестнице, без шали и без шляпки, закутанная в широкий коричневый плащ. Увидев мать, она улыбнулась ей, но какой-то бессмысленной улыбкой.

— Не пугайся… это ничего… — с трудом промолвила она и безжизненно опустилась на ступеньку. Никогда не подумала бы г-жа Делобель, что она может быть такой сильной. Схватить дочь на руки, внести ее в комнату, уложить в постель оказалось для нее делом одной минуты. И она целовала ее, не переставая говорить:

— Наконец-то ты вернулась!.. Где ты была, бедная девочка? Скажи: неужели это правда, что ты хотела лишить себя жизни? Значит, у тебя было горе, большое горе?.. Почему же ты скрыла его от меня?

Видя мать в таком отчаянии, заплаканную и постаревшую за несколько часов, Дезире почувствовала сильные угрызения совести. Она вспомнила, что ушла, не простившись с нею, и что в глубине души она обвиняла мать в том, что та не любит ее.

Не любит ее!..

— Да я не пережила бы твоей смерти! — говорила бедная женщина. — Когда я утром встала и увидела, что твоя постель не смята и тебя нет в мастерской… я зашаталась и упала замертво… Ты согрелась?.. Тебе хорошо?.. Ты ведь никогда больше этого не сделаешь?.. Не захочешь умереть?

И она поправляла на ней одеяла, согревала ей ноги, прижимала к

груди, укачивала ее.

Лежа в постели с закрытыми глазами, Дезире вспоминала все подробности своего покушения на самоубийство, весь позор, через который она прошла, уйдя от смерти. Лихорадка усиливалась, и в тяжелом забытьи, начинавшем овладевать ею, бедняжку не переставало мучить и волновать ее ночное странствие по Парижу. Тысячи темных улиц вставали перед нею, и в конце каждой из них была Сена.

Ужасная река, которую ей так трудно было найти ночью, теперь преследовала ее.

У нее было такое ощущение, будто вся она забрызгана речной тиной, липким илом. Мучимая страшным кошмаром, бедная девушка, не зная, как избавиться от навязчивых воспоминаний, тихо шептала матери:

— Спрячь меня!.. Спрячь меня!.. Мне стыдно!

VI. ОНА ОБЕЩАЛА БОЛЬШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ

Нет, никогда больше не повторит она своей попытки. Господин комиссар может быть спокоен. Ему нечего опасаться. Да и как добралась бы она теперь до реки, когда она не может двинуться? Если бы господин комиссар увидел ее сейчас, он перестал бы сомневаться в ее словах. Правда, непоколебимое, роковое желание умереть, которое было написано в то утро на ее бледном лице, не исчезло еще и сейчас, но только выражение это стало мягче, в нем появилась покорность. «Именуемая Делобель» знает, что скоро, очень скоро ей больше нечего будет желать.

Доктора утверждают, что Дезире умирает от воспаления легких, которое она схватила, пробыв всю ночь в мокрой одежде. Доктора ошибаются; это вовсе не воспаление легких. Так, значит, она умирает от любви?.. Тоже нет. После той страшной ночи она не думает больше о Франце — она считает, что недостойна ни любить, ни быть любимой. Отныне на ее безупречно чистой жизни появилось пятно; вот от чего она умирает.

Ее появление из воды на глазах собравшихся мужчин, тяжелая ночь, проведенная в участке, гнусные песни, которые она там слышала, сумасшедшая старуха, гревшаяся у печки, все порочное, нездоровое и жуткое, с чем столкнулась она на лестнице, презрительные взгляды одних, бесстыдство других, шутки ее спасителя, любезности полицейского, оскорбившие ее женскую скромность, необходимость назвать свое имя и, наконец, стыд за свое увечье, преследовавший Дезире на всем ее мученическом пути, как злая ирония, как лишняя насмешка над ее попыткой покончить с собой из-за любви, — каждая подробность этой страшной драмы кажется ей позором…

Да, она умирает от стыда. Ночью в бреду она то и дело повторяет: «Мне стыдно, мне стыдно!» — а в минуты успокоения кутается с головой в одеяло, как бы желая спрятаться, стать невидимой.

У постели Дезире при свете окна работает мамаша Делобель. Время от времени она поднимает глаза и незаметно для дочери вглядывается в выражение немого отчаяния на ее лице, стараясь проникнуть в тайну ее недуга… а затем снова поспешно принимается за работу. Несчастные бедняки не могут свободно предаваться горю. Надо работать, работать неустанно, и даже тогда, когда рядом бродит смерть, думать о

повседневных нуждах, упорно бороться за существование.

Богатый может уйти в свое горе, может отдаться ему всецело, жить им, и только и делать что страдать и плакать.

У бедняка нет таких возможностей и прав. Я знавал у себя на родине, в деревне, старую женщину, потерявшую в течение года мужа и дочь, — два страшных испытания свалились на нее одно за другим. Но у нее остались сыновья, которых надо было воспитывать, ферма, большое хозяйство… С рассвета приходилось браться за дело, всюду поспевать, работать на полях, разбросанных на расстоянии нескольких миль одно от другого. Убитая горем вдова говорила мне: «В будни у меня нет ни одной свободной минутки, чтобы поплакать, но зато в воскресенье — о, в воскресенье я беру свое!..» И действительно, в этот день, пока дети играли во дворе или гуляли, она запиралась на ключ и полдня проводила в воплях и рыданиях, призывая в пустом доме мужа и дочь.

У мамаши Делобель не было даже этого воскресенья. Ведь работала она теперь одна, причем пальцы ее не обладали чудесной ловкостью маленьких ручек Дезире, а лекарства стоили дорого, и к тому же ни за что на свете не согласилась бы она лишить «отца» хотя бы одной из его дорогостоящих привычек. А потому, в какой бы час больная ни открыла глаза, она всегда — в бледном свете раннего утра и поздно ночью, при лампе — видела, что мать работает, работает не покладая рук…

Когда полог ее кровати был задернут, Дезире слышала сухой, металлический звук ножниц, которые мать то и дело клала на стол.

Бессонными ночами, когда она металась в лихорадке, а мать сидела подле нее, склонившись над работой, Дезире, глядя на ее измученное лицо, невыносимо страдала. Иногда это чувство брало верх над всем остальным.

— Дай я немного поработаю, мама, — говорила она, пытаясь приподняться на постели.

Такие минуты были как бы проблесками во мраке, который сгущался с каждым днем. Мать, видевшая в просьбе больной желание вернуться к жизни, усаживала ее поудобнее, придвигала к ней стол. Но иголка была слишком тяжела, глаза слишком слабы, а малейший стук экипажей, крики, доносившиеся снизу, напоминали Дезире о том, что улица, отвратительная улица — здесь, совсем рядом… Нет, у нее не было сил жить! Вот если 6 она могла умереть и потом родиться вновь… А теперь она умирала, постепенно отрешаясь от всего. Каждый раз, когда ей надо было вдеть нитку в иголку, мамаша Делобель бросала взгляд на дочь, становившуюся день ото дня все бледнее и бледнее.

— Как ты себя чувствуешь?

— Очень хорошо… — отвечала больная, и печальная улыбка, освещавшая на минуту ее страдальческое лицо, делала особенно заметными все происшедшие в нем перемены — так солнечный луч, проскользнувший в бедное жилище, не оживляет, а только еще резче подчеркивает его уныние и пустоту.

Затем наступало долгое молчание. Мать ничего не говорила из боязни заплакать, а дочь, скованная лихорадкой, была уже окутана той незримой пеленой, которой смерть как бы из сострадания обволакивает уходящих из жизни, чтобы отнять у них последние силы и унести их в небытие тихо и без борьбы.

Прославленного Делобеля никогда не бывало дома. Он ничего не изменил в своем образе жизни актера без ангажемента. Между тем он знал, что Дезире умирает, — доктор предупредил его. Это было для него сильным ударом, ибо в глубине души он очень любил свою дочь, но в этой странной натуре подлинные, искренние чувства принимали фальшивый и неестественный оттенок в силу того самого закона, по которому предметы, поставленные на наклонную плоскость, не могут казаться стоящими прямо.

Для Делобеля самое главное было выставлять напоказ, изливать перед всеми свое горе. Он разыгрывал роль несчастного отца перед всем бульваром. Его встречали у входов в театры и в артистических кафе, бледного, с покрасневшими глазами. Он любил, чтобы его спрашивали: «Ну что, старина? Как там у тебя дома?» В ответ он нервно встряхивал головой, лицо его принимало такое выражение, как будто он сдерживает слезы и готовые вырваться проклятия, и он безмолвно устремлял к небу свой гневный сверлящий взгляд, как в былые времена, когда играл «Детского доктора». Все это, впрочем, не мешало ему быть ласковым, внимательным и предупредительным к дочери.

С тех пор как Дезире заболела, у него вошло в привычку приносить ей, возвращаясь с прогулок по Парижу, цветы, причем он не довольствовался обыкновенными цветами, скромными фиалками, выставленными на углах улиц для тощих кошельков. В эти серые осенние дни ему нужны были непременно розы, гвоздика и особенно белая сирень, выращенная в оранжереях сирень, у которой цветы, стебель и листья почти одинакового бледно-зеленого цвета, как будто природа второпях выкрасила их одной краской.

— Ну к чему?.. К чему это?.. Я рассержусь, — говорила каждый раз больная, когда он торжественно входил к ней с букетом в руках. Но он с таким барским видом отвечал:

— Оставь!.. Оставь!.. Это такие пустяки!.. — что она не смела

отказываться.

Между тем это был крупный расход, и мать из сил выбивалась, чтобы заработать на все…

Но г-жа Делобель и не думала роптать, она находила, что это очень мило со стороны великого человека.

Ее восхищали его презрение к деньгам, его очаровательная беспечность, и, больше чем когда-либо, она верила в гений и в театральную карьеру своего мужа.

Он тоже, несмотря на тяжелые события, сохранял непоколебимую веру в себя. А между тем его глаза чуть было не раскрылись наконец для правды: маленькая пылающая ручка, коснувшись величественного, полного иллюзий чела, чуть было не прогнала издавна засевшую там назойливую, как жужжание майского жука, навязчивую идею.

Вот как это произошло.

Однажды ночью Дезире внезапно проснулась в каком-то странном состоянии. Надо сказать, что накануне доктор был очень удивлен происшедшей в ней переменой: больная была гораздо бодрее, спокойнее, жар почти спал. Не вдаваясь в причины неожиданного улучшения, он ушел, сказав: «Посмотрим, как будет дальше», — он возлагал надежду на один из тех резких переломов болезни, которые подчас возникают, когда сила молодости, побеждая смерть, возрождает к жизни уже почти умирающий организм. Если б он заглянул под подушку Дезире, он нашел бы там письмо со штемпелем Каира, — письмо, являвшееся разгадкой столь счастливой перемены. То были четыре странички за подписью Франца, где он, ничего не утаивая, объяснял своей дорогой Зизи свое поведение.

Именно о таком письме мечтала больная. Если б даже она продиктовала его сама, то и тогда в нем не нашлось бы лучших слов, чтобы тронуть ее сердце, и все извинения, способные залечить ее раны, не были бы выражены более убедительно и деликатно. Франц раскаивался, просил прощения и, ничего не обещая, а главное, ничего не прося у нее, рассказывал верной подруге о своей борьбе, угрызениях совести и муках. Он возмущался вероломством Сидони, умолял Дезире не доверяться ей и с глубоко враждебным чувством, которое обманутая любовь делала проницательным и жестоким, говорил об испорченной, поверхностной натуре этой женщины, о ее холодном голосе, как бы созданном для того, чтобы лгать, голосе, в котором никогда не слышалось сердечной нотки, ибо он шел от рассудка, как и все страстные порывы этой парижской куклы.

Как жаль, что письмо не пришло несколькими днями раньше! Теперь все эти хорошие слова были для Дезире все равно, что роскошные блюда,

которые слишком поздно приносят умирающему от голода. Он вдыхает запах, жаждет отведать их, но у него нет сил, чтобы вкусить их. Весь день больная перечитывала письмо. Она вынимала его из конверта, снова и снова любовно складывала и, закрыв глаза, видела его перед собой все целиком, вплоть до цвета марки. Франц думал о ней! Это сознание наполняло ее сладостным спокойствием, и она уснула с таким чувством, словно чья-то дружеская рука поддерживала ее слабую головку.

Вдруг она проснулась в каком-то, как мы уже сказали, необычном состоянии. Слабость, тревога во всем существе, что-то невыразимое… Ей казалось, что жизнь ее держится на тоненькой ниточке, так туго натянутой, что она вот-вот оборвется, и колебания этой ниточки придавали всем ее чувствам сверхъестественную тонкость и остроту. Была ночь. Комната, где она лежала, — родители перевели ее в свою спальню, так как она была просторнее и в ней было больше воздуха, чем в ее маленьком алькове, — была погружена в полумрак. Ночник отбрасывал на потолок светящиеся круги, и они мерцали словно печальное созвездие, занимающее больных во время бессонницы. На рабочем столе приспущенный огонек лампы под абажуром освещал разбросанную работу и силуэт мамаши Делобель, задремавшей в кресле.

Дезире казалось, что голова ее стала какой-то необычайно легкой. И вдруг в ней закружился целый рой мыслей и воспоминаний. Все ее далекое прошлое как будто приблизилось к ней. Самые незначительные со* бытия, сцены, смысл которых она не понимала в детстве, слова, которые она слышала точно во сне, воскресали в ее памяти.

Это не пугало, а только удивляло ее. Она не знала, что перед великим забвением, которое несет с собой смерть, часто бывают минуты такого странного возбуждения, когда все существо человека как бы напрягает свои способности и силы в последней, бессознательной борьбе.

Лежа в постели, она видела отца и мать: ее — совсем близко, его — в мастерской, дверь которой оставили открытой. Г-жа Делобель задремала в кресле, сломленная бесконечной усталостью. Все горестные и неизгладимые следы, которыми годы и переживания, словно сабельными ударами, отмечают постаревшие лица, отчетливо выступили сейчас, во время сна. Днем сила воли и заботы как бы накладывают маску на истинное выражение лиц, зато ночью они становятся сами собой. Глубокие морщины стойкой женщины, ее покрасневшие веки, поредевшие, седые на висках волосы, трясущиеся, усталые руки — все сейчас стало зримым, и Дезире все это увидела. Ах, если бы у нее хватило сил подойти и поцеловать спокойное и, несмотря на избороздившие его морщины,

прекрасное лицо матери!

И как полная противоположность матери предстал перед дочерью знаменитый Делобель. Он сидел в одной из своих любимых поз, вполоборота, на уголке накрытого белой скатертью стола. Великий человек только что вернулся — стук его шагов, по-видимому, и разбудил больную — и, еще возбужденный ходьбой и интересным спектаклем, затянутый в новый сюртук, завитой, с салфеткой под подбородком, он важно и торжественно ужинал в одиночестве, пробегая глазами брошюрку, прислоненную к стоявшему перед ним графину.

Впервые за всю свою жизнь заметила Дезире поразительный контраст между измученной матерью, одетой в поношенное черное платьишко, еще резче подчеркивавшее ее бледность и худобу, и отцом — довольным, откормленным, праздным, спокойным и беспечным. Она поняла вдруг, как различны были эти две жизни. Круг, замыкающий домашнюю среду, к которой дети так привыкают, что становятся слепы ко всему, что в ней происходит, этот круг распался для нее. Теперь она судила родителей на расстоянии, как бы незаметно отдалившись от них. И это ясновидение последнего часа было, для нее лишней пыткой. Что с ними будет, когда ее не станет? Либо мать взвалит на себя все бремя жизни и умрет от непосильного труда, либо несчастная женщина вынуждена будет бросить работу, и ее эгоистичный спутник жизни, в погоне за удовлетворением — своего актерского тщеславия, мало-помалу доведет их обоих до страшной нужды, этой черной ямы, которая все расширяется и углубляется, по мере того как опускаешься в нее.

А ведь он был не злой человек. И не раз доказывал им это. Но он страдал непомерным самообольщением, неизлечимой слепотой. А что, если она все-таки попробует? Что, если перед тем как уйти из жизни, — .что-то подсказывало ей, что это произойдет очень скоро, — что, если перед тем как уйти, она сорвет ту плотную повязку» которую этот несчастный добровольно и через силу удерживал у себя на глазах?

Только ее нежная и любящая рука могла отважиться на подобную операцию.

Только она одна имеет право сказать отцу: «Зарабатывай на жизнь… Откажись от театра…»

А так как время не ждало, Дезире Делобель, вооружившись всем своим мужеством, тихонько позвала:

— Папа!.. Папа!..

Великий человек поспешил на зов дочери. В тот вечер состоялась премьера в театре Амбигю, и он вернулся оживленный, в приподнятом

настроении. Люстры, клакеры, разговоры в кулуарах — все эти возбуждающие мелочи, которыми он поддерживал свою манию, на этот раз больше чем когда-либо подогрели его иллюзии.

Высоко держа лампу в руке, с камелией в петлице, он вошел в комнату Дезире сияющий и великолепный.

— Добрый вечер, Зизи. Ты еще не спишь?

Его веселая интонация до странности не гармонировала с печальной обстановкой комнаты.

Указывая на спящую мать, Дезире сделала ему знак, чтобы он молчал.

— Поставьте лампу… Мне надо поговорить с вами.

Ее прерывающийся от волнения голос поразил его.

Поразили и ее широко открытые глаза, поразил проникновенный взгляд, какого он никогда прежде не замечал у нее.

Слегка робея, он подошел к ней с камелией в руке, сложив губы «сердечком» и поскрипывая новыми башмаками, что, по его мнению, являлось признаком аристократизма. Вид у него был явно смущенный: слишком уж резок был контраст между шумным, ярко освещенным зрительным залом, откуда он только что пришел, и этой маленькой комнаткой, где лежала больная и где приглушенные звуки и слабый свет сильнее подчеркивали тревожную напряженность атмосферы.

— Что с тобой, мой ангелочек?.. Тебе хуже?

Движением головы Дезире подтвердила, что чувствует себя очень плохо, и прибавила, что хотела бы с ним поговорить… но только пусть отец подойдет к ней ближе, как можно ближе. Когда он сел у ее изголовья, она положила свою пылающую руку на руку великого человека и стала шептать ему на ухо… Ей плохо, совсем плохо. Она понимает, что дни ее сочтены…

— Вы останетесь одни, отец… Да не дрожите же гак!.. Ведь вы же знали, что это должно случиться, и даже очень скоро… Но вот что я хочу вам сказать… Я боюсь, что когда меня не станет, у мамы не хватит сил, она не сможет вести одна весь дом. Посмотрите, какая она бледная, измученная….

Актер взглянул на «святую женщину», и его, по-видимому, удивило, что у нее и правда болезненный вид. Но он тут же эгоистически утешил себя:

— Она никогда не была особенно крепкой.

Эта фраза и тон, каким она была сказана, возмутили Дезире и еще больше укрепили се в принятом решении. Она продолжала, уже не щадя иллюзий актера:

— Что будет с вами обоими, когда меня не станет?.. Да, я знаю, у вас

есть большие надежды, но они все не осуществляются. Благоприятные обстоятельства, которых вы так давно ждете, могут долго еще не возникнуть, а что вы будете делать до тех пор?.. Послушайте, дорогой папа: мне не хочется огорчать вас, но в ваши годы, при вашем уме, вам было бы не трудно… Я уверена, что Рислер-старший с удовольствием…

Она говорила медленно, с усилием, подыскивая слова и останавливаясь после каждой фразы, в надежде, что отец прервет молчание жестом или восклицанием. Но актер ничего не понимал. Он слушал ее, смотрел на нее широко раскрытыми глазами, смутно чувствуя, что эта невинная, неумолимая детская совесть выступает против него с обвинением; он только не знал еще, с каким именно.

— Мне кажется, вам бы следовало… — робко продолжала Дезире, — мне кажется, вам бы следовало отказаться…

— Что?.. Что?.. Как?..

Увидев действие своих слов, она умолкла. Подвижная физиономия старого актера вдруг исказилась под влиянием сильнейшего отчаяния. Слезы, настоящие слезы, которые он даже не пытался утаить, прикрыв рукой глаза, как это делают на сцене, застыли в его глазах. Волнение сдавило ему горло. Несчастный начинал понимать… Итак, из двух почитательниц, еще оставшихся верными ему, одна от него отвернулась. Его дочь больше не верила в его славу. Нет, это невозможно! Он не так понял, не расслышал… От чего он должен отказаться? А?.. Но перед немой мольбой этого просившего о пощаде взгляда у Дезире не хватило мужества договорить. Притом бедная девушка истощила последние силы, жизнь ее угасала…

Она прошептала еле слышно:

— Отказаться… Отказаться…

Затем ее головка упала на подушку… и она умерла, так и не посмев сказать ему, от чего ему следовало отказаться…

«Именуемая Делобель» умерла, господин комиссар. Ведь я же говорил вам, что она больше не повторит своей попытки. На этот раз смерть избавила ее от ходьбы и страданий, она сама пришла за ней. И теперь, недоверчивый вы человек, четыре прочно сколоченные сосновые доски ручаются вам за то, что слово бедной девушки крепко. Она обещала, что не повторит этого, и она не повторит…

Маленькая хромоножка умерла. Это печальное событие привело в волнение весь квартал Фран-Буржуа. Не то чтобы Дезире пользовалась большой известностью, ведь она почти не выходила из дому, и только изредка показывалось у тусклого окна ее бледное личико затворницы, ее

большие, обведенные синевой глаза неутомимой труженицы. Но на похоронах дочери знаменитого Делобеля будет, конечно, много актеров, а Париж обожает этих людей. Он любит смотреть, как проходят по улице, средь бела дня, кумиры его вечеров, любит вглядываться в их подлинные лица, не измененные искусственным светом рампы. Не удивительно поэтому, что в то утро, когда в квартирке на улице Брак натягивали, стуча молотком, белые драпировки, любопытные наводняли тротуары и мостовую.

Надо отдать справедливость актерам — они очень дружны между собой или, во всяком случае, связаны солидарностью, узами профессии, и это объединяет их каждый раз, когда представляется случай показать себя — на балах, концертах, банкетах, похоронах.

Хотя знаменитый Делобель давно не имел никакого отношения к театру и имя его уже более пятнадцати лет не упоминалось ни в одной рецензии, ни на одной афише, достаточно было в каком-то захудалом театральном листке появиться маленькой заметке, гласившей: *«Г-н Делобель, бывший премьер Мецского и Алансонского театров, с прискорбием извещает* и т. д. … *Вынос* и т. д. …», чтобы тотчас же со всех концов Парижа и из всех предместий актеры толпами съехались на этот призыв.

Тут были все: знаменитые и непризнанные, прославленные и безвестные, и те, что играли когда-то с Делобелем в провинции, и те, что встречались с ним в театральных кафе, где он был завсегдатаем, одним из тех завсегдатаев, которых иногда затрудняешься назвать по имени, но запоминаешь благодаря тому, что они становятся как бы неотделимы от той обстановки, в которой их постоянно видишь. Были здесь также и провинциальные актеры, приехавшие в Париж, чтобы «подцепить» антрепренера, получить хороший ангажемент.

И все они, неизвестные и знаменитые, парижане и провинциалы, жаждали одного: увидеть свое имя напечатанным в газете, в заметке о похоронах. Для этих тщеславных людей хороши все виды рекламы. Актеры так боятся, чтобы публика не забыла их, что в те периоды, когда они не появляются на сцене, они делают все для того, чтобы о них говорили, и любыми способами напоминают о себе быстропреходящим, изменчивым симпатиям Парижа.

С девяти часов утра весь мелкий люд Маре — этой сплетничающей провинции — ждал у окон, у дверей и на улице появления актеров. Мастеровые караулили у запыленных окон мастерских, обыватели выглядывали из-за занавесок, хозяйки поджидали с корзинкой на руке,

ученики ремесленных училищ — со свертками на голове.

Наконец актеры начали появляться: пешком и в экипажах, поодиночке и группами. Их узнавали по бритым лицам с синевой на подбородках и на щеках, по неестественным манерам, напыщенным или подчеркнуто простым, по их претенциозным жестам, а в особенности по чрезмерной чувствительности, выработавшейся у них благодаря постоянному преувеличению переживаний, которого требуют условия сцены. Любопытно было наблюдать, как все они по-разному выражали свое волнение по поводу печального события. Появление каждого из них на темном мощеном дворике траурного дома было своего рода выходом на сцену и варьировалось в зависимости от амплуа актера. Трагики входили сумрачные, с нахмуренными бровями, и начинали с того, что кончиком перчатки выдавливали в уголке глаза слезу, которую якобы не могли удержать, затем вздыхали, поднимали глаза к небу и оставались стоять на сцене, то есть во дворе, держа шляпу у бедра и слегка постукивая левой ногою, что как бы помогало им сдерживать горе: «Молчи, мое сердце, молчи…» Комики, напротив, били на простоту. Они подходили друг к другу, изображая на лице участие и сострадание, называли друг друга «старина», обменивались взволнованными рукопожатиями, причем подрагивание их отвислых щек, движения глаз и губ, с помощью которых они стремились выразить свою скорбь, низводили их растроганность до пошлого фарса…

Все манерны, и все искренни.

Едва успев войти, эти господа делились на два лагеря. Знаменитые, преуспевшие актеры пренебрежительно поглядывали на неизвестных, неряшливых Робрикаров, а те из зависти отвечали на их презрение множеством обидных замечаний: «Заметили, как постарел и опустился N? Он недолго продержится на своем амплуа».

Делобель, во всем черном, в черных перчатках, с заплаканными глазами и стиснутыми зубами, переходил от одной группы к другой и молча обменивался рукопожатиями. Сердце бедняги обливалось кровью, но это не помешало ему завиться и причесаться а-ля Капуль, как и приличествовало обстоятельствам. Странный человек! Заглянув в его душу, никто не мог бы сказать, где находится черта, отделяющая подлинное горе от показного: так тесно они переплелись между собой… Среди актеров было и несколько наших знакомцев, в том числе г-н Шеб, еще более важный, чем обычно; он бродил с озабоченным видом вокруг модных знаменитостей, а г-жа Шеб сидела наверху с несчастной матерью. Сидони не могла приехать, но Рислер-старший был здесь. Добрый Рислер, верный друг в несчастье, взял

на себя все расходы по печальной церемонии: траурные экипажи были великолепны, обивка отделана серебром, катафалк усыпан белыми розами и фиалками. Эта скромная белизна при свете восковых свечей, эти трепещущие, окропленные святой водой цветы на фоне узкой темной улочки невольно заставляли думать о судьбе бедной девушки, улыбка которой была всегда омыта слезами.

Шествие медленно двинулось по извилистым улицам.

Во главе процессии, сотрясаясь от рыданий, шел Делобель. Он оплакивал себя, несчастного отца, хоронившего свое дитя, не меньше, чем свою умершую дочь. В глубине искренней печали таилась его тщеславная сущность актера, словно камень на дне реки, остающийся неподвижным под напором изменчивых волн. Пышность церемонии, траурное шествие, останавливающее на своем пути все уличное движение, задрапированные экипажи, маленькая карета Рислеров, которую Сидони послала в подражание обычаям высшего света, — все это, несмотря ни на что, льстило ему, приводило его в восторг. Был даже момент, когда он, не выдержав, наклонился к шедшему рядом с ним Робрикару и шепнул:

— Ты заметил?

— Что такое?

Несчастный отец, вытирая слезы, промолвил не без гордости:

— Два собственных экипажа…

Милая, славная Зизи, такая добрая и такая простая! Вся эта показная скорбь, весь этот кортеж торжественных плакальщиков, — все это было не для нее!..

Хорошо, что там, наверху, у окна мастерской, за опущенными шторами стояла мать и взглядом провожала свою девочку.

— Прощай!.. Прощай!.. — тихо, почти беззвучно повторяла она, машинально махая рукой, и было в этом жесте что-то старческое, что-то безумное.

И как ни тихо было сказано это «прощай», Дезире Делобель должна была услышать его.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I. ЛЕГЕНДА О СИНЕМ ЧЕЛОВЕЧКЕ

вольно вам верить или не верить, но я — я твердо верю в синего человечка. Я-то сам никогда не видел его, но один из моих друзей, поэт, которому я вполне доверяю, часто рассказывал мне, как однажды ночью он очутился лицом к лицу с этим странным маленьким гномом, и вот при каких обстоятельствах.

Мой друг имел неосторожность выдать своему портному вексель, и, как это бывает в подобных случаях с людьми, наделенными богатым воображением, дав свою подпись, он решил, что избавился от долга, и мысль о векселе вылетела у него из головы. Но вот однажды ночью наш поэт был разбужен странным шумом, исходившим из камина. Сначала он подумал, что это озябший воробей ищет тепла, еще сохранившегося после топки, или, быть может, терзаемый ветром, дующим со всех сторон, скрипит флюгер на крыше. Однако некоторое время спустя шум усилился, и он ясно различил звяканье мешка с деньгами и еще как будто бы звяканье цепочки. Одновременно тоненький голосок, пронзительный, как свисток локомотива, и звонкий, как пение петуха, прокричал ему сверху: «Срок платежа!.. Срок платежа!..»

— Ах, боже!.. Мой вексель!

Бедный малый спохватился, вспомнив, что через неделю истекает срок долгового обязательства, выданного им портному. И до самого утра ворочался он с боку на бок в своей постели, мучимый неотвязной мыслью о проклятом векселе. На другую, на третью и во все последующие ночи его будили в один и тот же час и точно таким же образом: звон монет, скрип цепочки и тоненький голосок, насмешливо кричавший: «Срок платежа!.. Срок платежа!..» Ужасно было то, что, по мере того как приближался день платежа, крик становился все резче и беспощаднее, грозя наложением ареста на имущество и судом.

Несчастный поэт! Мало он уставал за день, бегая по городу в поисках денег, так надо было еще, чтобы этот безжалостный голосок отнимал у него и сон и покой! Кто же наконец говорил этим странным голоском? Какой злой дух забавлялся тем, что мучил его? Он решил выяснить. И вот раз, ночью, вместо того, чтобы лечь спать, он потушил свет, открыл окно и стал ждать.

Вряд ли стоит говорить, что мой друг, как это и полагается лирическому поэту, жил высоко, под самой крышей. В течение нескольких

часов он не видел ничего, кроме живописного нагромождения покатых кровель. Они теснились, прорезаемые во всех направлениях улицами, напоминавшими сверху пропасти, и только трубы и флюгера, исполосованные лунным светом, вносили причудливое разнообразие в эту картину. Это был точно второй город над темным заснувшим Парижем — воздушный город, повисший между густым мраком и ослепительным светом луны.

Мой друг ждал долго. Наконец часов около трех ночи, когда все колокольни, вырисовывавшиеся в темноте, сообщили одна другой об истекшем часе, он услышал чьи-то легкие шаги, ступающие по черепицам и шиферу соседних крыш, и вслед за тем тоненький голосок просвистел в трубу его камина: «Срок платежа!.. Срок платежа!..» Тут мой поэт, высунувшись из окна, увидел негодного гнома, мучителя людей, уже с неделю не дававшего ему спать. Он не мог сказать мне точно, какого роста был этот гном, — луна часто подшучивает над нами, придавая фантастические размеры предметам и их теням; он заметил только, что этот необычный бесенок был одет, как банковский рассыльный: синий мундир с серебряными пуговицами, треуголка, сержантские нашивки на рукавах, — и что он держал под мышкой кожаный портфель, почти такой же величины, как он сам; ключ от портфеля висел на длинной цепочке и яростно звякал при каждом шаге синего человечка, как и сумка с деньгами, которой он размахивал, держа ее в другой руке.

Вот таким увидел мой друг синего человечка, когда тот быстро бежал в полосе лунного света; вид у него был крайне озабоченный, и, по-видимому, он очень спешил, так как одним прыжком перескакивал через улицы и, скользя по гребням крыш, перебегал от одной трубы к другой.

У этого проклятого человечка такая многочисленная клиентура! В Париже столько коммерсантов, столько людей, которым предстоит платеж в конце месяца, столько несчастных, выдавших долговое обязательство или поставивших свою подпись на чужом векселе! Всем этим людям синий человечек бросал на ходу тревожный сигнал. Он бросал его над безмолвными, погруженными во мрак фабриками, над большими банкирскими конторами, спящими в тиши роскошных садов, над пяти — и шестиэтажными домами, над сбившимися в кучу кривыми, разнокалиберными крышами в бедных кварталах. «Срок платежа!.. Срок платежа!..» В хрустально — прозрачном воздухе — как это бывает на высоте при сильном холоде и лунном свете — этот безжалостный голосок звучал особенно пронзительно, разносясь из конца в конец города. Всюду на своем пути он отгонял сон, вызывал беспокойство, утомлял мысль и

взор и не в одном парижском доме порождал неясную тревогу и бессонницу.

Думайте что угодно об этой легенде, но только вот что я хотел бы, со своей стороны, добавить в подтверждение правоты слов моего поэта: однажды «ночью, в конце января, старый Сигизмунд, кассир с фабрики Фромона-младшего и Рислера-старшего, был внезапно разбужен в своей квартирке в Монруже тем же назойливым голосом, тем же звяканьем цепочки, тем же зловещим криком: «Срок платежа!..»

«А ведь и правда, — подумал кассир, садясь на постели, — послезавтра конец месяца. А я-то спокойно сплю!..»

Действительно, речь шла о крупной сумме: надо было уплатить сто тысяч франков по двум векселям, и как раз в такой момент, когда касса фирмы Фромонов — это случилось впервые за тридцать лет — была совершенно пуста. Как быть? Сигизмунд неоднократно пытался поговорить с Фромоном-младшим, но тот явно уклонялся

194 от тяжелой ответственности и, проходя через контору, всегда спешил, был взволнован и ничего не видел и не слышал. На тревожные вопросы кассира он отвечал, покусывая тонкие усики:

— Хорошо, хорошо, милый Планюс… Не беспокойтесь… Я приму меры…

Видно было, что в это время он думал совсем о другом, находился за тысячу миль от того, что происходило вокруг. На фабрике, где его связь с г-жой Рислер ни для кого уже не являлась тайной, ходили слухи, что Сидони изменяет ему и что он очень несчастен. И в самом деле, причуды любовницы ванимали его гораздо больше, чем все треволнения кассира. Что касается Рислера, то его редко кто видел; он сидел взаперти на своей вышке и наблюдал за таинственным сооружением своих машин, которому, казалось, не будет конца.

Равнодушие хозяев к фабрике и полное отсутствие надзора привели в конце концов к полному развалу всего дела. Рабочим и служащим это было на руку: они приходили на работу поздно, уходили рано, не обращая внимания на старый колокол, который столько лет призывал к работе, а теперь, казалось, бил тревогу и предвозвещал поражение. Дело еще шло, ибо предприятие, пущенное в ход, годами движется само собой, в силу инерции, но какая неразбериха, какой беспорядок под кажущимся благополучием!

Сигизмунду это было известно лучше, чем кому бы то ни было, вот почему крик синего человечка сразу пробудил его от сна. Кассир зажег свечу — как будто это могло помочь ему яснее разобраться в хаосе

мучительных мыслей, которые метались и кружились у него в голове! — и, сидя на постели, начал думать… Где взять сто тысяч франков? Конечно, фирме причиталась большая сумма, было много старых счетов, залежавшихся у клиентов, оставались долги за Прошассонами и другими, но каким унижением было бы для него ходить собирать деньги по всем этим старым счетам! Это не принято в солидном деле, — ведь у них не мелкая лавочка! И все же это лучше, чем протест… Он представлял себе, как артельщик из банка спокойно и доверчиво подойдет к его окошку, положит векселя, а он, Планюс, Сигизмунд Планюс, принужден будет сказать ему: «Возьмите обратно ваши векселя… Мне нечем оплатить их…»

Нет, нет… Это невозможно… Все, что угодно, только не такое унижение.

«Ну что ж… Завтра отправлюсь в обход», — решил бедный кассир и тяжело вздохнул.

Но тревога и беспокойство не оставляли его, н до самого утра он так и не сомкнул глав. А синий человечек тем временем продолжал свой путь и уже бряцал денежным мешком и цепочкой над мансардой на Бульваре Бомарше, где после смерти дочери поселился знаменитый Делобель с женою.

«Срок платежа!.. Срок платежа!..»

Увы, маленькая хромоножка не ошиблась в своих предсказаниях. После ее смерти мамаша Делобель недолго еще могла заниматься «птицами и мушками для отделки». Ее зрение ослабело от слез, а старые руки так дрожали, что не могли уже прочно насаживать на проволоку крохотных колибри, и птички, несмотря на все ее усилия, имели жалкий, плачевный вид. Пришлось отказаться от этого ремесла. Тогда неутомимая женщина взялась за шитье. Она чинила кружева, вышивки и мало — помалу опустилась до уровня простой работницы. Но ее заработок все уменьшался, его едва хватало на самое необходимое, и Делобель, от которого ужасная профессия безработного актера требовала постоянных расходов, неминуемо должен был залезть в долги. Он задолжал портному, и сапожнику, и в бельевой магазин, но больше всего не давали ему покоя пресловутые завтраки, которые он заказывал во время своего «директорства».

Счет доходил до двухсот пятидесяти франков; их надо было уплатить в конце января, и на этот раз без всякой надежды на отсрочку. Не удивительно, что голос синего человечка заставил его содрогнуться…

Оставался всего один день до срока. Один день, чтобы раздобыть эти двести пятьдесят франков! Если он не достанет, у них все продадут с

молотка. Продадут жалкую мебель, служившую им с первых дней их совместной жизни, скудную, неудобную, но дорогую по воспоминаниям, связанным с каждой царапинкой, с каждым потертым уголком. Продадут длинный рабочий стол, на краешке которого он ужинал в течение двадцати лет, продадут и большое кресло Зизи, на которое они не могли смотреть без слез и которое как будто сохранило что-то от их дорогой девочки, — так напоминало оно им все ее жесты, движения, ее усталую позу после долгого дня, проходившего в труде и мечтах. Мамаша Делобель не переживет, если у нее отнимут все эти дорогие воспоминания…

Думая об этом, несчастный актер — несмотря на свой чудовищный эгоизм, он все же не был избавлен от укоров совести — ворочался с боку на бок в постели и тяжело вздыхал. Он видел перед собой бледное личико Дезире, видел ее умоляющий нежный взгляд, тоскливо устремленный на него за минуту до смерти, когда она чуть слышно просила его отказаться… отказаться… От чего должен был он отказаться? Она умерла, так и не сказав ему этого. Но Делобель отчасти понял, о чем она просила, и с тех пор в его непреклонной душе зародились беспокойство и сомнения, мучившие его особенно жестоко в эту ночь, когда к ним присоединились еще и денежные заботы.

«Срок платежа!.. Срок платежа!..»

На этот раз синий человечек зловеще кричал в трубу комнаты Шеба.

Надо вам сказать, что с некоторого времени г-н Шеб пустился в большие предприятия, в туманную, весьма туманную «коммерцию на ногах», пожиравшую у него много денег. Уже неоднократно Рислер и Сидони брали на себя уплату его долгов с непременным условием, что он угомонится и не будет больше заниматься делами, но он не мог жить без этих постоянных встрясок. Он выходил из них каждый раз еще более закаленным, с еще более пылкой жаждой деятельности. Когда у него не было денег, Шеб давал свою подпись, он даже слишком злоупотреблял своей подписью, неизменно рассчитывая на то, что прибыль от предприятия покроет все его обязательства. Но, черт возьми, барышей все не было, а подписанные векселя, пропутешествовав несколько месяцев по всему Парижу, возвращались в его квартиру с ужасающей пунктуальностью, черные от непонятных пометок, скопившихся на них в пути.

Как раз в январе ему предстоял очень крупный платеж, и, услышав голос синего человечка, он вспомнил вдруг, что у него нет ни единого су. Какая досада! Придется снова унижаться перед Рислером, рискуя получить отказ, признаваться, что не сдержал слова… Тревога бедняги усиливалась

еще больше от безмолвия и мрака ночи, когда глазу нечем занять себя, мыслям нечем отвлечься, а горизонтальное положение, сообщая телу полный покой, отдает беззащитный ум во власть терзающих его забот и страхов. Он то и дело зажигал лампу, брал газету, безуспешно стараясь читать ее, к великому неудовольствию жены, которая тихонько вздыхала и отворачивалась к стене, чтобы не видеть света.

Тем временем проклятый синий человечек в восторге от своей хитрости, посмеиваясь, шел дальше, чтобы уже в другом месте позвякать цепочкой и мешком с деньгами. Вот он и на улице Вьей-Одриет, над большой фабрикой, где все окна темны, кроме одного, в первом этаже, в глубине сада.

Несмотря на поздний час, /Корж Фромон еще не ложился. Он сидел у камина, сдавив голову руками, ничего не видя вокруг, в том немом оцепенении, какое овладевает человеком при непоправимом несчастье, и думал о Сидони, об этой ужасной Сидони, которая спала сейчас этажом выше. Она положительно сводила его с ума. Она изменяла ему, он был уверен в этом; изменяла с тулузским тенором, с Казабоном, по сцене Казабони, которого ввела в ее дом г-жа Добсон. Сколько ни умолял он ее не принимать этого человека, Сидони не слушала его и еще сегодня, когда речь зашла о предстоящем большом бале, прямо заявила, что ничто не помешает ей пригласить тенора.

— Да ведь это ваш любовник! — в бешенстве закричал Жорж, глядя ей прямо в глаза.

Она не стала отрицать, она даже не отвела взгляда, но только холодно, со своей всегдашней неприятной улыбочкой заявила, что не признает ни за кем права судить и стеснять ее волю, что она свободна и желает оставаться свободной, и не позволит ни ему, ни Рислеру тиранить себя. Так они провели целый час в карете со спущенными шторами: спорили, бранились, чуть не дрались.

Подумать только, что для этой женщины он пожертвовал всем: богатством, честью и даже прелестной Клер, которая спит сейчас с ребенком в соседней комнате. Всем этим счастьем, бывшим у него под рукой, он пренебрег ради этой негодяйки… Только что она прижалась ему, что не любит его, что любит другого. А он, такое ничтожество, все еще думает о ней. Каким зельем опоила она его?

Подстегиваемый закипевшим в нем гневом, Жорж Фромон сорвался с кресла и нервно заходил по комнате. В тиши безмолвного дома шаги его звучали как олицетворенная бессонница… А Сидони спала наверху. Бесстыдная, не страдающая угрызениями совести, она могла спать

спокойно. А может быть, она думала о своем Казабони?

Эта мысль, мелькнув в уме Жоржа, вызвала у него безумное желание подняться к Рислеру, разбудить его, рассказать ему все и погубить себя вместе с нею. Уж слишком глуп он, этот обманутый муж! Как можно было выпускать из-под надзора такую женщину? Она слишком красива, а главное, слишком порочна.

И вот в разгар его мучительных и бесплодных размышлений сквозь шум ветра до него вдруг донесся предостерегающий крик синего человечка: «Срок платежа!.. Срок платежа!..»

Несчастный! Он был до того вол, что совсем забыл об этом. А между тем он давно ждал этого ужасного для него конца января. Сколько раз в промежутке между двумя свиданиями, когда, отвлекшись на минуту от мыслей о Сидони, он возвращался к делам, к действительности, сколько раз говорил он себе: «Это будет полный крах»! Не как все охваченные страстью слабохарактерные люди, он тут же решал, что уже поздно, что теперь все равно ничего не поправишь, и с еще большим упорством продолжал вести прежний образ жизни, чтобы отвлечься, забыться…

Но сейчас уже не могло быть я речи о том, чтобы забыться. Ясно и отчетливо представлялось ему банкротство, и он видел перед собой сухое серьезное лицо Сигизмунда Планюса с суровыми, точно вырезанными ножом, чертами, видел его светлые глаза уроженца немецкой Швейцарии, преследовавшие его с некоторых пор неумолимым взглядом…

Ну, да… ну, да… У него нет этих ста тысяч франков, и ему негде их взять. Чтобы удовлетворить разорительные прихоти любовницы, он много играл за последние полгода и проиграл огромную сумму. А тут еще крах одного банка, жалкий годовой баланс… У него оставалась только фабрика, и в каком ужасном состоянии!

Куда теперь обратиться, что делать?

То, что всего несколько часов назад казалось ему путаницей, хаосом, в котором он ничего не мог разобрать, но где в самой неясности еще таилась какая — то надежда, представилось ему вдруг с ужасающей отчетливостью. Пустые кассы, запертые двери, опротестованные векселя, разорение… Вот что он видел всюду, куда бы ни повернулся. В довершение всего — измена Сидони. Несчастный потерял голову, не знал, за что ему ухватиться в этом страшном крушении. Из груди его невольно вырвался стон, и он зарыдал, как бы взывая к провидению.

— Жорж, Жорж, это я!.. Что с тобой?

Перед ним стояла жена. Каждую ночь ждала она его теперь, с тревогой подстерегая его возвращение из клуба, — она продолжала думать, что

именно там проводит он все вечера. Видя, что муж изменился, что день ото дня он становится все мрачнее и мрачнее. Клер решила, что у него крупные денежные неприятности, вероятно, проигрыш. Ее предупредили, что он много играет, и, несмотря на его равнодушие к ней, она тревожилась за него, ей хотелось, чтобы он сделал ее своей поверенной, дал ей возможность выказать всю ее нежность к нему, все ее великодушие. В эту ночь она слышала, как он ходил по комнате. Ее дочка сильно кашляла и требовала неустанного ухода. Оставаясь подле нее, Клер страдала одновременно и за больного ребенка и за его отца. Она чутко прислушивалась к малейшему шуму — она переживала одну из тех трогательных и мучительных бессонных ночей, когда женщина собирает все свое мужество, чтобы вынести тяжкое бремя своих многообразных обязанностей. Наконец ребенок уснул, и Клер, услышав рыдания мужа, бросилась к нему.

Какое сильное и запоздалое раскаяние почувствовал он, увидев ее перед собой, такую нежную, взволнованную и прекрасную! Да, она была настоящей спутницей, подругой жизни. Как мог он покинуть ее? Долго — долго плакал он, склонившись на ее плечо, не в силах вымолвить слова. И хорошо, что он не мог говорить, потому что он сказал бы ей тогда все, все…. Несчастный чувствовал потребность высказаться, испытывал непреодолимое желание обвинять себя, просить прощения и тем облегчить тяжесть терзавших его укоров совести…

Клер избавила его от необходимости говорить:

— Ты, наверное, играл?.. Ты проиграл?.. Много?

Он утвердительно кивнул головой. Затем, когда к нему вернулся дар речи, он признался, что через день ему нужно сто тысяч франков и что он не знает, где их достать.

Она не бросила ему ни одного упрека. Она была из числа тех женщин, которые перед лицом несчастья не предъявляют ненужных обвинений, а думают только о том, как бы помочь горю. В глубине души она даже благословляла эту катастрофу, сближавшую ее с мужем после того, как они так долго жили каждый своей особой жизнью. Она немного подумала. Затем с усилием — как видно, ей нелегко было принять такое решение — сказала:

— Еще не все потеряно. Я поеду завтра в Савиньи и попрошу денег у дедушки.

Никогда не посмел бы он сам заикнуться об этом. Ему и в голову не пришла бы подобная мысль. Клер так горда, а старый Гардинуа такой черствый человек! С ее стороны это была, конечно, большая жертва, яркое

доказательство верной любви. И внезапно его охватили радость, восторг, какие овладевают человеком после того, как опасность миновала. Клер представилась ему сверхъестественным существом, обладающим даром все умиротворять, тогда как та, другая, что жила наверху, могла лишь доводить до безумия и гибели. Ему хотелось опуститься на колени перед женой, смотреть в ее прекрасное лицо, окруженное блестящим ореолом иссиня-черных, красиво убранных на ночь волос, любоваться ее правильными чертами, чуть ваметную строгость которых смягчало прелестное выражение нежности…

— Клер, Клер!.. Какая ты добрая!

Не отвечая, она подвела его к постели ребенка.

— Поцелуй ее… — тихо сказала она.

Они стояли рядом за кисеей полога, склонив головы и прислушиваясь к сонному дыханию девочки, все еще прерывистому от недавнего приступа кашля. Жорж боялся разбудить дочь; он только горячо поцеловал мать.

Несомненно, то был первый случай, когда появление в семье синего человечка произвело подобное действие. Обычно всюду, где проходит втот ужасный гном, он разъединяет руки и сердца, отвращает ум от самых дорогих привязанностей, заполняя его тысячью забот и тревог, пробужденных звяканьем его цепочки и зловещим криком над крышами:

«Срок платежа!.. Срок платежа!..»

II. РАЗОБЛАЧЕНИЕ

— А, Сигизмунд!.. Как поживаете, милый Сигизмунд? Как дела?.. Все в порядке?

Старый кассир добродушно улыбался, пожимал руки хозяину, его жене и брату и, отвечая на вопросы, с любопытством оглядывался по сторонам. Дело происходило в Сент-Антуанском предместье, на обойной фабрике тех самых Прошассонов, чья конкуренция становилась опасной. Эти бывшие служащие фирмы Фромон, обзаведясь собственным делом и начав с малого, постепенно завоевали себе положение в коммерческом мире. Дядя Жоржа Фромона долго поддерживал их кредитом и деньгами, благодаря чему между обеими фирмами установились дружеские отношения и до сих пор еще даже не были окончательно урегулированы счета на оставшиеся за ними десять или пятнадцать тысяч франков, так как все знали, что за Прошассонами деньги не пропадут.

Действительно, вид фабрики внушал доверие. Трубы гордо выбрасывали клубы дыма. Глухой шум, доносившийся из переполненных мастерских, говорил о том, что там кипит работа. Фабричные здания были благоустроены, стекла везде блестели; на всем лежал отпечаток бодрости, жизнерадостности, порядка, а за решеткой кассы сидела жена одного из братьев, скромно одетая, гладко причесанная молодая женщина с энергичным выражением лица, и внимательно и сосредоточенно просматривала длинные ряды цифр.

Старый Сигизмунд с горечью подумал о том, насколько велика была разница между фирмой Фромонов, когда-то такой солидной, а теперь существующей только благодаря своей прежней репутации, и процветающим предприятием, которое было у него сейчас перед глазами. Его зоркий взгляд проникал во все уголки, стараясь найти какой-нибудь недостаток, хоть что — нибудь, к чему можно было бы придраться; но он ничего не находил, и это заставляло больно сжиматься его сердце, делало его улыбку неискренней, натянутой.

А главное, он был в большом затруднении: как потребовать деньги, не обнаруживая стесненного положения своей кассы? Бедняга напустил на себя такую непринужденность и развязность, что просто жалко было на него смотреть… Да, да, дела идут хорошо… очень хорошо… Он случайно проходил мимо и решил зайти на минутку… Ведь это так естественно, не правда ли?.. Приятно повидать старых друзей.

Но все эти предисловия и окольные пути не приводили к цели; напротив, удаляли его от нее. И когда ему вдруг показалось, что в глазах слушателей мелькнуло удивление, он стал путаться, заикаться, совсем растерялся и в качестве последнего ресурса взялся за шляпу, делая вид, что уходит. В дверях он как будто спохватился:

— А, кстати, раз уже я здесь…

И он подмигнул, воображая, что это получается *у* него очень лукаво, на самом же деле его мимика производила тяжелое впечатление.

— Так вот, раз уж я здесь, не покончим ли мы с нашим старым счетом?

Оба брата и молодая женщина за конторкой переглянулись, ничего не понимая.

— Счет? Какой счет?

Затем все трое весело рассмеялись, приняв за шутку — правда, немного неуместную — слова старого кассира. Ах, уж этот Планюс!.. Старик тоже смеялся, хотя ему было совсем не до смеха, смеялся, чтобы не отстать от других.

Наконец они объяснились. Полгода назад Фромон — младший сам приходил за деньгами, оставшимися за ними.

Сигизмунд почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Но все же он нашел в себе мужество ответить:

— Да, да, правда… Я и забыл… Ох, стар становится Сигизмунд Планюс!.. Сдаю я, дети мои, сдаю…

И он ушел, вытирая глаза, где еще блестели крупные слезы от недавнего смеха. А за его спиной молодые люди переглянулись, покачали головой. Они поняли все.

Этот удар так ошеломил старого кассира, что, выйдя на улицу, он принужден был сесть на скамейку, чтобы не упасть. Так вот почему Жорж не брал больше денег из кассы! Он сам получал по счетам. То, что произошло у Прошассонов, повторится, конечно, и в других местах. Бесполезно, стало быть, подвергать себя новым унижениям. Да… но платеж, платеж! Эта мысль придала ему сил. Он отер пот со лба и снова двинулся в путь, решив сделать последнюю попытку и зайти еще к одному из их клиентов в том же квартале. Но на этот раз он принял меры предосторожности и с порога, даже не входя, крикнул кассиру:

— Добрый день, любезный друг!.. Не дадите ли вы мне справочку?..

Он судорожно сжимал ручку двери.

— Когда мы урегулировали наш последний счет? Я забыл записать у себя.

О, их счет урегулирован давным-давно! Расписка Фромона-младшего

помечена сентябрем. Прошло, стало быть, пять месяцев.

Старик захлопнул дверь.

Та же история! По-видимому, везде будет одно и то же.

«Ах, господин Шорш, господин Шорш…» — бормотал бедный Сигизмунд и, сгорбившись, еле держась на ногах, продолжал свое паломничество. В это время карета г-жи Фромон-младшей проехала совсем близко от него, направляясь к Орлеанскому вокзалу. Но Клер не заметила старого Планюса, как не заметила она только что, выезжая из ворот своего дома, длинного сюртука Шеба и цилиндра знаменитого Делобеля — еще двух жертв срочного платежа, — завернувших за угол улицы Вьей-Одриет и направившихся к фабрике в расчете на кошелек Рислера. Молодая женщина была озабочена предстоящим ей делом и не смотрела по сторонам.

Вы только подумайте, как это ужасно!.. Просить сто тысяч франков у старого Гардинуа, у человека, хвастливо заявлявшего, что за всю свою жизнь он не занял сам и не дал никому взаймы ни гроша, у человека, который при каждом удобном случае рассказывал, что один только раз он вынужден был попросить у своего отца сорок франков, чтобы купить себе штаны, да и то потом он вернул ему частями эти сорок франков. Ни для кого, даже для своих детей, не отступал старый Гардинуа от той традиционной скаредности, которую земля, земля суровая и часто неблагодарная к тем, кто обрабатывает ее, прививает, по — видимому, всем крестьянам. Старик хотел, чтобы, пока он жив, ни один грош из его колоссального состояния не перешел к членам его семьи.

— Они получат мое добро, когда я умру, — часто говорил он.

Исходя из этого, он выдал замуж свою дочь, г-жу Фромон-мать, без всякого приданого, а впоследствии не мог простить зятю, что тот разбогател, не прибегая к его помощи. Одной из странностей этой натуры, столь же тщеславной, сколь и корыстной, было желание видеть, что все в нем нуждаются, что все преклоняются перед его деньгами. Если Фромонам случалось в его присутствии радоваться, что их дела принимают счастливый оборот, его хитрые голубые глазки насмешливо улыбались, и он произносил: «Поживем — увидим», — но таким тоном, что дрожь пробегала по телу. Иногда вечером в Савиньи, когда аллеи парка, голубые черепицы замка, розовые кирпичи конюшен, пруды и озера сверкали, купаясь в золоте чудесного заката, этот странный выскочка, окинув взглядом свое имение, громко заявлял в присутствии детей:

— Единственно, что утешает меня при мысли о смерти, — это что в нашей семье не найдется человека, достаточно богатого, чтобы сохранять

за собой это имение, ведь его содержание обходится в пятьдесят тысяч франков в год.

Между тем и в душе старого Гардинуа шевелилась ваповдалая нежность, не чуждая даже самым холодным дедовским сердцам, и он охотно побаловал бы свою внучку. Но Клер, будучи еще совсем ребенком, питала непреодолимую антипатию к черствости и тщеславному эгоизму бывшего крестьянина, и, как всегда бывает, когда любовь не связывает тех, кого разделяет различие воспитания и образования, антипатия эта обострялась по всякому поводу. Когда Клер выходила замуж за Жоржа, старик сказал г-же Фромон:

— Если твоя дочь захочет, она получит от меня царский подарок, только пусть она сама попросит.

Но Клер не захотела просить и ничего не получила. Какая пытка явиться три года спустя, чтобы вымаливать сто тысяч франков, взывая к щедрости, еще недавно так гордо отвергнутой, унижаться, выслушивать бесконечные нравоучения и глупые насмешки, приправленные берийскими шуточками, местными словечками и меткими поговорками, изобретенными ограниченными, но здравыми умами и оскорбляющими своей вульгарностью, как обида со стороны низшего существа!

Бедная Клер! Сейчас в ее лице будут унижены ее муж и отец. Придется признать неудачу Жоржа, согласиться с тем, что он разорил фабрику, которую основал и которой так гордился при жизни отец. Мысль, что ей надо будет защищать тех, кого она любила больше всего на свете, составляла ее силу и вместе с тем слабость.

Клер приехала в Савиньи в одиннадцать часов утра. Она не предупредила о своем посещении, а потому за ней не выслали экипажа, и ей пришлось идти с вокзала пешком.

Стоял морозный день; земля была сухая, твердая. Северный ветер свободно носился по голым полям и по реке, на которую он обрушивался, беспрепятственно проникая сквозь обнаженные деревья и кусты. Под низко нависшим небом виднелся замок; длинная линия низких стен и изгородей отделяла его от окрестных полей. Серые шиферные крыши были унылы, как отражавшееся в них небо, и все это имение, такое красивое летом, сейчас, зимою, было неузнаваемо: ни единого листика на деревьях, ни одного голубя на крышах, сурово и безмолвно вокруг. Казалось, что живого тут только и было, что влажный трепет озер и прудов да жалобный скрип высоких тополей, которые клонились друг к Другу, встряхивая птичьи гнезда, запутавшиеся в ветвях.

Неприветливым и угрюмым предстал перед Клер дом, где прошла ее

юность. Чем-то холодным, высокомерным повеяло на нее. Таким вот, вероятно, казался он чужим, прохожим с большой дороги, останавливавшимся у острых пик его железной ограды.

Жестокий лик вещей!..

А впрочем, нет, не такой уж жестокий: ведь всем своим видом этот запертый дом Савиньн, казалось, предупреждал ее: «Иди прочь… Не входи». И если бы Клер послушалась его, она отказалась бы от своего намерения поговорить с дедушкой, вернулась бы в Париж и сохранила свой душевный покой. Но бедняжка не поняла его языка, и вот она уже у входной двери, куда к ней спешит, прыгая по сухим листьям и тяжело дыша, узнавший ее огромный ньюфаундленд.

— Здравствуйте, Франсуаза!.. Где дедушка? — спросила молодая женщина у открывшей ей садовницы, приниженной, лицемерной и трепещущей, как и все слуги в замке, когда они чувствовали на себе глаз хозяина.

Дедушка был в своем рабочем кабинете, — в маленьком павильоне, расположенном в стороне от главного здания. Он целыми днями рылся здесь в ящиках и папках с бумагами, перелистывал толстые книги с зелеными корешками, и все это с той страстью к канцелярщине, которая появилась у деда как следствие его былого невежества и того неотразимого впечатления, какое произвела на него когда-то нотариальная контора в его родном селе.

Он заперся там со сторожем, своего рода деревенским шпионом, доносчиком на жалованье, сообщавшим ему обо всем, что делалось и говорилось в округе.

Это был любимец хозяина. Его звали «Куница», и его приплюснутая, хитрая, кровожадная физиономия как нельзя лучше соответствовала атому прозвищу.

Увидев внучку, бледную и дрожащую под пышными мехами, старик понял, что произошло что-то важное, необычное. Он сделал знак сторожу, и тот исчез, бесшумно скользнув в приоткрытую дверь, — как будто вошел в стену.

— Что с тобой, милочка?.. Ты сама не своя, — обратился к внучке старик, сидя за огромным письменным столом.

Взволнованная, растерянная, почти обезумевшая, Клер действительно, как верно заметил дед, была сама не своя. Быстрая ходьба по холоду, усилие, которое ей пришлось сделать над собой, чтобы прийти сюда, придали ее всегда спокойному и строгому лицу непривычное выражение. Хотя дед держался так, что это не могло вызвать у нее нежности, все же она

подошла и поцеловала его, а затем села у камина, где, ярко вспыхивая, весело потрескивали обросшие сухим мохом поленья и еловые шишки, подобранные в аллеях парка. Она даже не дала себе времени стряхнуть иней, осевший на вуалетке, и сразу же заговорила, верная своему решению объяснить причину визита тотчас по приходе, прежде чем успеет поддаться атмосфере страха и почтительности, окружавшей деда и превращавшей его в грозного бога.

Немало мужества потребовалось ей, чтобы не растеряться перед его спокойным, пристальным взглядом, с первых же ее слов засверкавшим злобной радостью, чтобы не запнуться, заметив жесткое выражение его сомкнувшихся в намеренном молчании губ, выражение, свидетельствовавшее о непоколебимом упрямстве и отсутствии какой бы то ни было чувствительности.

Почтительно, но не теряя достоинства, скрывая свое волнение, она единым духом высказала все до конца; чистосердечность рассказа придала ее голосу твердость и уверенность.

Они сидели друг против друга, он — холодный, спокойный, развалившись в кресле и засунув руки в карманы серого фланелевого жилета, она — вся начеку, взвешивая каждое слово, как будто от любого из них могло зависеть ее осуждение или оправдание. Глядя на них, никто не сказал бы, что это дедушка и внучка; скорее — подсудимая и судебный следователь.

В душе старик радовался и торжествовал. Наконец — то они сокрушены, эти гордецы Фромоны Значит, им еще нужен старый Гардинуа! Тщеславие — его преобладающая страсть — проскальзывало помимо воли во всем его поведении. Когда она замолчала, заговорил он, начав, конечно, со всяких: «Я был в этом уверен… Я предсказывал… Я знал, что в конце концов так будет…» Продолжая в том же нудном, оскорбительном тоне, он закончил свою речь заявлением, что, «согласно своим принципам, хорошо известным в семье», он не даст взаймы ни единого гроша.

Тогда Клер заговорила о своем ребенке, об имени мужа — ведь это имя и ее отца, и вот оно будет теперь обесчещено банкротством… Старик оставался по-прежнему холодным и неумолимым и не преминул воспользоваться ее унижением, чтобы унизить ее еще больше: он был ив породы тех добрых поселян, которые, видя, что их враг повержен, не уйдут без того, чтобы не пнуть его сапогом в лицо.

— Могу только сказать тебе, дорогая, что Савиньи всегда открыто для вас… Пусть твой муж приедет сюда. Мне как раз нужен секретарь. Жорж будет вести мои бумаги и получать тысячу двести франков в год и полное

содержание для всех вас… Предложи это ему от моего имени — и приезжайте!

Клер в негодовании встала. Она пришла к нему как внучка, а он принимает ее как нищенку… Слава богу, до этого они еще не дошли.

— Ты так думаешь? — спросил Гардинуа, злобно сощурив свои маленькие глазки.

Клер ничего не ответила и, дрожа всем телом, направилась к двери. Старик жестом остановил ее.

— Смотри! Ты сама не знаешь, от чего отказываешься. Пойми, что я в твоих же интересах предложил, чтобы твой муж переехал сюда… Ты и не подозреваешь, какую жизнь ведет он там… Конечно, не подозреваешь, иначе ты не явилась бы просить у меня денег, чтобы и они ухнули туда же, куда ухнули твои денежки… Ведь я-то в курсе дел твоего муженька. У меня своя полиция не только в Савиньи, но и в Париже и даже в Аньере. Мне известно, где этот молодчик проводит свои дни и ночи, и я не желаю, чтобы мои экю последовали за ним туда, где он бывает. Это не очень-то почетно для честно заработанных денег.

Клер смотрела на него удивленными, расширившимися от ужаса глазами, чувствуя, что в эту минуту страшная драма входит в ее жизнь через низкую дверцу доносов. Старик продолжал, усмехаясь:

— Надо сказать, что у этой Сидони хищные зубки!

— Сидони!..

— Ну что ж, ничего не поделаешь. Я назвал имя… Впрочем, ты все равно узнала бы его рано или поздно… Даже удивительно, как до сих пор… Да ведь вы, женщины, так тщеславны!.. Вы никак не хотите допустить, что вас могут обманывать. И все же это так! Сидони обобрала его и, конечно, с согласия мужа.

И он безжалостно разъяснил молодой женщине, откуда взялись деньги на покупку аньерской дачи, лошадей и экипажей, как было обставлено их роскошное гнездышко на авеню Габриэль. Он вдавался в мельчайшие подробности. Видно было, что, найдя новый повод для применения своих шпионских наклонностей, он широко воспользовался им. А может быть, за всем этим таилась глухая злоба на малютку Шеб, досада влюбленного старика, чувство которого так и осталось невысказанным.

Клер слушала его молча, с прелестной недоверчивой улыбкой. Эта улыбка раздражала старика, пришпоривала его злобу… А, ты мне не веришь!.. Тебе нужны доказательства!.. И он не скупился на них, давал их одно за другим, наносил ее сердцу удар за ударом. Пусть она сходит к ювелиру Даршу, на улице Мира. Две недели тому назад Жорж купил там

бриллиантовое Ожерелье за тридцать тысяч франков. Подарок Сидони к Новому году. На тридцать тысяч франков бриллиантов накануне банкротства!

Он мог бы говорить целый день — Клер не прервала бы его. Она чувствовала, что малейшее усилие заставит хлынуть слезы, наполнявшие ее глаза, а это милое отважное создание хотело, напротив, улыбаться, улыбаться до конца. Она только поглядывала время от времени на дорогу. Ей хотелось поскорее уйти, убежать от этого злого голоса, так безжалостно терзавшего ее.

Наконец он умолк: он все сказал. Она кивнула головой и направилась к двери.

— Ты уже уходишь?.. Что ты так торопишься? — говорил дедушка, провожая ее за дверь.

В глубине души ему было немного стыдно за свою жестокость.

— Может быть, позавтракаешь со мной?

Не в силах произнести ни слова, она отрицательно покачала головой.

— Подожди хотя бы, пока запрягут лошадей… Тебя отвезут на вокзал.

Нет, нет…

И она продолжала идти, а старик шел за ней следом.

Она гордо прошла через двор, полный воспоминаний детства, ни разу даже не обернувшись. А между тем сколько отголосков веселого смеха, сколько солнечных лучей, озарявших дни ее юности, хранила каждая песчинка этого двора!

Ее дерево, ее любимая скамейка стояли на прежних местах. Она не взглянула ни на них, ни на фазанов в вольере, не взглянула даже на большую собаку Кисс, которая покорно следовала за ней, напрасно ожидая ласки. Она вошла сюда, как своя, родная, а уходила, как чужая, в страшной тревоге, и малейшее напоминание о спокойном, счастливом прошлом могло только еще усилить эту тревогу.

— Прощайте, дедушка!

— Ну что ж, прощай!

Дверь за ней захлопнулась. Оставшись одна, Клер пошла быстро-быстро, почти бегом. Она не шла, она спасалась бегством. Дойдя до конца ограды, она очутилась перед почтовым ящиком, висевшим на маленькой зеленой калитке, увитой глициниями и жимолостью. Она инстинктивно остановилась, пораженная одним из тех внезапных пробуждений памяти, которые совершаются в нас в решительные минуты жизни и с необыкновенной ясностью воссоздают перед нашим внутренним взором малейшие события прошлого, связанные с радостями и катастрофами

настоящего. Было ли это вызвано солнцем, внезапно показавшимся в этот зимний день и осветившим косыми розовыми лучами огромную равнину, как это было тогда, в конце августа, в час заката?.. Или, быть может, окружавшим ее безмолвием, нарушаемым только гармоничными шорохами природы, почти одинаковыми во все времена года?..

Как бы там ни было, но только она увидела себя такою, какой была три года тому назад на этом самом месте в тот день, когда опустила в ящик письмо, приглашавшее Сидони приехать к ней на месяц в деревню. Что-то говорило ей сейчас, что все ее несчастья начались с той минуты. «Ах, если б я знала!.. Если б я знала!..» И ей казалось, что она еще чувствует на кончиках пальцев прикосновение шелковистого конверта, готового упасть в ящик.

Клер вспомнила, каким счастливым, наивным, полным надежд ребенком была она тогда, и, несмотря на всю ее кротость, в ее душе вспыхнул бунт против несправедливости жизни. «За что? Что я сделала?» — думала она. И тут же успокаивала себя: «Нет! Неправда! Это невозможно… Мне солгали…» И всю дорогу до вокзала она старалась уговорить, убедить себя в том. Но это ей не удавалось.

Не до конца выясненная правда подобна затуманенному солнцу, утомляющему глаза гораздо больше, чем самые яркие лучи. В полумраке, еще окружавшем ее несчастье, бедная женщина видела все гораздо яснее, чем ей хотелось. Теперь она понимала, объясняла себе странное поведение мужа, его отлучки, беспокойство, смущенный вид и обилие подробностей, которыми он забрасывал ее в иные дни, когда, вернувшись домой, начинал рассказывать о своем времяпрепровождении, спеша назвать ей имена как доказательства, которых она и не требовала от него. Сопоставляя все, она приходила к мысли, что муж виновен. И все же отказывалась этому верить и хотела поскорее очутиться в Париже, чтобы покончить со всеми сомнениями.

На станции, маленькой заброшенной станции, где зимой редко увидишь пассажира, было пусто. Сидя в ожидании поезда, Клер рассеянно глядела на унылый сад начальника станции и на остатки вьющихся растений, ползших по изгороди вдоль железнодорожного пути. Вдруг она почувствовала на своей перчатке горячее влажное дыхание. Это был ее друг Кисс, прибежавший следом за нею и своим появлением напомнивший ей об их прежних чудесных прогулках. Он вилял хвостом, прыгал, всячески старался проявить свою радость и покорность, пока наконец не растянулся на холодном станционном полу, у ног своей госпожи, словно желая согреть их своим пушистым белым мехом. Эта робкая ласка животного, как бы

выражавшая нежную и преданную симпатию, заставила Клер разразиться долго сдерживаемыми слезами. Но она тут же устыдилась своей слабости. Она встала и прогнала собаку, прогнала безжалостно, прикрикнув на нее и указав ей жестом на дом, и выражение лица у нее при этом было такое строгое, какого бедный Кисс никогда раньше не замечал у нее. Затем она поспешно вытерла глаза и влажную руку. Подходил парижский поезд, и она знала, что скоро ей понадобится все ее мужество.

Выйдя из вагона, Клер прежде всего решила поехать на улицу Мира в ювелирный магазин, где, по словам деда, Жорж купил бриллиантовое ожерелье. Если это подтвердится, значит, верно и все остальное. Но она так боялась узнать правду, что, очутившись перед роскошной витриной, остановилась, не решаясь войти. Чтобы не обращать на себя внимания, она сделала вид, будто рассматривает драгоценности, рассыпанные по бархату футляров. Глядя на эту изящную, скромно одетую даму, склонившуюся над заманчиво сверкавшими камнями, ее скорее можно было принять за счастливую женщину, выбирающую себе украшение, чем за встревоженное, страдающее существо, пришедшее сюда узнать страшную тайну своей жизни.

Было три часа пополудни. Зимой в это время дня улица Мира имеет поистине ослепительный вид. В этих роскошных кварталах люди торопятся жить в промежуток между коротким утром и незаметно наступающим вечером. Быстро мчатся взад и вперед экипажи, слышится непрерывный стук колес, на тротуарах полно кокетливых женщин, шуршат шелка и меха. Зима — лучший сезон Парижа. Чтобы увидеть этот изумительный город во всей его красе, во всем его блеске и великолепии, надо посмотреть, как живет он под нависшим, отяжелевшим от снега небом. Природа, можно сказать, отсутствует на этой картине. Ни ветра, ни солнца. Света как раз столько, чтобы выгоднее подчеркнуть самые бледные краски, самые нежные тона, начиная с серо — бурых тонов каменных зданий и кончая черным стеклярусом, украшающим женские туалеты. Театральные и концертные афиши сияют, точно освещенные огнями рампы. В магазинах полно народу. Можно подумать, что все эти люди беспрерывно готовятся к праздникам.

И если в этот шум, в эту сутолоку попадает кто-то со своим горем, он ощущает его здесь еще острее. Клер, кажется, предпочла бы смерть тем мукам, что вынесла она за какие-нибудь пять минут. Там, по дороге из Савиньи, среди необозримых пустынных полей ее отчаяние как бы рассеивалось на широком просторе, занимало меньше места в ее душе. Здесь оно душило ее. Голоса, звучавшие подле нее, шаги, нечаянное

прикосновение усиливали ее муку.

Наконец она вошла…

— Да, да, сударыня, совершенно верно… Господин Фромон… Бриллиантовое ожерелье… Мы можем вам сделать точно такое же за двадцать пять тысяч франков.

На пять тысяч франков дешевле, чем ему.

— Благодарю вас, — сказала Клер, — я подумаю.

Увидев себя в зеркале, она испугалась своей мертвенной бледности и синевы под глазами. Она быстро вышла, напрягая все свои силы, чтобы не упасть.

Ей хотелось только одного: поскорее уйти от уличного шума, остаться одной, совсем одной, чтобы окунуться, погрузиться в пучину мучительных, черных мыслей, вихрем кружившихся в ее голове… Подлый, низкий человек!.. А она-то еще сегодня ночью утешала, обнимала, его!

И вдруг она заметила, что находится во дворе фабрики. Как попала она сюда? Пришла пешком или приехала в экипаже? Она ничего не помнила. Она действовала бессознательно, точно во сне.

Но мучительное, жестокое сознание действительности вернулось к ней, как только она подошла к крыльцу своего особняка. Она увидела Рислера, наблюдавшего за тем, как вносили наверх, к его жене, кадки с цветами для большого бала, который Сидони устраивала в этот вечер. С присущей ему неторопливостью он руководил рабочими, поддерживал длинные ветки растений, чтобы они не сломали их. «Не так… Несите боком… Осторожней, не заденьте за ковер…»

Атмосфера праздника и удовольствий, так раздражавшая Клер на улице, преследовала ее и здесь, дома. В конце концов это уж слишком злая насмешка! В ней вспыхнуло возмущение, и, когда Рислер поклонился ей, как всегда сердечно и почтительно, лицо ее выразило безграничное отвращение, и она прошла мимо, ничего не сказав ему и не заметив, с каким удивлением он вытаращил свои большие добрые глаза.

В эту минуту решение ее было принято.

Гнев, чувство оскорбленной гордости и справедливости отныне руководили ее поступками.

Войдя к себе, она наскоро поцеловала свежие щечки ребенка и тут же побежала в комнату матери.

— Мама, одевайтесь скорее!.. Мы уезжаем… Уезжаем немедленно.

Старая дама не спеша поднялась с кресла, с сожалением расставаясь с часовой цепочкой, которую она чистила с бесконечными предосторожностями, втыкая булавку в каждое ее звено. Клер с трудом

удержалась от нетерпеливого движения.

— Скорее!.. Скорее!.. Укладывайте ваши вещи.

Голос у нее дрожал. Она оглядела комнату матери, и эта сверкающая чистота, забота о которой постепенно превратилась в манию, привела ее в ужас. Она переживала одну из тех страшных минут, когда одна утраченная иллюзия заставляет нас терять и все остальные, и перед нами вдруг раскрывается вся глубина человеческого несчастья. Клер впервые поняла, как была она одинока, живя рядом с полупомешанной матерью, неверным мужем и слишком еще маленьким ребенком. Но это только укрепило Клер в ее решении.

Скоро весь дом занялся приготовлениями к поспешному и неожиданному отъезду. Клер торопила растерявшуюся прислугу, одевала мать и девочку, веселившуюся среди всей этой суматохи. Ей хотелось уехать до возвращения Жоржа, чтобы он, придя домой, нашел колыбельку пустой, дом покинутым. Куда она поедет? Она и сама еще не знала. Может быть, к тетке в Орлеан, может быть, в Савиньи — все равно куда. Лишь бы убежать, вырваться из этой атмосферы лжи и обмана.

Так думала она, укладывая у себя в комнате чемоданы и собирая вещи. Мучительное занятие! Каждый предмет, которого она касалась, пробуждал в ней целый рой мыслей и воспоминаний — ведь так много от нас самих оставляем мы в наших вещах! Достаточно было знакомого запаха саше, рисунка кружев, чтобы вызвать у нее слезы. Вдруг через полуоткрытую дверь до нее донеслись чьи-то тяжелые шаги в гостиной, затем кто-то тихонько кашлянул, как бы предупреждая о своем присутствии. Она подумала, что это Рислер — только он один имел право так запросто входить к ней. При мысли, что она увидит сейчас его лицо с неискренним выражением, его лживую улыбку, она почувствовала таков отвращение, что бросилась к двери, чтобы затворить ее.

— Я никого не принимаю.

Но дверь не поддавалась, и в отверстие просунулась квадратная голова Сигизмунда.

— Это я, сударыня, — тихо проговорил он. — Я пришел за деньгами.

— За какими деньгами? — спросила Клер, совершенно забыв, зачем она ездила в Савиньи.

— За деньгами для завтрашнего платежа. Господин Жорж сказал мне, уходя, что я получу их у вас.

— Ах, да… правда… Сто тысяч франков… Но у меня их нет, господин Планюс, у меня ничего нет.

— Значит, — промолвил кассир каким-то угасшим голосом, словно

говорил сам с собой, — значит, банкротство…

Он медленно повернулся и вышел.

Банкротство!..

Она села, охваченная ужасом, подавленная горем.

За последние несколько часов крах семейного счастья заставил ее забыть о крахе фирмы; теперь она вспомнила об этом. Итак, ее муж разорен.

Вернувшись домой, он узнает о катастрофе и в довершение всего увидит, что его жена и ребенок уехали, что он остался один среди полного разгрома.

Один… Этот мягкий, слабохарактерный человек, умеющий только плакать, жаловаться и грозить жизни кулаком, как ребенок. Что будет с ним, несчастным?

Она жалела его, несмотря на всю его вину перед вей.

Вдобавок, у нее мелькнула мысль, что ее отъезд истолкуют как бегство от банкротства, от нищеты.

Жорж может подумать: «Вот если б я был богат, она простила бы меня».

Неужели она заронит в нем это сомнение?

Одной мысли об этом было достаточно, чтобы заставить великодушную и гордую Клер переменить ее решение. Мгновенно в ней улеглось все ее отвращение, утих гнев, и, словно внезапно прозрев, она ясно увидела, в чем ее долг. Когда пришли сказать, что ребенок одет и чемоданы упакованы, ее новое решение было уже принято.

— Не надо… — сказала она тихо. — Мы не едем.

III. СРОК ПЛАТЕЖА!

Часы на башне Сен-Жерве пробили час ночи. Было так холодно, что мелкий дождь замерзал в воздухе и, превращаясь в снег, устилал тротуары белым хрустящим покровом.

Рислер возвращался из пивной. Кутаясь в пальто, он быстро шагал по пустынным улицам Маре.

Добряк Рислер был счастлив. Он только что отпраздновал в обществе двух своих верных заемщиков, Шеба и Делобеля, свой первый выход, окончание длительного затворничества, во время которого он наблюдал за изготовлением печатной машины, переживая все сомнения, все радости и разочарования изобретателя. Это тянулось долго, очень долго. В последнюю минуту был обнаружен дефект. Сцепка плохо действовала; пришлось снова браться за чертежи и вычисления. И вот наконец сегодня сделали пробу новой машины. Все удалось как нельзя лучше. Добряк торжествовал. Ему казалось, что он выплачивает долг, предоставляя фирме Фромон выгодное изобретение, которое, облегчая труд и сокращая число рабочих часов, удвоит доходы и известность фабрики. Он шел, окрыленный мечтами, и его шаги звучали гордо, в такт с уверенным и радостным течением его мыслей.

Сколько замыслов, сколько надежд!

Теперь можно будет их аньерскую дачу — Сидони с некоторых пор не называла ее иначе как лачугой — заменить красивым поместьем в десяти — пятнадцати милях от Парижа; можно будет увеличить пенсию Шебу, чаще помогать Делобелю, несчастная жена которого убивала себя работой, и, наконец, у него появится возможность вернуть Франца. Это было его самое заветное желание. Он не переставал думать о бедном мальчике, жившем в чужой стране с нездоровым климатом и отданном на волю тиранической администрации, которая предоставляла своим служащим отпуск, а затем без всякого объяснения требовала их немедленного возвращения. Рислер все еще не мог успокоиться после внезапного и непонятного отъезда Франца: короткое пребывание брата, не дав ему времени насладиться его обществом, только оживило все его воспоминания об их былой привязанности и совместной жизни. И он рассчитывал, когда его печатная машина будет пущена в ход, найти на фабрике местечко для Франца, где тот мог бы приложить свои знания и завоевать положение. Как и всегда, Рислер думал только о счастье других. Ему хотелось, чтобы все

около него были довольны я улыбались, — это было его единственное эгоистическое желание.

Все время ускоряя шаги, он дошел до угла улицы Вьей-Одриет. Перед домом стояла длинная вереница экипажей. Отблеск их фонарей, падавший на улицу, темные силуэты кучеров, прятавшихся от снега за выступы и в углубления, сохранившиеся в старых особняках, несмотря на ровно вытянувшуюся линию тротуаров, оживляли пустынный и тихий квартал.

«Да, правда!.. — подумал добряк. — Ведь у нас бал». Он вспомнил, что Сидони устраивала сегодня большой музыкально-танцевальный вечер, от присутствия на котором она, впрочем, освободила его, «зная, что он очень занят». Этот праздник, отголосок которого долетел до него, когда он строил планы и мечтал о богатстве и связанной с ним возможности проявлять щедрость, окончательно развеселил его и преисполнил гордости. Не без важности толкнул он тяжелые ворота, приоткрытые для въезда приглашенных, и увидел, что весь второй этаж особняка в глубине сада сверкает огнями.

За колеблющимися тюлевыми занавесками мелькали тени. Приглушенные звуки оркестра, то нараставшие, то затихавшие, казалось, сопровождали движения таинственных видений. Там танцевали. На минуту Рислер остановил свой взгляд на фантасмагории бала, и в маленькой комнатке, примыкавшей к гостиной, он узнал силуэт Сидони.

Стройная в своем роскошном наряде, она стояла в позе хорошенькой женщины перед зеркалом. Позади нее другая тень, поменьше, — вероятно, г-жа Добсон — поправляла какой-то беспорядок в ее туалете, быть может, раввязавшийся на шее бант, длинные концы которого, развеваясь, падали на мягкие складки шлейфа. Все было очень неясно, но изящество женщины чувствовалось даже в этих едва угадываемых линиях, и Рислер долго стоял, любуясь женой.

Какой поразительный контраст с первым этажом! Там не было огней, только в спальне с лиловыми обоями горела лампочка. Рислер обратил внимание на эту мелочь, и, так как дочка Фромонов была несколько дней тому назад больна, он забеспокоился: ему вдруг вспомнилось странное волнение г-жи Фромон, быстро пробежавшей мимо него утром, и он вернулся к будке Ахилла, чтобы узнать, в чем дело.

Дворницкая была полна народу. Кучера грелись у печки и, дымя трубками, оживленно болтали, смеялись. При появлении Рислера водворилось глубокое молчание — насыщенное любопытством, испытующее, насмешливое молчание. Очевидно, говорили о нем.

— Разве ребенок Фромонов все еще болен? — спросил он.

— Нет. Болен не ребенок, а барин.

— Господин Жорж болен?

— Да, с ним это случилось сегодня вечером, когда он вернулся домой… Я сразу побежал за доктором… Он сказал, что ничего серьезного, что барину нужен покой.

В то время как Рислер затворял дверь, дядя Ахилл добавил вполголоса, с заносчивостью трусливого и вместе с тем наглого слуги, который хочет, чтобы его слышали, но не совсем поняли:

— Да, черт возьми! В первом этаже, небось, не до веселья, не то что во втором!

Вот что произошло.

Вернувшись вечером домой, Фромон по расстроенному, изменившемуся лицу Клер сразу догадался о катастрофе. Но за последние два года он привык безнаказанно изменять ей, и ему ни на минуту не пришло в голову, что жена могла узнать о его поведении. Клер, не желая его добивать, великодушно рассказала только о поездке в Савиньи.

— Дедушка отказал, — промолвила она.

Несчастный побледнел.

— Я погиб… погиб… — повторил он несколько раз растерянно, точно в бреду, и его бессонные ночи, последнее ужасное объяснение с Сидони, когда он просил ее отменить этот бал накануне разорения, отказ Гардинуа, все события, тесно связанные одно с другим и свалившиеся на него одно за другим, — все это повлекло за собой настоящий нервный припадок. Клер стало жаль мужа. Она заставила его лечь в постель, а сама села подле него. Она пыталась говорить с ним, ободрить его, но в ее голосе уже не было той нежности, которая успокаивает и убеждает. В ее жестах, в том, как она поправляла подушку под головой больного, в том, как приготовляла ему успокоительное питье, проглядывало равнодушие, странная отчужденность.

— Но ведь я разорил тебя! — время от времени произносил Жорж как бы для того, чтобы разрядить давившую его напряженность.

Она отвечала пренебрежительным жестом… Ах, если б его вина была только в этом!

Мало-помалу он все же успокоился, лихорадка прошла, и он уснул.

Она осталась дежурить подле него.

«Это мой долг!» — говорила она себе.

Ее долг!

Только это чувство и осталось у нее теперь к этому человеку, которого она так слепо любила, надеясь про-' жить с ним долгую счастливую жизнь.

А там наверху, у Сидони, бал становился все оживленнее. Для удобства танцующих г-жа Рислер распорядилась убрать все ковры из своих гостиных, и было слышно, как мерно дрожал потолок. По временам доносился гул голосов и взрыв аплодисментов, указывавшие на многочисленность общества.

Клер обдумывала положение. Она не терзала себя ненужными сожалениями, бесплодными жалобами. Она знала, что жизнь неумолима и что никакими рассуждениями не остановить печальной закономерности ее неуклонного течения. Она не задавалась вопросом, как мог этот человек так долго обманывать ее, как мог он ради каприза погубить честь и счастье своей семьи. Это был совершившийся факт, и никакие ее рассуждения не могли вычеркнуть его, исправить непоправимое. Ее занимало теперь только будущее. Ей уже виделась та жизнь, которая ждет ее: жизнь мрачная, суровая, полная труда и лишений. И странное дело — разорение не только не пугало ее, а, напротив, возвращало ей все ее мужество. Мысль, что ради экономии им придется переменить квартиру, что Жоржу, а может быть, также и ей придется усиленно работать, придавала ей бодрости, выводила из состояния тупого отчаяния. Ведь на ее руках окажется трое детей: мать, дочь и муж. Сознание ответственности не позволяло ей сокрушаться, горевать о своей погибшей любви. И по мере того, как она забывала о самой себе, думая о слабых существах, которых ей нужно будет опекать, она начинала лучше понимать смысл слова «жертва», такого неопределенного в равнодушных устах и такого значительного, когда оно становится правилом жизни.

Вот о чем думала бедная женщина в ту печальную ночь, когда со слезами на глазах она собирала все свое мужество, готовясь к великой битве. Вот что освещала скромная лампочка, замеченная Рислером и показавшаяся ему снизу звездой, упавшей со сверкающих бальных люстр.

Успокоенный ответом Ахилла, он решил пройти прямо к себе, минуя бал и гостей, до которых ему не было ровно никакого дела.

Обычно в таких случаях он поднимался по черной лестнице, сообщавшейся с конторой кассира. Он пошел по застекленным мастерским. Отраженный снегом лунный свет освещал их, как днем. Там еще стояла атмосфера дневной работы, удушливая жара, насыщенная запахом подогретого лака и талька. Длинные ряды развешанных на сушилках обоев образовывали шуршащие аллеи. Повсюду были разбросаны инструменты, там и сям висели рабочие блузы, приготовленные к завтрашнему дню. Проходя здесь, Рислер всегда испытывал чувство особого удовольствия.

Вдруг в конце длинной анфилады пустых комнат он заметил свет в

кабинете Планюса. Несмотря на очень поздний час, старый бухгалтер еще работал. Это было необычно.

Первым движением Рислера было повернуть обратно. Со времени непонятного для него разрыва с Сигизмундом, с тех пор, как тот усвоил по отношению к нему молчаливую холодность, он старался не встречаться с ним. Считая себя оскорбленным в своих дружеских чувствах, он избегал объяснения, из гордости не спрашивал у Планюса, за что тот сердится на него. Но в этот вечер Рислер испытывал непреодолимую потребность в откровенности и теплом участии. К тому же представлялся такой прекрасный случай побыть наедине со старым другом, что он решил воспользоваться им и смело вошел в контору.

Сигизмунд Планюс сидел неподвижно среди груды бумаг и больших раскрытых книг; некоторые из них соскользнули и лежали на полу. Кассир даже не поднял глаз, когда вошел его хозяин: он узнал шаги Рислера. Рислер, слегка смущенный, колебался с минуту, затем, движимый одним из тех тайных побуждений, которые неотвратимо толкают нас на путь нашей судьбы, решительно подошел к окошку кассы.

— Сигизмунд!.. — проговорил он значительно.

Старик поднял голову, и Рислер увидел искаженное лицо, по которому катились две крупные слезы, быть может, первые пролитые этим человеком-цифрой за всю его жизнь.

— Ты плачешь, старина? Что с тобой?

Рислер, растроганный, протянул руку старому другу, но тот отдернул свою. Это движение было так непроизвольно, так резко, что растроганность Рислера сменилась негодованием.

Он сурово выпрямился.

— Я протягиваю тебе руку, Сигизмунд Планюс, — сказал он;

— А я… я не желаю подавать тебе руку… — ответил Планюс, вставая.

Последовало напряженное молчание. Слышны были только заглушенные звуки оркестра наверху, шум веселого бала да тяжелый нелепый топот танцующих, от которого сотрясался потолок.

— Почему ты не хочешь подать мне руку? — спросил Рислер спокойно, хотя решетка, на которую он опирался, задрожала с металлическим звоном.

Сигизмунд стоял перед ним, положив руку на конторку, как бы желая придать этим больше веса и значения своему ответу.

— Почему?.. Потому что вы разорили фирму, потому что на том самом месте, где вы сейчас стоите, через несколько часов будет стоять служащий из банка, которому я должен вручить сто тысяч франков, а у меня из-за вас

нет ни одного су в кассе… Вот!

Рислер был потрясен.

— Я разорил фирму? Я?..

— Больше того, сударь: вы разорили ее при содействии вашей жены, сумев извлечь выгоду из нашего разорения и своего бесчестия… О, я отлично понимаю ваши расчеты! Деньги, которые ваша жена вытянула у несчастного Фромона, дача в Аньере, бриллианты и все остальное помещено, конечно, во избежание катастрофы на ее имя, и вы теперь можете спокойно удалиться от дел.

— О-о-х!.. — простонал Рислер упавшим, сдавленным голосом, не в силах выразить все обуревавшие его мысли, и, что-то бормоча, он с такой силой потянул к себе решетку, что она сломалась. А потом покачнулся и упал замертво. Он лежал так без движения, без слов, и единственно, что в нем жило, — это твердая решимость не умирать, прежде чем он не оправдается. И решимость эта была, по-видимому, очень сильна, ибо, несмотря на то, что в висках у него стучало, от прилива крови посинело лицо, в ушах шумело, и затуманенные глаза, казалось, смотрели уже в страшное неизвестное, несчастный все повторял себе самому невнятным голосом, голосом утопающего, который, захлебываясь, повторяет под вой ветра: «Надо жить… Надо жить…»

Придя в себя, он увидел, что сидит на диване, на котором в расчетные дни рабочие дожидаются получки. Пальто его валялось на полу, галстук был развязан, ворот рубашки разрезан перочинным ножом Сигизмунда. К счастью для себя, ломая решетку, Рислер порезал руки: он потерял много крови, и этот, казалось бы, пустяк спас его от апоплексического удара. Когда он снова открыл глаза, он увидел возле себя старого Сигизмунда и г-жу Фромон; ее привел сюда испуганный кассир. Как только к Рислеру вернулся дар речи, он, задыхаясь, прошептал:

— Это правда, *мадам Шорш?..* Это правда — то, что мне сейчас сказали?

У нее не хватило духу обмануть его, и она отвела глаза.

— Итак, — продолжал несчастный, — итак, фирма разорена, и это я…

— Нет, Рислер, нет, мой друг… Это не вы…

— Значит, моя жена? Это ужасно!.. Так вот как я отплатил вам за все!.. Но вы-то, *мадам Шорш,* неужели и вы считали меня соучастником подобной низости?

— Нет, нет, мой друг, успокойтесь… Я знаю, что вы честнейший человек на свете.

Во всех проявлениях его наивной натуры было что — то детское, и вот

он смотрел на нее сейчас, молитвенно сложив руки, и шептал дрожащими губами:

— Ах, *мадам Шорш, мадам Шорш!..* Как подумаю, что это я разорил вас…

В обрушившемся на него ударе, который больнее всего поразил его сердце, переполненное любовью к Сидони, он хотел видеть только финансовую катастрофу фирмы Фромон, вызванную его слепым доверием к жене. Вдруг он резко выпрямился.

— Ну›- сказал он, — нечего хныкать… Прежде всего надо рассчитаться…

Г-жа Фромон испугалась.

— Рислер!.. Рислер!.. Куда вы?

Она подумала, что он идет к Жоржу.

Рислер понял ее, и по лицу его промелькнула гордая, презрительная усмешка.

— Не тревожьтесь, сударыня… Господин Жорж может спать спокойно. У меня есть дело более срочное, чем месть за поруганную честь мужа. Подождите меня здесь… Я сейчас вернусь.

Он бросился вверх по маленькой лестнице, а Клер, поверив ему на слово, осталась с Планюсом. Она переживала одну из тех напряженных, полных неопределенности минут, которые кажутся бесконечными от всех тех мрачных предположений, какие приходят в голову.

Несколько минут спустя на темной узкой лестнице послышались торопливые шаги и шуршание юбок.

Первой показалась Сидони, ослепительная в своем бальном наряде, но такая бледная, что драгоценности, сверкавшие на ее матовой коже, казались более живыми, чем она сама, — как будто они украшали мраморную статую. Запыхавшись от танцев, дрожа от волнения и быстрой ходьбы, она вся трепетала, и ее воздушные воланы, ленты, цветы, весь ее богатый бальный наряд как-то трагически сник на ней. Следом за нею шел Рислер, нагруженный футлярами, ящичками, бумагами. Придя наверх, он кинулся к секретеру жены, взял все, что в нем было ценного, — золотые вещи, процентные бумаги, купчую на аньерскую дачу, — а затем с порога комнаты громко позвал жену:

— Госпожа Рислер!..

Она тотчас прибежала на зов, и гости в разгаре веселья даже не заметили этой короткой сцены. Увидев мужа перед секретером, ящики которого были выдвинуты и опрокинуты на ковер вместе со всеми находившимися в них безделушками, она поняла, что произошло что — то

серьезное.

— Идемте, — сказал Рислер, — я знаю все.

Она хотела было принять невинный и высокомерный вид, но Рислер с такой силой схватил ее за руку, что ей невольно вспомнились слова Франца: «Он, может быть, умрет от этого, но прежде он убьет вас…». А так как она боялась смерти, то без сопротивления позволила увести себя и даже не посмела солгать.

— Куда мы идем? — тихо спросила она.

Рислер ничего не ответил. Она едва успела набросить на голые плечи (забота о себе никогда не покидала ее) легкий тюлевый шарф, и он увлек ее, вернее, вытолкал на лестницу, которая вела в кассу, и сам спустился, следуя за ней по пятам из боязни, как бы не ускользнула его добыча.

— Вот… — сказал он, входя. — Мы украли, мы и возмещаем… Держи, Планюс, тут есть из чего сделать деньги.

И он положил на конторку кассира изящные предметы, которыми были полны его руки: изысканные женские украшения, прелестные мелочи туалета, бумаги с печатями.

Затем, повернувшись к жене, коротко приказал:

— Ну, а теперь ваши драгоценности… Да поскорее!

Она медленно, с чувством сожаления расстегивала браслеты и серьги; особенно ей было жаль великолепный аграф бриллиантового ожерелья, где сверкающее «S» — инициал ее имени — казалось уснувшей змеей, заключенной в золотой круг. Рислер, находя, что она делает все слишком медленно, рванул хрупкие застежки. Можно было подумать, что он казнит всю эту роскошь, и она словно стонала под его карающей рукой…

— Теперь моя очередь… — сказал он. — Я тоже должен все отдать… Вот мой бумажник… Что у меня есть еще?.. Что у меня есть еще?..

Он лихорадочно обыскивал себя.

— Да, часы… С цепочкой они стоят не менее тысячи франков… Мои перстни, обручальное кольцо… Все в кассу!.. Все!.. Сегодня мы должны уплатить сто тысяч франков. Утром надо будет двинуться в поход, продавать, ликвидировать. Я знаю человека, который хочет купить аньерский дом. Сделка будет заключена немедленно.

Он говорил и действовал один. Сигизмунд и г-жа Фромон смотрели на него, не произнося ни слова. Сидони казалась безучастной и как будто ничего не сознавала. Она только жалась от холодного воздуха, проникавшего из сада в маленькую дверцу, приоткрытую во время обморока Рислера, и машинально, с застывшим взглядом, растерянно Куталась в шарф. Слышала ли она по крайней мере музыку своего бала,

которая, как жестокая насмешка, доносилась до нее в минуты молчания вместе с тяжелым топотом танцующих, сотрясавшим пол?.. Железная рука, опустившаяся на ее плечо, внезапно вывела ее из оцепенения. Рислер подвел ее к жене своего компаньона.

— На колени! — сказал он.

Г-жа Фромон испуганно отшатнулась.

— Нет, нет, Рислер, не надо!

— Так нужно, — неумолимо проговорил Рислер. — Возмещение убытков, искупление вины… На колени, дрянь!..

Резким движением он толкнул Сидони к ногам Клер. Не выпуская ее руки, он продолжал:

— Вы будете повторять за мной слово в слово то, что я скажу: «Сударыня…»

Полумертвая от страха, Сидони тихо повторила:

— Сударыня…

— Смирением и покорностью всей жизни…

— Смирением и покор… Нет, не могу! — крикнула она, вскочила, как дикое животное, и, вырвавшись из рук Рислера, скользнула в открытую дверь, которая с самого начала этой ужасной сцены влекла ее к мраку ночи и бегству. Она пустилась бежать, и метель хлестала ее по обнаженным плечам.

— Остановите ее, остановите!.. Рислер, Планюс, умоляю вас!.. Ради бога, не дайте ей так уйти!..

Планюс сделал шаг к двери.

Рислер удержал его.

— Я запрещаю тебе двигаться с места… Слышишь?.. Прошу прощения, сударыня, но у нас есть дела поважнее… Сейчас не до госпожи Рислер… Нужно спасать поставленную на карту честь фирмы Фромонов. Только вто и имеет для меня значение в настоящее время. Планюс! Идем в кассу, подсчитаем.

Сигизмунд протянул ему руку.

— Ты честный человек, Рислер. Прости, что я усомнился в тебе.

Рислер сделал вид, что не слышит.

— Так ты говоришь, нужно уплатить сто тысяч франков? Сколько у тебя в кассе?

Усевшись за решеткой, он сосредоточенно перелистывал кассовые книги, процентные бумаги, открывал футляры, оценивал вместе с Планюсом, сыном ювелира, все эти бриллианты, которыми он когда-то любовался на своей жене, не подозревая их стоимости.

А Клер тем временем, вся дрожа, смотрела в окно на садик, где следы шагов Сидони уже исчезли под хлопьями падавшего снега, как бы свидетельствуя о том, что это бегство безвозвратно.

А наверху все еще танцевали. Гости думали, что хозяйка дома занята приготовлениями к ужину, а она в это время бежала с непокрытой головой, задыхаясь от рыданий и бешенства.

Куда она шла?

Она бежала, как сумасшедшая, минуя сад, фабричные дворы и мрачные своды, где завывал зловещий ледяной ветер. Дядя Ахилл не узнал ее; в эту ночь он видел столько силуэтов, закутанных в белое!

Первой мыслью молодой женщины было отправиться к тенору Казабони, которого она так и не посмела пригласить на бал, но он жил на Монмартре, а это было, пожалуй, далековато, принимая во внимание ее теперешний наряд. Да и застанет ли она его дома? Родители, конечно, приняли бы ее хорошо, но она уже заранее слышала причитания матери и нравоучительные речи маленького человечка. Тогда она подумала о Делобеле, о своем старом Делобеле. Теперь, когда рушилось все ее великолепие, она вспомнила того, кто первый приобщил ее к светской жизни, кто в дни ее детства давал ей уроки танцев и хороших манер, кто смеялся над ее милыми гримасками и научил ее находить себя красивой прежде, чем кто-либо сказал ей об этом. Что-то подсказывало ей, что этот неудачник, не в пример прочим, будет на ее стороне. Она села в один из экипажей, стоявших у ворот, и велела везти себя на бульвар Бомарше, где жил актер.

С некоторых пор г-жа Делобель занималась изготовлением соломенных шляп для вывоза. Это жалкое ремесло — если только его можно назвать ремеслом — давало ей два франка пятьдесят сантимов за двенадцать часов работы.

А Делобель продолжал толстеть, между тем как «святая женщина» все худела и худела. Вот и сейчас: он уже собирался съесть приятно пахнущий суп с сыром, оставленный для него в теплой воле очага, как вдруг услышал, что кто-то нетерпеливо стучит в дверь. Актер, только что смотревший в Театре Бомарше кровавую драму — кровь заливала даже афишу, — вздрогнул от этого стука в неурочный час.

— Кто там? — спросил он слегка испуганно.

— Это я… Сидони… Откройте!

Она вошла, вся дрожа, и, сбросив нарядную вечернюю накидку, приблизилась к печке, где уже догорал огонь. Она сразу же заговорила, спеша излить свой гнев, уже целый час душивший ее. Приглушенным

голосом, чтобы не разбудить мамашу Делобель, она рассказала об ужасной сцене на фабрике. Роскошь ее туалета в этой бедной, убогой квартирке на пятом этаже, ослепительная белизна помятого кружевного шарфа среди вороха грубых шляп и обрезков соломки, разбросанных по комнате, — все это создавало впечатление драмы, одного из тех ужасных жизненных потрясений, когда общественное положение человека, его переживания, богатство и бедность — все вдруг перемешивается.

— Нет, я больше не вернусь домой… Кончено! Наконец-то я свободна, свободна!

— Но кто же все-таки мог выдать тебя мужу? — спросил актер.

— Франц! Я уверена, что это Франц. Никому другому он не поверил бы. Как раз вчера вечером пришло письмо из Египта… Если б вы знали, как унижал он меня перед этой женщиной!.. Заставить меня стать на колени!.. Но я отомщу за себя. К счастью, я успела захватить с собой то, что мне нужно.

И тут прежняя улыбка зазмеилась в уголках ее бледных губ.

Старый актер слушал ее с большим интересом. При всем своем сочувствии к бедняге Рислеру и даже к Сидони, в которой он видел, выражаясь театральным языком, «прекрасную грешницу», он не мог не смотреть на это происшествие с чисто сценической точки зрения и, одержимый своей манией, в конце концов воскликнул:

— Какая изумительная ситуация для пятого акта!..

Она не слышала его. Протянув к огню ноги в ажурных чулках и изящных туфлях, мокрых от снега, она сидела, поглощенная коварным замыслом, уже заранее заставлявшим ее улыбаться.

— Что же ты теперь будешь делать? — спросил немного погодя Делобель.

— Останусь здесь до утра… Отдохну немного… А там будет видно.

— Но я не могу предложить тебе постель, моя бедная девочка… Жена уже легла…

— Не беспокойтесь обо мне, мой добрый Делобель… Я отлично просплю в этом кресле. Я неприхотлива.

Актер вздохнул.

— Да-а… это кресло… кресло нашей бедной Зизи. Сколько бессонных ночей провела она в нем, когда бывала срочная работа!.. Право, те, кто уходит из жизни, счастливее нас.

У него всегда было в запасе одно из таких эгоистических, успокоительных изречений. Но едва он успел высказать его, как с ужасом заметил, что суп почти совсем остыл. От Сидони не ускользнуло его

движение.

— Вы, кажется, ужинали? Продолжайте, пожалуйста.

— Да, правда… Ничего не поделаешь! Эти поздние ужины неотделимы от нашей профессии, от того тяжелого существования, какое ведем мы, артисты… Ведь я еще крепко держусь, моя милая… Я не отказался… И никогда не откажусь…

Та частичка души Дезире, что оставалась еще в убогом жилище, где она прожила двадцать лет, — как должна была она содрогнуться при этих жестоких словах! Он никогда не откажется!..

— Что бы там ни говорили, — продолжал Делобель, — это все-таки самая прекрасная профессия в мире. Ты свободен, ни от кого не зависишь… Все для славы и публики!.. О, я знаю, как поступил бы я на твоем месте! Ты не создана для жизни с этими мещанами, черт возьми! Тебе нужна артистическая жизнь, горячка успехов, неожиданности, волнения…

С этими словами он сел, повязал салфетку под подбородок и налил себе большую тарелку супа. — Не говоря уже о том, что твои успехи красивой женщины отнюдь не помешали бы успехам актрисы.

Знаешь что? Тебе следовало бы взять несколько уроков декламации. С твоим голосом, умом, твоими данными ты сделала бы блестящую карьеру.

И вдруг, как бы желая приобщить ее к радостям артистической жизни, он прибавил:

— Да, как же это я не подумал! Ведь ты, верно, не ужинала?.. Волнения возбуждают аппетит. Сядь вот сюда, возьми тарелку… Я уверен, что ты давно не ела супа с сыром.

Он перерыл весь буфет, отыскивая для нее прибор и салфетку. Она села против него и начала помогать ему, слегка посмеиваясь над неудобной обстановкой. Сейчас она была уже не так бледна. В ее глазах появился даже красивый блеск — от недавно пролитых слез и сменившей их веселости.

Комедиантка!

Навсегда погибло ее благополучие: погибли честь, семья, богатство. Она изгнана из дому, лишена всего, обесчещена. Она только что подверглась величайшим унижениям, на нее обрушился тяжкий удар… И все это не помешало ей ужинать с превосходным аппетитом и весело отвечать на шутки Делобеля по поводу ее призвания и будущих успехов. Она ощущала в душе какую — то легкость, она была счастлива, она была уже на пути в Страну Богемы — свою настоящую родину. Что еще придется ей испытать? Какие взлеты и падения ожидают ее в новой жизни, полной неожиданностей и прихотей судьбы? Она думала обо всем этом,

засыпая в большом кресле Дезире, но она думала также о мести, заветной мести, которая была у нее тут, под рукой, уже готовая, такая верная, такая жестокая!

IV. НОВЫЙ СЛУЖАЩИЙ ФИРМЫ ФРОМОН

Фромон-младший проснулся, когда было уже совсем светло. Всю ночь, пока внизу разыгрывалась драма, а наверху гремел бал, он спал крепким сном, тем дарующим забвение сном, какой бывает у преступников накануне казни и у побежденных полководцев в ночь поражения; сном, от которого лучше бы никогда не пробуждаться и в котором отсутствие каких-либо ощущений служит как бы прообразом смерти.

Проникавший сквозь занавески яркий свет, резкий от плотного покрова снега, устилавшего сад и накрывавшего крыши, вернул его к действительности. Он почувствовал как бы толчок во всем своем существе и, прежде чем пробудилась мысль, ощутил смутную тоску, которую оставляют в нашей душе забытые на время несчастья. Знакомый гул фабрики, глухое прерывистое дыхание машин — все было, как всегда. Стало быть, мир еще существует! И мало-помалу он вспомнил о лежащей на нем ответственности.

«Сегодня!..» — подумал он, инстинктивно отодвигаясь поглубже в тень алькова и как бы желая снова погрузиться в глубокий сон.

Прозвонил фабричный колокол, за ним колокола соседних фабрик, затем раздался церковный звон.

— Уже полдень… Как долго я спал!..

Он почувствовал легкое угрызение совести и вместе с тем огромное облегчение при мысли, что драма банкротства разыгралась без него. Как поступили они там, внизу? Почему не вызвали его?

Он встал, приоткрыл занавески и увидел Рислера и Сигизмунда, беседовавших в саду. А ведь они уже столько времени не разговаривали друг с другом! Что же произошло?

Он уже собрался сойти вниз, но в дверях комнаты столкнулся с Клер.

— Тебе не надо выходить, — сказала она.

— Почему?

— Останься… Я тебе объясню.

— В чем же дело?.. Приходили из банка?

— Да, приходили… Векселя оплачены.

— Оплачены?

— Рислер достал деньги… Он с самого утра бегает с Планюсом… Как видно, у его жены были великолепные драгоценности… Одно только бриллиантовое ожерелье продано за двадцать тысяч франков… Он продал

также и аньерскую дачу со всем имуществом. Но для заключения купчей крепости требуется время, а пока Планюс с сестрой дали деньги взаймы.

Она говорила, не глядя на него. Он тоже набегал ее взгляда и стоял с опущенной головой.

— Рислер — честный человек, — продолжала она, — и когда он узнал, кому обязана своей роскошью его жена…

— Как? — воскликнул Жорж в ужасе. — Он знает?

— Все… — чуть слышно ответила Клер.

Несчастный побледнел.

— Но тогда… и ты?.. — пробормотал он.

— Я все знала еще раньше! Помнишь, вчера, вернувшись из Савиньи, я сказала тебе, что услышала там страшные вещи и что отдала бы десять лет жизни за то, чтобы не было этой поездки?

— Клер!

В порыве охватившей его нежности он сделал шаг, чтобы подойти к жене, но у нее было такое холодное, такое печальное и вместе с тем решительное лицо, ее суровое равнодушие было полно такого отчаяния, что он не посмел обнять ее и тихо прошептал:

— Прости!.. Прости!..

— Тебя, конечно, удивляет мое спокойствие, — сказала стойкая женщина, — но все слезы я выплакала вчера. Если ты думал, что я плакала из-за нашего разорения, ты ошибся. Когда люди молоды и здоровы, как мы с тобой, подобное малодушие непозволительно. Мы достаточно сильны, чтобы бороться с нищетой, и можем встретить ее лицом к лицу… Нет. Я плакала о нашем погибшем счастье, о тебе, о безумии, из-за которого ты потерял свою единственную верную подругу.

Говоря это, она была так прекрасна, как никогда не была Сидони! Озарявший ее свет падал на нее словно с высоты глубокого безоблачного неба, тогда как хорошенькое личико той, другой, казалось, заимствовало свой блеск и задорную, дерзкую прелесть от искусственных огней рампы какого-нибудь жалкого театра.

Если прежде в лице Клер была некоторая холодность и сдержанность, то теперь оно оживилось под влиянием тревог, сомнений и мук страсти. И подобно тому, как слитки золота приобретают ценность только после того, как монетный двор поставит на них свой штамп, так и это прекрасное женское лицо, отмеченное печатью страдания, хранило со вчерашнего дня какое-то новое неизгладимое выражение, от которого оно становилось еще красивее.

Жорж смотрел на нее с восхищением. И теперь, когда она так

отдалилась от него, когда между ними выросли такие препятствия, она казалась ему еще желаннее, еще женственнее и прелестнее. Угрызения совести, отчаяние, стыд охватили его вместе с этой новой любовью, и он опустился перед женой на колени.

— Нет, нет, встань, — сказала Клер. — Если б ты знал, что ты напомнил мне!.. Если бы ты знал, какое лживое, полное ненависти лицо видела я сегодня ночью у своих ног!..

— Я… я не лгу… — взволнованно проговорил Жорж. — Клер, умоляю тебя… во имя нашего ребенка…

В эту минуту постучали в дверь.

— Встань! Ты видишь: жизнь призывает нас… — сказала она тихо, с горькой улыбкой, а затем спросила у стучавшего слуги, что ему надо.

— Господин Рислер просит барина сойти вниз, в контору.

— Хорошо, — ответила она, — передай, что он сейчас придет.

Жорж сделал шаг к двери, но она остановила его:

— Нет, лучше пойду я. Пока еще не надо, чтобы он видел тебя.

— Но.

— Да, я так хочу. Ты не знаешь, как он возмущен, в какой он ярости, этот несчастный, обманутый вами человек… Если б ты видел, как он сегодня ночью вывертывал руки своей жене…

Она говорила, глядя ему прямо в глаза с любопытством, мучительным для нее самой. Но Жорж не смутился, он ответил:

— Моя жизнь принадлежит этому человеку.

— Она принадлежит также и мне, и я не хочу, чтобы ты шел туда. Довольно уж было скандалов в доме моего отца. Подумай только: вся фабрика знает о том, что происходит. За нами подсматривают, следят. Потребовался весь авторитет старших мастеров, чтобы пустить сегодня в ход фабрику и работой отвлечь все эти любопытные взгляды.

— Но может показаться, что я прячусь.

— А если бы даже и так! Вот они, мужчины!.. Они не остановятся перед самым большим преступлением, им ничего не стоит обмануть жену, друга… Но мысль, что их могут обвинить в трусости, им невыносима… Послушай: Сидони ушла, ушла навсегда, и если ты выйдешь отсюда, я буду думать, что ты хочешь последовать за ней.

— Хорошо, я остаюсь… — сказал Жорж. — Я сделаю все, что ты захочешь.

Клер спустилась в контору к Планюсу.

Глядя, как Рислер расхаживает взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, такой же спокойный, как всегда, никто не заподозрил бы, что со

вчерашнего дня в его жизни произошли такие события. А Сигизмунд просто сиял: векселя оплачены в срок, честь фирмы спасена и осталась незапятнанной, — все остальное его не касалось.

При появлении г-жи Фромон Рислер грустно улыбнулся и покачал головой.

— Я так и думал, что вместо него придете вы, но у меня дело не к вам. Мне непременно надо видеть его, говорить с ним. Сегодня нам удалось избежать банкротства: самое трудное позади, но нам нужно еще многое обсудить.

— Рислер, друг мой, прошу вас: подождите еще немного.

— Зачем, мадам Шорш? Нельзя терять ни минуты… А, понимаю! Вы боитесь, что я не сумею сдержать себя… Успокойтесь… И успокойте его… Помните, что я вам сказал: есть честь, которая для меня дороже моей собственной, — »то честь фирмы Фромонов. Она скомпрометирована по моей вине. И я прежде всего должен исправить зло, которому, сам того не ведая, попустительствовал.

— Ваше поведение по отношению к нам безупречно, дорогой Рислер, я это знаю…

— Если б вы его видели, сударыня… Это святой… — вмешался Сигизмунд; не смея больше обращаться к своему другу, он хотел хоть чем-нибудь выразить свое раскаяние.

Клер продолжала:

— А вы не боитесь за себя? Человеческие силы имеют предел… Быть может, в присутствии того, кто причинил вам столько зла…

Рислер взял ее за руки и посмотрел ей в глаза с искренним восхищением.

— Чудное создание, вы думаете только обо мне!.. Вы, стало быть, не знаете, что я не меньше ненавижу его и за измену вам… Но сейчас все это не существует для меня. Перед вами только коммерсант, желающий договориться со своим компаньоном о выгодах фирмы. Пусть он придет сюда без страха, а если вы опасаетесь несдержанности с моей стороны, — останьтесь с нами. Достаточно мне будет посмотреть на дочь моего бывшего хозяина, чтобы вспомнить свое обещание и свой долг.

— Я верю вам, друг мой, — сказала Клер и пошла за мужем.

Первая минута свидания была ужасна. Жорж был бледен, взволнован, жалок. Ему было бы в сто раз легче стоять под дулом пистолета в двадцати шагах от этого человека в ожидании его выстрела, чем явиться перед ним в роли ненаказанного преступника и быть вынужденным, скрывая свои чувства, держать себя в рамках спокойного, делового разговора.

Рислер старался не смотреть на него и, продолжая расхаживать крупными шагами, говорил:

— …Наша фирма переживает тяжелый кризис… Сегодня нам удалось избежать катастрофы, но ведь это не последний платеж… Мое проклятое изобретение долгое время отвлекало меня от дел. К счастью, теперь я свободен и могу ими заняться. Но надо, чтобы и вы тоже занялись ими. Рабочие и служащие следовали отчасти примеру хозяев. Всюду крайняя небрежность и распущенность. Сегодня, впервые за весь год, приступили к работе в установленный час. Я рассчитываю, что вы все это наладите, а я снова примусь за рисунки. Наши модели устарели. Для новых машин нужны новые. Я возлагаю большие надежды на наши машины. Опыты удались сверх моих ожиданий. У нас теперь есть возможность поднять наше предприятие на должную высоту. Я не говорил об этом раньше, потому что хотел сделать вам сюрприз, но теперь… Какие уж там сюрпризы между нами!.. Не так ли, Жорж?

В его голосе послышалась такая горькая ирония, что Клер задрожала, опасаясь взрыва, но он спокойно продолжал:

— Да, мне кажется, я могу с уверенностью сказать, что через полгода *Машина Рислера* начнет давать великолепные результаты. Но эти полгода нам будет трудновато. Придется ограничить себя в расходах, экономить на чем только возможно. У нас пять рисовальщиков — теперь останется только два. Я берусь, урезав часы сна, возместить отсутствие остальных. Кроме того, начиная с этого месяца я отказываюсь от своей доли компаньона. Я буду получать жалованье старшего мастера, как прежде, и ничего больше.

Фромон-младший хотел что-то сказать, но Клер жестом остановила его, и Рислер-старший продолжал:

— Я больше не ваш компаньон, Жорж. Я снова служащий, каковым мне всегда и следовало оставаться… С этого дня наш товарищеский договор аннулируется. Я так хочу, понимаете? Я так хочу… Такое положение сохранится до тех пор» пока не наладятся дела фирмы и я смогу… Впрочем, что сделаю я тогда, касается меня одного. Вот что я хотел сказать вам, Жорж. Вы должны заняться фабрикой, надо» чтобы вас там видели, чтобы чувствовали присутствие хозяина» и я думаю» что среди всех наших несчастий найдутся и такие» которые можно еще поправить.

В наступившем молчании все услышали стук колес в саду» и два больших фургона для перевозки мебели остановились у крыльца.

— Прошу извинить меня»- сказал Рислер»- я должен вас оставить на минуту. Приехали подводы из аукционного зала: они заберут все» что у

меня наверху.

— Как! Вы продаете и обстановку?.. — спросила г-жа Фромон.

— Да… все до последней вещи… Я возвращаю ее фирме» она принадлежит ей.

— Это невозможно»- возразил Жорж. — Я не могу это допустить.

Рислер резким движением обернулся:

— Что вы сказали? Чего вы не допустите?

Клер остановила его умоляющим жестом.

— Да, да… вы правы… — прошептал Рислер и быстро вышел, чтобы не поддаться охватившему его искушению дать наконец выход всему, что накопилось у него на сердце.

Второй этаж опустел. Слуги, получившие с утра расчет, ушли, оставив квартиру в том беспорядке, какой обычно бывает на другой день после бала, и она приобрела тот особый вид, который принимают места, где только что разыгралась драма и где все как будто застывает в нерешимости перед совершившимися событиями и теми, что еще должны произойти.

Открытые настежь двери, сваленные в углу ковры, подносы со стаканами, накрытый для ужина и нетронутый стол, пыль от танцев, осевшая на всей мебели, аромат бала, в котором смешивались запахи пунша, увядших цветов и рисовой пудры, — от всего этого больно сжалось сердце Рислера, едва он вошел.

В гостиной царил полный беспорядок: раскрытый рояль, развернутые на пюпитре ноты — вакханалия из «Орфея в аду»,[18]- опрокинутые, словно испугавшиеся чего-то стулья, яркие драпировки, еще резче подчеркивающие разгром, — все это напоминало салон на потерпевшем крушение пароходе в одну из тех тревожных ночей, когда вдруг в разгар пира узнают, что пробило борта корабля и что со всех сторон открылась течь.

Начали выносить мебель.

Рислер смотрел на носильщиков рассеянным взглядом, как будто это был чужой дом. Роскошь, которой он когда-то так гордился и так восторгался, внушала ему теперь непреодолимое отвращение. Но, войдя в спальню жены, он все же почувствовал волнение.

Это была большая комната, обитая голубым атласом с белым кружевом. Настоящее гнездышко кокотки. Всюду валялись обрывки смятых тюлевых оборок, банты, искусственные цветы. Свечи перед зеркалом догорели, розетки лопнули, а кровать, накрытая гипюровым покрывалом с голубым, отдернутым и подобранным пологом стояла нетронутой среди этого разгрома и казалась кроватью покойницы, парадным ложем, на

котором никто уже никогда не будет спать.

Первое, что почувствовал Рислер, войдя в эту комнату, был страшный гнев, желание наброситься на все эти вещи, все изорвать, переломать, уничтожить. Ведь ничто так не напоминает нам женщину, как ее комната… Даже когда ее уже нет, образ ее все еще улыбается в зеркалах, когда-то отражавших ее. Какая-то частица ее самой, ее любимых духов остается на всем, чего она касалась. Подушки на диване сохраняют очертания ее тела, а по стертому рисунку на ковре можно проследить, как она ходила от зеркала к туалету и обратно. Но что больше всего напоминало здесь Сидони — это ее этажерка с безделушками, с китайскими вещицами, миниатюрными веерами, кукольной посудой, золочеными башмачками и маленькими пастушками и пастушками, которые, стоя друг против друга, обменивались фарфоровыми взглядами, блестящими и холодными. Эта этажерка как бы олицетворяла сущность Сидони, и ее всегда банальные мысли, мелкие, тщеславные и пустые, были под стать этим вздорным безделушкам. Право, если бы в эту ночь Рислер в припадке ярости разбил ее хрупкую головку, из нее вместо мозга посыпался бы целый ворох таких финтифлюшек.

Бедняга с грустью думал обо всем этом под стук молотков и непрерывное шныряние носильщиков, как вдруг услышал за своей спиной осторожные и в то же время уверенные шаги. Вслед за тем показался Шеб, маленький, невзрачный Шеб, красный, запыхавшийся и разгоряченный. Он заговорил с зятем своим обычным высокомерным тоном:

— Что такое? Что я слышал? Вы переезжаете?

— Я не переезжаю, господин Шеб… Я продаю.

Маленький человечек подпрыгнул, как ошпаренный.

— Продаете? Что же вы продаете?

— Все, — сказал Рислер глухо, даже не глядя на него.

— Послушайте, дорогой зять, будьте благоразумны. Боже мой, я не говорю, что поведение Сидони… Впрочем, я ничего не знаю и никогда ничего не хотел знать… Я только взываю к вашему достоинству. Нельзя выносить сор из избы, черт возьми! Нельзя выставлять себя на посмешище так, как это делаете сегодня вы с самого утра! Взгляните на людей, столпившихся у окон мастерских и под воротами!.. Да ведь вы стали притчей во языцех, дорогой мой!

— Тем лучше. Бесчестие было публичным — пусть искупление будет тоже публичным.

Это напускное спокойствие и полное равнодушие ко всем его упрекам вывели Шеба из себя. Он сразу изменил тактику и заговорил с зятем серьезным, решительным тоном, каким говорят с детьми и сумасшедшими:

— Ну нет! Вы не имеете права унести отсюда ни одной вещи. Я категорически протестую против этого, как человек и как отец. Неужели вы думаете, что я позволю, чтобы разорили мою дочь, допущу, чтобы моя дочь спала на соломе?.. Довольно этого сумасшествия! Больше ни одна вещь не выйдет из квартиры.

Закрыв дверь, Шеб встал перед ней в воинственной позе. Ведь дело шло также и о его интересах, черт возьми! Ведь если бы дочь, по его выражению, оказалась на соломе, то и он, пожалуй, перестанет спать на пуховиках. Он был великолепен в позе возмущенного отца, но ему пришлось недолго хранить ее. Две руки как в тисках сдавили его запястья, и он очутился посреди комнаты, оставив вход свободным для носильщиков.

— Шеб, дружище! Выслушайте меня хорошенько… — наклонившись к нему, начал Рислер. — Всему есть предел… С самого утра я делаю невероятные усилия, чтобы сдерживать себя, но сейчас немного нужно, чтобы мой гнев вылился наружу, и горе тому, на кого он обрушится. Я способен убить человека… Уходите же, и как можно скорее.

Это было сказано таким тоном, и зять при этом так красноречиво встряхнул его, что Шеб сразу же угомонился. Он даже пробормотал какие-то извинения… Конечно, Рислер вправе поступать так. Все честные люди будут на его стороне… С этими словами он попятился к двери. Уже на пороге он робко спросил, сохранится ли за г-жой Шеб ее маленькая пенсия.

— Да, — ответил Рислер, — но только постарайтесь не выходить из бюджета. Теперь я уже не занимаю здесь прежнего положения. Я больше не компаньон фирмы.

Шеб вытаращил глаза от удивления, и лицо его приняло то идиотское выражение, которое заставляло многих думать, что происшедший с ним случай — такой же, как тот, что произошел с герцогом Орлеанским, — не является плодом его измышлений, но он не посмел сделать ни малейшего замечания. Положительно, его зятя подменили. Неужели это Рислер — этот тигр, который готов к прыжку из-за пустяка, который способен растерзать человека?

Он поспешил улизнуть, но, едва спустившись с лестницы, вновь обрел свой обычный апломб и прошел по двору с победоносным видом.

Когда вся мебель была вынесена и комнаты опустели, Рислер обошел их в последний раз и, взяв ключ, спустился вниз, чтобы передать его г-же Фромон.

— Вы могли бы сдать квартиру внаем, — сказал он, — это был бы лишний доход для фабрики.

— А как же вы, мой друг?

— Я?.. Мне не много нужно. Железная кровать наверху, в мансарде, — вот все, что требуется для служащего. Повторяю: отныне я только служащий… Добросовестный и надежный служащий, на которого вам не придется жаловаться, ручаюсь.

Жорж, проверявший счета с Планюсом, был так потрясен словами Рислера, что выбежал из комнаты. Рыдания душили его. Клер тоже была очень взволнована и, подойдя к новому служащему фирмы Фромон, сказала:

— Благодарю вас от имени моего отца, дорогой Рислер.

— О нем-то я и думаю все время, сударыня, — ответил он просто.

В эту минуту вошел Ахилл с корреспонденцией в руках.

Рислер взял пачку писем; спокойно вскрывая одно за другим, он передавал их Сигизмунду.

— Вот заказ из Лиона… Почему не ответили в Сент — Этьен?

Он всеми силами старался углубиться в дела фирмы, он сосредоточивал на них все свое внимание, чтобы только отвлечься, забыть о своем горе.

Вдруг среди больших фирменных конвертов, от бумаги и формы которых веяло конторой и спешной отправкой, он обнаружил маленький, тщательно запечатанный конвертик, предательски затесавшийся среди других, так что сначала он даже не заметил его. Он сразу узнал тонкий, удлиненный и твердый почерк: «Господину Рислеру. Лично». Это был почерк Сидони. При виде его Рислер испытал то же ощущение, как только что наверху, в ее комнате.

Вся любовь, весь гнев обманутого мужа поднялись в его душе с той силой возмущения, что порождает убийц. О чем писала она ему? Какую новую ложь придумала? Он хотел было распечатать конверт, но вдруг остановился. Он понял, что если прочтет письмо, то мужество покинет его. Наклонившись к кассиру, он сказал чуть слышно:

— Сигизмунд, старина! Хочешь оказать мне услугу?

— Еще бы! — горячо воскликнул тот, вне себя от счастья, что его друг говорит с ним сердечно, как в былые дни.

— Возьми это письмо. Я не хочу читать его сейчас. Я уверен, что оно помешает мне думать и жить. Спрячь его, а также вот это…

Он вынул из кармана маленький, тщательно перевязанный пакет и протянул его Сигизмунду в окошко кассы.

— Это все, что осталось у меня от прошлого, все, что осталось у меня от этой женщины… Я твердо решил не видеть ее, не видеть всего того, что могло бы мне напомнить о ней, до тех пор, пока здесь не будут выполнены

мои обязательства, и выполнены как нельзя лучше. Мне нужно сохранить твердость духа, понимаешь?.. Ты будешь выплачивать пенсию Шебам… Если она сама обратится с какой-нибудь просьбой, сделай все, что нужно. Но никогда ни о чем не говори мне… И береги эти вещицы до тех пор, пока я не потребую их обратно.

Сигизмунд запер письмо и пакет в потайной ящик своего стола вместе с ценными бумагами. Рислер снова принялся просматривать корреспонденцию, но перед его глазами неотступно стояли тонкие буквы английского почерка, выведенные маленькой ручкой, которую он так часто и так горячо прижимал к своему сердцу.

V. КАФЕШАНТАН

Какой на редкость добросовестный был этот новый служащий фирмы Фромон!

Каждый день его лампа зажигалась первой и гасла последней в окнах фабрики. Ему отвели наверху» под крышей, маленькую комнатку точно такую же, как та, которую он занимал когда-то с Францем, — настоящую монашескую келью, вся обстановка которой состояла из железной кровати и простого деревянного стола, поставленного под портретом брата. И он вел такую же трудовую, размеренную, замкнутую жизнь, как и в те времена.

Он работал без устали. По его желанию, еду ему доставляли на дом из его прежней маленькой молочной. Но — увы! — безвозвратно ушедшие молодость и надежды лишали прелести все эти воспоминания. К счастью, у него еще оставались Франц и *мадам Шорш*, единственные существа, о которых он мог думать без горечи.

Мадам Шорш была всегда близко, всегда готова позаботиться о нем, утешить его; Франц часто писал ему, никогда, правда, не упоминая о Сидони. Рислер решил, что кто-нибудь сообщил ему о случившемся, и в своих письмах тоже избегал малейшего намека. «Когда же наконец я смогу вернуть его!..»-думал он. Поправить дела фабрики и выписать к себе брата было его мечтой, его единственным стремлением.

А пока дни шли, похожие один на другой: деятельная суета коммерческой жизни чередовалась с мучительным одиночеством, когда он оставался наедине со своим горем. Каждое утро он спускался со своей вышки и обходил мастерские. Его строгое замкнутое лицо и то глубокое уважение, какое он внушал к себе, помогли быстро восстановить временно нарушенный порядок. Вначале много болтали и по-разному истолковывали исчезновение Сидони. Одни говорили, что она убежала с любовником, другие, — что Рислер прогнал ее. Больше всего сбивали всех с толку взаимоотношения компаньонов, внешне такие же простые и естественные, как и прежде. Впрочем, когда они разговаривали в кабинете с глазу на глаз, Рислер иной раз неожиданно вздрагивал, словно перед ним проходило видение былой измены. Ему казалось, что эти глаза, которые он видел перед собой, этот рот, все это лицо лгало ему каждым своим выражением.

И тогда его охватывало желание броситься на этого человека, схватить его за горло, задушить, но мысль о *мадам Шорш* всякий раз удерживала

его. Неужели у него окажется меньше мужества и самообладания, чем у этой молодой женщины?.. Ни Клер, ни Фромон — никто не подозревал того, что в нем происходило. Разве только в его поведении можно было заметить несвойственные ему суровость и непреклонность. Теперь Рислер — старший предписывал свою волю рабочим, и даже те из них, кто не проникся уважением к его поседевшим за одну ночь волосам, к его постаревшему, осунувшемуся лицу, трепетали под странным взглядом его синевато — серых глаз, блестевших, как сталь кинжала. Обычно добрый и мягкий с рабочими, он стал нетерпим к малейшему нарушению порядка. Можно было подумать, что он мстит за слепую и преступную снисходительность, допущенную им в прошлом, снисходительность, в которой он теперь винил себя.

Да, на редкость добросовестный был этот новый служащий фирмы Фромон!

Благодаря ему фабричный колокол, несмотря на свой дребезжащий, старческий, надтреснутый голос, быстро вернул свой прежний авторитет. А тот, кто руководил всем, не давал себе ни малейшей передышки. Скромный в своих потребностях, как ученик ремесленного училища, он отдавал три четверти жалованья Планюсу для передачи Шебам, но он никогда не расспрашивал о них. В последний день месяца маленький человечек аккуратно являлся за своей небольшой получкой и держал себя с Сигизмундом гордо и величественно, как и подобает рантье. Г-жа шеб неоднократно пыталась проникнуть к своему зятю, которого она любила и жалела, но одно только появление ее вышитой шали в воротах фабрики обращало в бегство мужа Сидони.

Дело в том, что твердость его духа была скорее показной. Воспоминание о жене не покидало его. Что сталось с ней? Что она делает? Он даже слегка сердился на Планюса за то, что тот никогда не говорил с ним о ней. Особенно мучило его письмо — письмо, которое он имел мужество не распечатать. Он постоянно думал о нем. Ах, если б он осмелел, он давно бы попросил его у Сигизмунда!

Но однажды искушение взяло над ним верх. Он был один в конторе. Старый кассир ушел завтракать, забыв, против обыкновения, запереть свой ящик. Рислер не устоял. Он открыл его, стал искать, перерыл все бумаги. Письма не оказалось. По-видимому, Сигизмунд переложил его в более надежное место, быть может, в предвидении такого случая. В глубине души Рислер не очень досадовал на эту неудачу: он чувствовал, что, если б нашел письмо, наступил бы конец его деятельной покорности и усердию, так дорого доставшимся ему.

В будни было еще более или менее сносно. Множество дел и забот, связанных с фабрикой, не оставляло ему ни одной свободной минуты, и к вечеру он так уставал, что едва добирался до постели. Но воскресные дни были бесконечно длинны и мучительны… Безмолвие пустынных яворов и мастерских открывало широкий простор его мыслям. Он пытался работать, но ему недоставало возле себя подбадривающей работы других. Он один был занят на большой отдыхающей фабрике, приостанавливающей на это время даже свое дыхание. Запертые на засов двери, закрытые ставни, громкий голос Ахилла, игравшего на безлюдном дворе со своей собакой, — все говорило ему об одиночестве. Такое же чувство навевал на него и весь квартал. Звон колоколов, призывавший к вечерне и уныло падавший на опустевшие улицы, где лишь изредка показывались мирные прохожие, отголоски городского шума — грохот колес, запоздалая шарманка, трещотка торговки вафлями-одни только и нарушали порой тишину, как будто для того, чтобы еще резче оттенить ее.

Рислер водил карандашом по бумаге, подыскивая удачные сочетания цветов и велени, а мысль, не сосредоточиваясь на втом занятии, ускользала, уносилась то к прежнему счастью, то к незабываемой катастрофе, переживала настоящую пытку, а затем, возвращаясь, спрашивала у бедного мечтателя, все еще сидевшего за столом: «Ну, что ты сделал в мое отсутствие?» Увы! Он ничего не сделал.

Долгие, печальные, мучительные воскресенья! Тем более мучительные, что в душе его жило укоренившееся в народе представление о праздничном дне как о славном суточном отдыхе, в котором черпаешь силу и бодрость. Если бы, выйдя из дому, он увидел рабочего, гуляющего с женой и ребенком, он, наверно, разрыдался бы. Но и монашеская жизнь приносила ему страдания: то отчаяние и тот гнев, что охватывают отшельников, когда бог, которому они посвятили себя, не воздает им за их жертвы. Богом Рислера был труд, но он больше не находил в нем ни успокоения, ни бодрости духа и, потеряв в него веру, проклинал его.

Нередко в такие часы внутренней борьбы дверь рисовального зала тихонько отворялась и входила Клер Фромон. Она жалела этого несчастного человека, такого одинокого в длинные воскресные дни, и приходила к нему со своей девочкой, зная по опыту, как благотворно действует ласка ребенка. Малютка уже ходила; вырвавшись из рук матери, она бежала к своему другу. Рислер слышал ее мелкие торопливые шажки, чувствовал за спиной ее легкое дыхание, и на него сразу веяло чем-то освежающим, успокоительным. Заливаясь наивным, беспричинным смехом, девочка доверчиво обвивала его шею своими пухлыми ручонками,

целовала его хорошенькими, еще никогда не лгавшими губками… Клер Фромон, стоя на пороге комнаты, улыбалась, глядя на них.

— Рислер, друг мой! — говорила она. — Вам надо погулять… Вы слишком много работаете. Так можно и заболеть…

— Нет, нет… напротив… Меня только и спасает работа… Она мешает думать…

После длительного молчания она снова начинала:

— Послушайте, милый Рислер, надо стараться забыть.

Рислер качал головой.

— Забыть… Разве это возможно?.. Нет, это свыше сил. Можно простить, но не забыть.

Почти всегда кончалось тем, что девочка увлекала его в сад. Волей-неволей приходилось играть с нею в мяч или в песочек, но неловкость и вялость партнера быстро расхолаживали малютку. Она бросала игру и, взяв за руку своего друга, чинно расхаживала с ним между рядами самшитовых деревьев. Уже через минуту Рислер забывал о ее присутствии, но незаметно для него самого теплота маленькой ручки, лежавшей в его руке, оказывала магнетическое действие и успокаивала его истерзанную душу.

Можно простить, но не забыть!..

Бедная Клер знала это по себе: несмотря на все свое мужество и высокое сознание долга, она тоже ничего не забыла. Для нее, как и для Рислера, обстановка, в которой она жила, была постоянным напоминанием о пережитом. Окружающие ее предметы безжалостно бередили готовую затянуться рану. Лестница, сад, двор — все эти свидетели и немые сообщники измены таили в себе в иные дни что-то неумолимое. А заботы и предосторожности, которые принимал муж, чтобы избавить ее от мучительных воспоминаний, его подчеркнутое желание проводить вечера дома, рассказывать ей о каждом своем шаге — все это еще больше напоминало ей о его проступке. Иногда ей хотелось остановить его, сказать ему: «Не старайся так…» Ее вера была разбита, и в ее горькой улыбке и холодной безропотной кротости проглядывало невыносимое страдание — так страдает священник, который сомневается и все-таки хочет сохранить верность своему обету.

Жорж был очень несчастен. Теперь он любил жену. Величие ее души покорило его. В основе этой любви лежало восхищение: ведь отпечаток горя — почему не сказать этого? — в какой-то степени заменял Клер несвойственное ей кокетство, которого в глазах мужа ей всегда недоставало. Он принадлежал к тому особому типу мужчин, которые любят покорять женщину. Капризная и холодная Сидони как нельзя лучше

отвечала этой странности его натуры. После самого нежного прощания он находил ее на другой день равнодушной, забывчивой, и эта постоянная необходимость вновь и вновь завоевывать ее заменяла ему подлинную страсть. Безмятежная любовь приедалась ему, как приедается моряку плавание без бурь. Его отношения с женой были близки к крушению; опасность эта не совсем миновала еще и сейчас. Он видел, что Клер отдалилась от него, целиком посвятила себя дочери, являвшейся теперь единственным связующим звеном между ними. Такое отчуждение жены делало ее в его главах еще прекраснее, еще желаннее, и, чтобы вновь привлечь ее к себе, он пускал в ход все свое искусство обольстителя. Он понимал, что это будет нелегко, знал, что имеет дело не с пошлой натурой. Но он не отчаивался. Порой в глубине ее кроткого, с виду бесстрастного взгляда, наблюдавшего за его усилиями, мелькал едва уловимый огонек, говоривший ему, чтобы он не терял надежды.

О Сидони он больше не думал. Нет ничего удивительного в том, что с такой быстротой порвались связывавшие их узы. Поверхностные натуры, они не обладали ничем таким, что могло бы глубоко привязать их друг к другу. Жорж был неспособен на длительную привязанность, ему нужна была постоянная смена впечатлений. Притом Сидони не могла внушить прочного и сильного чувства. Это была сотканная из тщеславия и мелкого самолюбия любовь кокотки и фата, та любовь, которая не знает ни преданности, ни постоянства и порождает лишь дуэли, самоубийства — трагические приключения, из которых люди чаще всего выходят не только невредимыми, но еще и излечившимися от пагубной страсти. Может быть, если бы он увидел ее, к нему снова вернулся бы его недуг, но вихрь бегства унес Сидони слишком поспешно и слишком далеко, возврат был уже невозможен. Так или иначе, для него было большим облегчением, что он мог жить, не прибегая ко лжи, и его теперешнее существование, полное труда, лишений и вместе с тем упорного стремления добиться успеха, увлекало его своей новизной. И, конечно, это было ко благу, ибо немало мужества и доброй воли требовалось от обоих компаньонов, чтобы поднять фирму на прежнюю высоту.

Бедная фирма Фромонов со всех сторон дала течь. И много еще тревожных ночей провел старый Планюс, мучимый кошмаром срочных платежей и страшным призраком синего человечка. Но благодаря экономии все время удавалось платить в срок.

Скоро начали работать четыре печатных машины Рислера, наконец-то установленные на фабрике. Торговцы обоями заволновались. Лион, Кан, Риксгейм — большие промышленные центры — были сильно обеспокоены

этой удивительной «вращающейся, двенадцатиугольной» машиной. Затем в один прекрасный день явились Прошассоны и предложили триста тысяч франков только за право сообща пользоваться патентом.

— Как поступить? — спросил Фромон-младший у Рислера-старшего.

Тот равнодушно пожал плечами.

— Решайте сами… Это меня не касается… Я только служащий.

Слова эти, сказанные холодно и безучастно, сразу убили легкомысленную радость Фромона и напомнили ему о серьезности положения, о чем он всегда склонен был забывать.

Но, оставшись наедине со своей дорогой *мадам Шорш,* Рислер посоветовал ей не принимать предложения Прошассонов.

— Подождите… Не спешите. Через некоторое время вы продадите дороже.

В этом деле, вся заслуга которого принадлежала ему одному, он думал только о выгоде Фромонов. Видно было, что он заранее отделяет себя от них, от их благополучия.

Между тем число заказов все увеличивалось. Качество бумаги и сниженные вследствие легкости производства цены исключали всякую конкуренцию. Было ясно, что Фромонов ждет огромное состояние. Фабрика приобрела свой прежний цветущий вид и снова напоминала жужжащий улей. Во всех корпусах, где трудились теперь сотни рабочих, кипела жизнь. Старый Планюс не подымал носа от своей конторки, и из маленького садика видно было, как он сидит, склонившись над толстыми приходо-расходными книгами и заносит в них великолепно выведенными цифрами доходы от новой машины.

Рислер тоже работал, не зная ни отдыха, ни развлечений. Вернувшееся благополучие ни в чем не изменило его привычек затворника, и несмолкаемый гул своих машин он по-прежнему слушал из окна верхнего этажа. Он оставался все таким же мрачным и молчаливым. Но однажды на фабрике узнали, что *машина,* модель которой была отправлена на большую выставку в Манчестер, получила золотую медаль, а это являлось окончательным закреплением успеха изобретателя. В обеденный перерыв г-жа Фромон вызвала Рислера в сад и сама сообщила ему приятную новость.

На этот раз его постаревшее, опечаленное лицо озарилось довольной улыбкой. Тщеславие изобретателя, гордость от сознания успеха, а главное, мысль, что он может великолепно исправить зло, причиненное фирме его женой, подарили ему минуту настоящего счастья. Он сжал руки Клер и прошептал, как в доброе старое время:

— Я счастлив… Я счастлив…

Но какая разница в интонации! Ни подъема, ни радости… Чувствовалось только нравственное удовлетворение человека, выполнившего свой долг, — и ничего больше.

Колокол прозвонил конец обеденного перерыва. Рислер спокойно поднялся к себе и, как всегда, принялся за работу.

Но ему не сиделось, и скоро он снова сошел вннз. Несмотря ни на что, новость взволновала его больше, чем он хотел это показать. Он побродил по саду, повертелся возле конторы, грустно улыбаясь в окно Сигизмунду Планюсу.

«Что с ним? — спрашивал себя старик. — Что ему от меня надо?»

Наконец вечером, перед закрытием конторы, Рислер решился войти и поговорить с ним.

— Планюс, дружище! Я хотел бы…

Он немного помедлил.

— Я хотел бы, чтобы ты дал мне… письмо… Помнишь? Письмецо и пакет?

Сигизмунд посмотрел на него с удивлением. По своей наивности он воображал, что Рислер больше не думает о Сидони, что он совсем забыл ее.

— Как!.. Ты хочешь?..

— Ну да!.. Надеюсь, я заслужил это. Могу теперь подумать немного и о себе. Довольно уж я думал о других.

— Ты прав, — сказал Планюс. — Так вот что мы сделаем… Письмо и пакет находятся у меня в Монруже. Если хочешь, мы пообедаем вместе в Пале-Рояле, помнишь, как когда-то? Я угощаю… Вспрыснем твою медаль старым винцом, чем-нибудь изысканным!.. А потом поедем ко мне. Ты возьмешь свои вещицы. И, если будет поздно возвращаться домой, мадемуазель Планюс, сестрина, приготовит тебе постель, и ты переночуешь у нас… Там очень хорошо… Ведь это деревня… Завтра в семь утра с первым омнибусом мы вернемся на фабрику. Поедем, земляк, доставь мне такое удовольствие! Не то я буду думать, что ты все еще сердишься на твоего старого Сигиамунда.

Рислер согласился. Он вовсе не думал о том, чтобы отмечать получение медали; ему хотелось только поскорее вскрыть письмо; он получил наконец право прочесть его.

Надо было приодеться. Дело нешуточное после того, как он полгода не расставался с рабочей курткой. А каким это было событием на фабрике! Сейчас же предупредили г-жу Фромон:

— Сударыня, сударыня!.. Господин Рислер собирается куда-то.

Клер посмотрела на него на окна, и вид этого крупного, согнутого от горя человека, который шел, опираясь на руку Сигиамунда, привел ее в глубокое и странное волнение. Она всегда потом вспоминала об этом.

На улице люди приветливо здоровались с ним. И уже одно это согревало ему душу: он так нуждался в доброжелательном отношении к себе!

Стук экипажей слегка оглушил его.

— У меня кружится голова… — сказал он Планюсу.

— Обопрись на меня покрепче, старина… Не бойся.

Планюс выпрямился и повел своего друга с той наивной, фанатической гордостью, с какой крестьянин несет изображение святого.

Наконец они пришли в Пале-Рояль.

В саду было полно народу. Все пришли послушать музыку. Поднимая пыль и шумно передвигая стулья, каждый искал места, где бы ему сесть. Друзья поспешно вошли в ресторан, чтобы укрыться от всего этого гама. Они устроились в одном из больших залов первого этажа, откуда были видны и зелень деревьев, и гуляющие, и струя фонтана между двумя унылыми клумбами. Для Сигиамунда этот ресторанный зал с позолотой на зеркалах, на люстре и даже на тисненых обоях был идеалом роскоши. Белая салфетка, булочки, меню — все наполняло его радостью.

— Хорошо здесь, а?.. — говорил он Рислеру.

При каждом новом блюде втого пиршества стоимостью в два с половиной франка с человека он громко выражал свой восторг и насильно наполнял тарелку друга.

— Попробуй!.. Очень вкусно.

Рислер, несмотря на все свое желание оказать честь пиру, казался озабоченным и все время поглядывал в окно.

— Ты помнишь, Сигизмунд?.. — спросил он вдруг.

Старый кассир, ушедший в воспоминания о прошлом, о первых шагах Рислера на фабрике, ответил:

— Еще бы не помнить!.. Первый раз мы обедали в Пале-Рояле в феврале сорок шестого года, в тот год, когда На фабрике установили плоские формы.

Рислер покачал головой.

— Нет… Я говорю о том, что было три года назад… В тот памятный вечер мы обедали вон там, напротив…

И он указал на большие окна ресторана Вефура, освещенные заходящим солнцем, точно люстрами свадебного пира.

— А ведь и правда… — пробормотал Сигизмунд, немного

смутившись, и он невольно подумал о том, как глупо было привести сюда своего друга, пробудить в нем такие мучительные воспоминания!

Рислер, не желая омрачать обеда, резким движением поднял бокал.

— За твое здоровье, старый товарищ!

Он старался переменить разговор. Но минуту спустя сам перевел его на ту же тему и тихо, как будто стыдясь, спросил Сигизмунда:

— Ты встречал ее?

— Твою жену?.. Нет, никогда.

— Она больше не писала?

— Нет… Ни разу.

— Но должны же быть у тебя какие-нибудь сведения о ней. Что она делала все это время? Она живет с родителями?

— Нет.

Рислер побледнел.

Он надеялся, что Сидони вернется к матери и будет работать, как и он, чтобы забыть и искупить свою вину. И в зависимости от того, что узнает он в тот день, когда получит право говорить о ней, он будет строить свою дальнейшую жизнь. В отдаленном, неясном, как сон, будущем он видел себя уединившимся вместе с Шебами в каком-нибудь затерянном уголке земного шара, где ничто не напоминало бы ему о минувшем позоре. Это, конечно, не был какой-то определенный план, но это жило в нем, как всегда живут в человеческом сердце потребность и надежда вернуть утраченное счастье.

— Она в Париже? — спросил он, подумав немного.

— Нет… Вот уже три месяца, как она уехала, и никто не знает, куда.

Сигизмунд не добавил, что она уехала со своим Казабони, чье имя она теперь носила, что они вместе разъезжают по провинциальным городам, что мать ее в отчаянии от разлуки с нею и что известия о ней она получает только через Делобеля. Сигизмунд не счел нужным докладывать обо всем этом и, сказав: «Она уехала», — замолчал.

А Рислер не осмелился расспрашивать.

Так они сидели друг против друга, испытывая неловкость от долгого молчания. Вдруг под деревьями сада загремел военный оркестр. Играли увертюру из итальянской оперы, одну из тех увертюр, которые как бы созданы для публичных гуляний под открытым небом. Звуки ее, разливаясь в воздухе, смешивались с щебетанием ласточек и журчанием жемчужных струй фонтана. Оглушительно гремевшие трубы еще резче подчеркивали мягкую свежесть угасавшего летнего дня, такого томительно длинного ь Париже. Казалось, только и были слышны эти медные инструменты.

Отдаленный стук колес, крики играющих детей, шаги гуляющих — все тонуло в волнах искрящихся звуков, освежающих парижан не меньше, чем освежает ежедневная поливка их места для гулянья. И поблекшим цветам, и серым от пыли деревьям, и согбенным от печали и нужды людям, с бледными лицами, с тусклыми от жары глазами, всем обездоленным большого города, устало опустившимся на садовые скамьи, — всему вокруг эта музыка давала как бы облегчение и поддержку. Казалось, полнозвучные аккорды, рассекая воздух, обновляли, очищали его.

Рислер сразу почувствовал успокоение.

— Как хорошо действует музыка!.. — сказал он с загоревшимися глазами и, понизив голос, добавил: — У меня очень тяжело на сердце, старина… Если б ты знал!..

Пока им подавали кофе, они сидели молча, облокотясь на подоконник.

Наконец музыка умолкла, и сад опустел. Свет, задержавшийся в углублениях зданий, поднялся к крышам, блеснул последними лучами на окнах верхних этажей. Ласточки, жавшиеся друг к другу на кровельном желобе, приветствовали последним щебетаньем угасавший день.

— Ну… Куда же мы пойдем? — спросил Планюс, выходя из ресторана.

— Куда хочешь…

Неподалеку, на улице Монпансье, в первом этаже одного из домов, помещался кафешантан; народ туда так и валил.

— Не зайти ли нам? — предложил Планюс, желавший во что бы то ни стало рассеять печаль своего друга. — Пиво тут превосходное.

Рислер не возражал; вот уже полгода, как он не пил пива.

Этот концертный зал был переделан из бывшего здесь когда-то ресторана. Три большие комнаты, в которых сняли перегородки, следовали одна за другой; разделявшие их золоченые колонны поддерживали потолок. Они были отделаны в мавританском стиле — маленькими полумесяцами и орнаментами в виде тюрбанов ярко — красного и бледно-голубого цвета.

Несмотря на ранний час, в кафешантане было уже полно, и, едва успев войти, вы уже задыхались при одном только виде всех этих людей, сидевших за столиками. В глубине, на полускрытой рядом колонн эстраде, под ослепительным жарким светом газа толпились женщины в белых платьях.

Наши друзья с большим трудом нашли местечко за колонной, откуда видна была только половина эстрады, где в эту минуту подвизался великолепный господин в черном фраке и желтых перчатках, завитой, вылощенный и напомаженный. Он пел вибрирующим голосом:

Златогривые красавцы львы!
Свежей кровью не упьетесь вы.
Берегитесь: я стою на страже!

Публика — мелкие торговцы квартала со своими женами и дочерьми — была, по-видимому, в восторге, особенно женщины. Великолепный пастух в вечернем костюме, стерегущий в пустыне свое стадо и так бесстрашно обращавшийся ко львам, являлся недосягаемым идеалом для всех этих лавочников. Несмотря на чинные манеры, скромные туалеты и стереотипные улыбки, усвоенные за прилавком, дамы жаждали попасться на удочку любви и томно закатывали глаза в сторону певца. Нельзя было без улыбки наблюдать за тем, как их взгляд, обращенный к эстраде, внезапно менялся, становился презрительным и злым, стоило ему упасть на мужа, бедного мужа, который спокойно потягивал пиво, сидя напротив жены. «Уж ты-то, конечно, не способен стоять на страже перед самым носом льва, да еще в черном фраке и желтых перчатках…»

А взгляд мужа, казалось, отвечал: «Да, он молодчина, ничего не скажешь!..»

Довольно равнодушные к подобного рода героизму, Рислер и Сигизмунд с удовольствием пили пиво, не обращая внимания на музыку. Но вот романс кончился, раздались аплодисменты, крики, шум.

— Гм… странно… как будто… Ну да, я не ошибаюсь… Это он, Делобель! — воскликнул Планюс.

Действительно, в первом ряду, у самой эстрады, сидел знаменитый актер. Его голова с седеющими мелко завитыми волосами видна была вполоборота. Он небрежно прислонился к колонне, держа шляпу в руке, разодетый, как для премьеры: на нем была ослепительная крахмальная сорочка, в петлице черного фрака, точно орден, красовалась камелия. Время от времени он с видом превосходства окидывал взглядом публику. Но чаще всего он с любезной миной и ободряющими улыбочками поворачивался к эстраде, делая вид, что аплодирует кому-то, но кому — Планюс не мог разглядеть со своего места.

Присутствие Делобеля в кафешантане не являлось, конечно, чем-то необычным: он все вечера проводил вне дома. А между тем старого кассира охватило смутное беспокойство, особенно когда он увидел в том же ряду, в публике, голубую шляпку и стальные глаза г-жи Добсон, сентиментальной учительницы пения. В табачном дыму среди разношерстной толпы эти два лица, так близко одно около другого, произвели на Сигизмунда впечатление

двух видений, порожденных тяжелым кошмаром. Сам не зная почему, он вдруг испугался за своего друга, и ему захотелось поскорее увести его отсюда.

— Пойдем, Рислер!.. Здесь можно задохнуться…

Они встали: Рислеру было все равно, уйти или оставаться. Но тут оркестр, состоявший из рояля и нескольких скрипок, заиграл какую-то странную ритурнель, возбудившую любопытство всего зала. Послышались голоса:

— Тише!.. Тише!.. Сядьте!

Друзья принуждены были снова занять свои места. Рислер заволновался.

«Я знаю эту мелодию, — подумал он. — Где я ее слышал?»

Гром аплодисментов и легкий вскрик Планюса заставили его поднять глаза.

— Идем, идем!.. Выйдем отсюда, — говорил кассир, стараясь увести его.

Но было уже поздно.

Рислер увидел свою жену. Она подошла к краю эстрады и с улыбкой профессиональной танцовщицы поклонилась публике.

Она была в белом платье, как в ночь бала, только теперь ее наряд не был таким роскошным и шокировал своей небрежностью.

Платье с глубоким вырезом едва держалось на плечах; пышные каштановые волосы падали на лоб; на шее сверкало мишурным блеском ожерелье из жемчуга, слишком крупного, поддельного. Делобель был прав: ей действительно нужна была жизнь богемы. Ее красота приобрела оттенок беспечности, характерный для женщины, порвавшей со своей средой, предоставленной всяким случайностям и опускающейся постепенно на самое дно парижского ада, откуда уж никакая сила не вернет ее к чистому воздуху и свету.

И как хорошо чувствовала она себя в своей роли! С какой уверенностью двигалась по эстраде! О, если б она могла видеть страшный, полный отчаяния взгляд, устремленный на нее из глубины зала кем-то, спрятавшимся за колонной, в ее улыбке не было бы этого бесстыдного спокойствия, и в голосе ее не нашлось бы таких вкрадчивых и томных интонаций, чтобы проворковать единственный романс, которому смогла выучить ее г-жа Добсон:

Бедная крошка мамзель Зизи!
Кружится головка у крошки от любви,

От люб-ви!

Рислер встал, несмотря на все усилия Планюса удержать его.

— Сядьте, сядьте!.. — кричали ему.

Несчастный ничего не слышал.

Он смотрел на свою жену.

Кружится головка у крошки от любви! —

повторяла Сидони, жеманясь.

На миг его охватило желание броситься на эстраду и крушить там все подряд. Перед глазами у него поплыли красные круги, дикая злоба овладела им.

Но он тут же почувствовал стыд и отвращение и бросился вон из зала, опрокидывая на ходу столы и стулья. Вдогонку ему неслись проклятия растерянных, скандализованных буржуа.

VI. МЕСТЬ СИДОНИ

Никогда еще за те двадцать с лишним лет, которые он прожил в Монруже, Сигизмунд Планюс не возвращался так поздно, не предупредив сестру. Понятно, что мадемуазель Планюс была в большом беспокойстве. Старая дева была связана с братом общностью взглядов и интересов, и они жили душа в душу. В течение нескольких последних месяцев она переживала вместе с кассиром все его тревоги, все его возмущение, и до сих пор еще достаточно было малейшего пустяка, чтобы взволновать и расстроить ее. Каждый раз, когда Сигизмунд запаздывал, она думала: «Боже мой, только бы не случилось чего-нибудь на фабрике!».

Вот почему в этот вечер, после того как все население птичника водворилось на насест и уснуло, а обед был убран со стола нетронутым, мадемуазель Планюс, охваченная тревогой, расположилась в низенькой столовой и стала поджидать брата.

Наконец около одиннадцати часов раздался звонок. Робкий, печальный звонок, совсем не похожий на обычно решительный звонок Сигизмунда.

— Это вы, господин Планюс? — спросила старая дева с крыльца.

Да, это был он, но не один. За ним следовал высокий, сгорбленный старик. Войдя, он вяло поздоровался. Только тогда мадемуазель Планюс узнала Рислера-старшего, которого она видела в последний раз в день новогоднего визита, то есть незадолго до всех драм, разыгравшихся на фабрике. У нее уже готовы были вырваться слова сочувствия, но, заметив страшную подавленность обоих мужчин, она поняла, что нужно молчать.

— Мадемуазель Планюс, сестрица! Постелите чистые простыни на моей кровати. Наш друг Рислер оказывает нам честь — он у нас переночует.

Старая дева поспешила уйти и принялась стелить постель почти с нежной заботливостью, ибо известно, что, кроме господина Планюса, братца, Рислер был единственный мужчина, Для которого она делала исключение и которого она не осуждала.

Из кафешантана муж Сидони вышел в крайне возбужденном состоянии. Он шел под руку с Планюсом, то и дело вздрагивая всем телом. Теперь уже не было и речи о том, чтобы идти в Монруж за письмом и пакетом.

— Оставь меня… уйди… — говорил он Сигизмунду. — Мне нужно побыть одному.

Но тот ни за что не хотел оставлять его в таком отчаянии. Незаметно для Рислера он увлекал его все дальше и дальше от фабрики. Душевная чуткость подсказывала старому кассиру нужные слова, и он всю дорогу говорил своему другу о Франце, о его дорогом Франце, которого он так любил.

«Да… Это привязанность… настоящая, верная… Такое сердце не изменит, этого нечего бояться…»

Миновав шумную центральную часть Парижа, они пошли по набережной мимо Ботанического сада, пока наконец не углубились в предместье Сен-Марсо. Рислер покорно следовал за кассиром. Слова Планюса успокаивали его.

Так дошли они до берега Бьевры, застроенного в этом месте кожевенными заводами и большими сушильнями, сквозь решетчатые перегородки которых синело небо. Потом добрались до равнин Монсури — обширных участков земли, выжженных и оголенных огненным дыханием Парижа, который ежедневно, подобно гигантскому дракону, изрыгает дым и пар, уничтожающие вокруг него всякую растительность.

От Монсури до укреплений Монружа два шага. Теперь Планюсу уже нетрудно было затащить к себе своего друга. Он справедливо полагал, что его мирное жилище и спокойная, преданная дружба, связывающая его с сестрой, дадут этому убитому горем человеку почувствовать, какое счастье сулит ему совместная жизнь с Францем. И действительно*, едва они вошли, на Рислере уже сказалось очарование маленького домика.

— Да, да, ты прав, старина, — говорил он, расхаживая большими шагами по низкому залу, — я не должен больше думать об этой женщине. Она умерла для меня. У меня теперь на всем свете один только Франц… Я еще не решил, вызову я его сюда или сам поеду к нему… Знаю только, что мы будем жить вместе… Я так всегда мечтал иметь сына! И вот я нашел сына. Мне не нужно другого… Как подумаю, что у меня явилась было мысль о смерти!.. Ну нет! Это доставило бы кое-кому слишком большое удовольствие! Я хочу жить, жить с моим Францем, и только для него.

— Браво! — воскликнул Сигизмунд. — Вот таким я и хочу тебя видеть.

В эту минуту мадемуазель Планюс пришла сказать, что постель готова.

Рислер извинился за причиненное ей беспокойство…

— Вам здесь так хорошо, вы так счастливы… Мне даже неловко, что я пришел к вам со своим горем.

— Э, старина, да ведь и ты можешь, создать себе такое же счастье!.. — сияя, говорил Сигизмунд. — У меня сестра, у тебя брат. Чего нам не

хватает?

Рислер слабо улыбнулся. Он уже видел себя с Францем в таком же мирном квакерском домике, как этот.

Хорошо Планюс сделал, что привел его сюда.

— Иди ложись, — сказал он с ликующим видом. — Сейчас мы покажем тебе твою обитель.

Спальня Сигизмунда Планюса помещалась в первом этаже. Это была большая комната, просто, но уютно обставленная, с кисейными занавесками на окнах и над кроватью и с маленькими квадратными ковриками у стульев на блестящем плиточном полу. Сама г-жа Фромон-мать не могла бы ни к чему придраться — такой здесь был порядок, такая чистота. На полках, заменявших книжный шкаф, стояли книги: «*Руководство для рыболовов*», «*Образцовая деревенская хозяйка*», «*Счетные таблицы Барема*». В этом уголке было сосредоточено все, что могло свидетельствовать об умственных запросах хозяина квартиры.

Старый Планюс с гордостью оглядывал комнату. Все было на месте: стакан с водой — на ореховом столике, футляр с бритвой — на туалете.

— Так вот, Рислер… ты найдешь здесь все необходимое. А если тебе понадобится что-нибудь еще, то ящики не заперты, тебе стоит только открыть их. Посмотри, какой прекрасный вид отсюда… Сейчас уже темно, но завтра утром, когда проснешься, увидишь, как у нас здесь великолепно.

Он распахнул окно. Падали крупные капли дождя. Вспышки молнии, разрывая ночной мрак, освещали то длинный ряд притихших откосов с редкими телеграфными столбами, то темную дверь каземата… По временам шаги патруля на окружной дороге, стук приклада или бряцание сабли напоминали о том, что находишься в военной зоне. Это и был тот «прекрасный вид», который так расхваливал Планюс, пейзаж довольно унылый, если только его можно было назвать пейзажем.

— А теперь спокойной ночи!.. Приятного сна!..

Старый кассир был уже у двери, когда Рислер окликнул его:

— Сигизмунд!

— Что? — отозвался тот и остановился.

Рислер слегка покраснел, пошевелил губами, как человек, который собирается что-то сказать, потом, сделав над собой усилие, проговорил:

— Нет, нет… ничего… Спокойной ночи, старина!

Долго еще шептались в столовой брат и сестра.

Планюс рассказал о том, что произошло в этот ужасный вечер, о встрече с Сидони. Можете себе представить, сколько раз было произнесено: «Ох, уж эти женщины!» и «Ох, уж эти мужчины!». Наконец

заперли на ключ садовую калитку, мадемуазель Планюс поднялась к себе, а Сигизмунд устроился в маленькой комнатке рядом.

Ночью его внезапно разбудил испуганный голос сестры.

— Господин Планюс, братец! — звала она.

— А?

— Вы слышали?..

— Нет… Что такое?

— О, это было так страшно!.. Словно глубокий вздох, но такой тяжелый, такой печальный!.. Из комнаты внизу.

Они прислушались. На дворе дождь лил как из ведра, и шум его в листве деревьев здесь, в пригороде, навевал мысль о бескрайних просторах, вызывал ощущение полной заброшенности.

— Это ветер… — сказал Планюс.

— Я уверена, что нет… Тише!.. Прислушайтесь!

В шуме грозы, словно рыдание, слышался жалобный голос, с надрывом произносивший имя:

— Франц!.. Франц!..

В этом крике было что-то страдальческое, зловещее.

Когда распятый Христос в отчаянии взывал к пустым небесам: «Элой, Элой, ламма савахфани?»[19]-те, кто слышал его, должны были испытать такой же суеверный ужас, какой охватил в эту минуту мадемуазель Планюс.

— Мне страшно… — прошептала она. — Не пойти ли вам посмотреть?..

— Нет, нет, оставим его в покое. Он думает о своем брате… Бедняга! Только от этой мысли ему может стать легче.

И старый кассир снова уснул.

Наутро он проснулся, как всегда, от звуков зори на крепостном валу — в маленьком домике, окруженном казармами, распорядок жизни регулировался военными сигналами.

Мадемуазель Планюс уже встала и кормила кур. Увидев Сигизмунда, она подошла к нему, слегка встревоженная.

— Странно! — сказала она. — Из комнаты Рислера не слышно ни звука, а между тем окно открыто настежь.

Сигизмунд удивился и пошел к своему другу.

— Рислер!.. Рислер! — звал он с беспокойством.

— Рислер!.. Ты здесь?.. Ты спишь?

Никто не отвечал. Qh отворил дверь.

В комнате было холодно. Ч/вствовалось, что через открытое окно сырость со двора проникала сюда всю ночь. Бросив взгляд на постель,

Планюс подумал: «Он не ложился…» В самом деле, одеяло было не смято, и все в комнате указывало на тревожную ночь. Об этом говорили коптившая лампа, которую забыли погасить, и графин, опорожненный до дна в лихорадке бессонницы… Но что окончательно повергло в ужас старого кассира — это открытый ящик комода, где у него были тщательно спрятаны письмо и пакет, доверенные ему другом.

Письма не оказалось на месте. Развернутый пакет лежал на столе, и оттуда выглядывала фотография — портрет пятнадцатилетней Сидони. Платье со вставкой, непокорные волосы, разделенные прямым пробором, смущенная поза еще неловкой девочки — все это делало маленькую Шеб прежних дней, ученицу мадемуазель Ле Мир, совершенно непохожей на теперешнюю Сидони. Потому-то Рислер и сохранил эту карточку — как воспоминание не о жене, а о Малютке.

Сигизмунд был потрясен.

«Это я виноват… — говорил он себе. — Не надо было оставлять ключи… Но кто мог предполагать, что он еще думает о ней?.. Он клялся мне, что эта женщина больше для него не существует…»

В эту минуту вошла мадемуазель Планюс; она была в полном смятении.

— Господин Рислер ушел… — сказала она.

— Ушел?.. Разве калитка была не заперта?

— Он перелез через ограду… Видны следы.

Они в ужасе переглянулись.

«Это — письмо!..»- подумал Планюс.

По-видимому, письмо жены раскрыло Рислеру что-то такое страшное, что он не мог дольше оставаться здесь и, чтобы не разбудить хозяев, исчез бесшумно, через окно, как вор. Почему?.. С какой целью?

— Вы увидите, сестрица, — говорил старый Планюс, поспешно одеваясь, — вы увидите, что эта негодница сыграла с ним еще какую-нибудь штуку.

Старая дева пыталась успокоить его, но старик все возвращался к своему излюбленному припеву!

— *Не тоферяю!..*

Одевшись, он выбежал из дому.

На размытой ночным ливнем земле виднелись до самой садовой калитки следы шагов Рислера. Он ушел, вероятно, еще затемно — грядки с овощами и цветочные клумбы были безжалостно помяты ногами, ступавшими куда попало. На садовой стене виднелись белые царапины, верхушка стены была слегка обита. Брат и сестра вышли на окружную

дорогу. Здесь отпечатки шагов пропадали. Видно было, однако, что Рислер пошел в сторону Орлеанской дороги.

— А ведь мы, пожалуй, напрасно беспокоимся, — осмелилась заметить мадемуазель Планюс. — Он, может быть, просто вернулся на фабрику.

Сигизмунд покачал головой. Ах, если бы он высказал все, что думал!..

— Ступайте домой, сестрица… Я пойду узнаю…

Тут старый *не тоферяю* помчался, как ветер, и его белая грива развевалась сильней, чем когда-либо.

В этот час на окружной дороге беспрестанно сновали взад и вперед солдаты, огородники, караульные, денщики, прогуливавшие офицерских лошадей, маркитанты со своими тележками, — словом, царили шум и движение, как всегда по утрам вокруг укреплений. Планюс быстро шагал среди всей этой сутолоки и вдруг остановился. Налево, у подножия вала, перед небольшой квадратной постройкой, где на сырой штукатурке стены черными буквами было выведено:

ГОРОД ПАРИЖ ВХОД в КАМЕНОЛОМНИ

Он заметил толпу: форменные шинели солдат и таможенных чиновников вперемежку с грязными помятыми блузами бродяг из предместья. Старик инстинктивно приблизился. На каменной ступеньке под круглым сводом с железными перекладинами сидел таможенный чиновник и, усиленно жестикулируя, как будто он что-то показывал, говорил:

— Его нашли вот здесь, где я сижу… Он повесился сидя, дернув изо всей силы веревку… вот так!.. Недодумать, что он твердо решил умереть, потому что в кармане у него нашли бритву, — верно, хотел зарезаться, если бы оборвалась веревка.

— Бедняга! — вырвалось у кого-то в толпе.

Затем другой, дрожащий, сдавленный от волнения голос робко спросил:

— А вы уверены, что он умер?

Все взглянули на Планюса и рассмеялись.

— Ну и чудак! — промолвил таможенный чиновник. — Да я же вам говорю, что он был совсем синий, когда мы сняли его утром и отнесли в стрелковую казарму.

Казарма была недалеко, а между тем Сигизмунду Планюсу стоило неимоверных усилий добраться до нее. Как ни убеждал он себя, что самоубийства нередки в Париже, особенно в этих местах, что на длинной линии укреплений, как на берегу бурного моря, каждый день подбирают

чей-нибудь труп, — ничто не могло рассеять ужасного предчувствия, с утра сжимавшего ему сердце.

— А, вы пришли насчет удавленника! — сказал ему дежурный унтер-офицер, стоявший у входа в казарму. — Вон он!

Тело положили в каретном сарае на козлы. Кавалерийская шинель, наброшенная сверху, покрывала его с головы до ног, падая теми особыми складками, которые придает савану окоченелое мертвое тело. Группа офицеров и солдаты в холщовых штанах, поглядывая издали в ту сторону, разговаривали шепотом, как в церкви. А на подоконнике высокого окна полковой лекарь писал протокол, удостоверяющий смерть. К нему-то и обратился Сигизмунд.

— Я хотел бы посмотреть на него, — робко попросил он.

— Смотрите…

Подойдя к козлам, Сигизмунд с минуту колебался, потом, решившись, откинул шинель и увидел вспухшее лицо и большое неподвижное тело в промокшей от дождя одежде.

— Она все-таки доконала тебя, мой старый товарищ… — прошептал Планюс и, рыдая, упал на колени.

Офицеры подошли и теперь с любопытством разглядывали покойника, остававшегося открытым.

— Взгляните, доктор, — сказал один из них, — у него рука сжата, как будто он что-то держит.

— А ведь и правда, — подтвердил врач, подойдя ближе. — Это случается иногда при последних конвульсиях… Помните при Сольферино?[20] Ведь точно так же майор Барди держал в руке медальон своей дочери. Нам стоило больших усилий вынуть его.

Говоря это, он попытался раскрыть мертвую, судорожно сжатую руку.

— Да ведь это письмо! — сказал он наконец.

Он хотел было прочесть его, но один из офицеров взял у него листок и передал Сигиэмунду, все еще стоявшему на коленях.

— Взгляните… Быть может, это последняя воля умершего.

Сигизмунд Планюс поднялся. В помещении было темно. Шатаясь, подошел он к окну и затуманенными от слез глазами прочел:

«…Да, я люблю, люблю тебя… больше, чем прежде, и навсегда… К чему бороться и сопротивляться?.. Наша греховная страсть сильнее нас…»

Это было письмо, написанное Францем год тому назад жене брата. Сидони послала его мужу на другой день после происшедшей между ними сцены, чтобы отомстить одновременно и ему и Францу.

Рислер мог пережить измену жены, но измена брата сразила его.

Когда Сигизмунд понял все, он застыл на месте… Он стоял с письмом в руке, машинально глядя в открытое настежь окно.

Пробило шесть часов.

Вдали над невидимым, грохочущим Парижем поднималась тяжелая, горячая, чуть колеблющаяся пелена, окаймленная красным и черным, словно пороховое облако над полем битвы… Мало-помалу колокольни, белые фасады, золотой купол церкви выступили из тумана и засверкали во всем блеске пробуждения. Еще немного, и Сигизмунд увидел, как тысячи фабричных труб, торчавших над нагромождением крыш, по направлению Ветра прерывисто выпускали пар, точно пароход перед отплытием… Жизнь начиналась… Вперед, машина! И горе тем, кто отстанет!..

Чувство страшного гнева охватило старого Планюса.

— Негодяйка!.. Негодяйка!.. — кричал он, потрясая кулаком, и неизвестно было, к кому относились эти слова — к женщине или к столице.

---

notes

Примечания

1

Родители Юлии Доде, которым посвящен роман, выпустили в 1856 году сборник своих стихов «На полях жизни».

2

монолог из трагедии Гюго «Рюи Блаз» (1838 г.) (действие III, явление 2-е). В этом монологе герой — лакей, ставший первым министром, — обличает корыстных испанских вельмож.

3

«Антоны» — драма Александра Дюма-отца (1831 г.). «Детский доктор»-мелодрама Анисе-Буржуа и Деннери (1855 г.).

4

герой драмы Баррьера и Тибу (1853 г.), явившейся ответом на «Даму с камелиями» Дюма-сына: молодой скульптор, погубленный своей любовницей, бессердечной куртизанкой Марко.

5

герой популярной мелодрамы Анисе-Буржуа и Дюге (1859 г.), мужественно защищающий свою маленькую приемную дочь.

6

цитата из стихотворения Виктора Гюго «Уснувший Вооз».

7

округ в департаменте Нижней Сены; девушки из Ко славились своеобразными костюмами и прическами.

8

то есть Жан-Жак Руссо.

9

Исмаилия-город в Египте, где в описываемую эпоху шли работы по прорытию Суэцкого канала.

10

Имеются в виду костюмированные балы, которые давались в парижской Опере каждую зиму с 10 декабря до Великого поста; обычно на них собирался парижский «полусвет».

11

В Бисетре, под Парижем, находилось убежище для умалишенных и престарелых.

12

цитата из трагедии Гюго «Король забавляется» (1832) (действие V, явление 3-е) — слова шута Трибуле, узнавшего, что его месть королю не удалась.

13

«Лувр»-универсальный магазин в Париже.

великосветские курорты на побережье Бретани.

15

Вокансон, Жак (1709–1782) — французский механик, изобретатель музыкальных автоматов.

16

герой, гостеприимно принявший у себя в доме Зевса, явившегося соблаанить его жену. Со времени появления одноименной комедии Мольера (1668 г.) имя Амфитрион стало нарицательным для щедрого и радушного, но недалекого хозяина.

17

комедия Мольера (1666 г.).

оперетта Жака Оффенбаха (1858 г.).

19

Боже, боже, зачем ты меня оставил?

20

В битве при Сольферино (1859 г.) объединенные войска французов и пьемонтцев разгромили австрийскую армию.